

ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСЕЕВ

СКРОМНЫЙ КОНДОТЬЕР



Феномен
Че Гевары

Dienstag

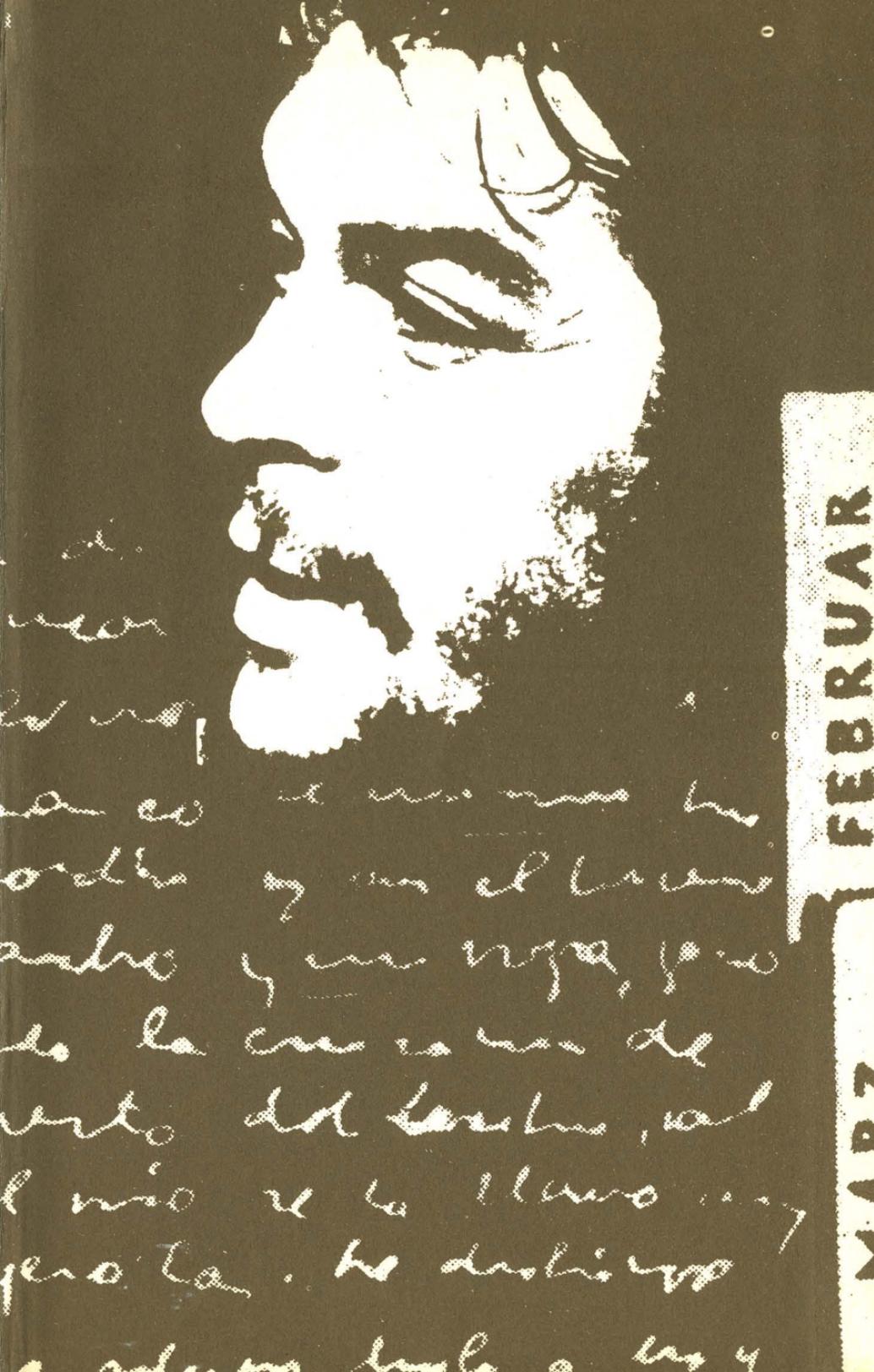
19 26
 20 27
 21 28
 22 29
 23 30
 24 31
 25

7

FEBRUAR

1884

hoy la marea bajo la
 muy grande y por
 comenzar a los
 a las 2 30 con
 curso la un
 de la parte del
 en seguida, como
 por los lados al
 se calienta un
 no pidiendo un
 en el...



de
meo
lo no
sa es
ordra
ante
do la
erto
el mio
pero ta
a adu
de un
el l
y en
de
del
al
de
destr
de un

FEBRUAR

MAR 7



ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ
СКРОМНЫЙ КОНДОТЬЕР
ФЕНОМЕН ЧЕ ГЕВАРЫ



ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСЕЕВ

СКРОМНЫЙ КОНДОТЬЕР

Феномен Че Гевары

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1991

ББК 63.3(7)

А47

Алексеев Валерий Алексеевич.
А47 Скромный кондотьер: Феномен Че Гевары.—
М.: Политиздат, 1991.— 304 с.: ил.

ISBN 5—250—01146—2

Мятежник по призванию, латиноамериканский Робин Гуд. в 60-е годы Че Гевара был кумиром молодежи всей планеты, его и ныне многие включают в число великих людей нашего столетия. В своей книге писатель Валерий Алексеев, в подлиннике исследовавший дневники самого Че и воспоминания знавших его людей, подвергает легенду, окружившую жизнь этого человека, вдумчивому анализу — в духе наших рассудительных дней.

А 0503030000—231 139—91
079(02)—91

ББК 63.3(7)

Заведующий редакцией *В. Е. Вучетич*
Редактор *А. П. Пастухова*
Художник *А. Л. Чириков*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 8001

Сдано в набор 11.06.91. Подписано в печать 18.10.91. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага книжно-журнальная офсетная. Гарнитура «Обыкновенная новая»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,70. Уч.-изд. л. 18,37. Тираж 75 тыс. экз.
Заказ № 263 Цена 3 р. 80 к.

Политиздат, 125841, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».
620151, Екатеринбург, пр. Ленина, 49.

ISBN 5—250—01146—2

*Настало время новых мятежей
И катастроф: падений и безумий.
Благоразумным: «Возвратитесь в стадо!»
Мятежнику: «Пересоздай себя!»*

М. ВОЛОШИН, 1923

Если в каждой человеческой жизни заложен изначальный сюжет, то жизнь Эрнесто Че Гевары — образец повествования, почти не отклонившегося от замысла. Красивая сказка о человеке, который, преодолев физическую немощь, на волне победоносной революции поднялся к вершинам всемирной славы — и с карабином и вещмешком за плечами отправился в чужедальнюю сельву, чтобы стать жертвой вселенского зла. Есть в этой сказке скорбная недомолвка, некогда завораживавшая молодые умы. От скуки и богатства бегут, это случается, от нужды и безвестности тоже уходят, но от торжествующей власти, от великих перспектив переделки жизни доверившегося тебе народа... кто ж бежит от работы Всевышнего? Чего тогда требовать от жизни вообще? Уж не смерти ли искал команданте Гевара в зеленых ущельях Боливии? Да, имела хождение и такая инфернальная версия: «Че нашел окно открытым — и выбросился в него». Почему? А потому, что инстинкт смерти и ненависти, Танатос, сопряжен был в его натуре с инстинктом жизни и сострадания — Эросом. Эти два неистовых инстинкта и сделали в конце концов его жизнь невозможной... Подобные версии безразмерны, как гороскопы, и применимы к любому из нас. То, что Че Гевара распорядился собою именно так, а не иначе, имеет, разумеется, свои причины, но причины эти следует искать не в гибели его, а в самом течении его жизни.

Да, но стоит ли искать вообще? Ничто так не чуждо нам, ничто так не удалено от нас, как недавнее прошлое: тоскливы прошлогодние газеты, постыдны прошлогодние восторги и невозвратными кажутся те времена, когда имя Че Гевары, подобно молнии, блистало над «вулканическим континентом». Однако, удаляясь, прошлое с неотвратимостью кометы Галлея вновь приближается к нам, и мы рано или поздно неизбежно окажемся застигнутыми им врасплох. Мы, кажется, закалялись участвовать в насилии над творческой эволюцией жизни, но революционизм вечен, как вечно и неразрешимо противоречие

между конечностью нашего личного существования и бесконечностью Бытия, а потому никогда не прекратятся попытки вместить в свою отдельную жизнь все прошлое, настоящее и будущее человечества.

1

«Эль Че де Америка» — так называли его друзья: «Че, принадлежащий Америке». Между тем неоднократно делались попытки отказать Че Геваре в американском происхождении. В декабре 1964 года, когда команданте Гевара, в зените вселенской славы своей, выступал на Генеральной Ассамблее ООН, никарагуанский представитель отпустил ядовитую реплику насчет чужеземного акцента оратора, на что Че Гевара счел нужным ответить:

«Я не вполне уяснил, какой акцент имелся в виду, кубинский, аргентинский или, быть может, советский. Надеюсь, что не североамериканский, он просто ужасен».

Оспаривать американское происхождение Че Гевары можно только в полемическом азарте: в истории Латинской Америки его генетическое дерево укоренилось достаточно глубоко. Отец Че Гевары, Эрнесто Гевара Линч, с простодушным удовольствием перечисляет именитых предков своего сына, среди которых два испанских гранда: вице-король Новой Испании и вице-король Перу. Последний славен еще и тем, что его войска были разгромлены креольскими националистами в битве при Аякучо 9 декабря 1824 года, ознаменовавшей, как многие считают, завершение войны за независимость испано-американских колоний. Надо сказать, что креолы (потомки испанцев, родившиеся в Западном полушарии) не слишком тесно связывают свою родовитость с «голубой кровью» бывшей метрополии: чем позже прибыли в Америку ваши предки (пусть даже тысячу раз испанские гранды), тем менее вы родовиты.

«Я и правда не знаю в точности, из какой части Испании происходит мой род, — пишет Че Гевара в ответ на запрос жительницы Старого Света, интересующейся, не состоит ли она в каком-то родстве с великим человеком. — Знаю только, что это были давние времена, когда мои предки явились оттуда, пряча одну руку за спиной, а другую протягивая за подающим, и если я не стою в такой позе, то потому лишь, что она очень уж неудобна».

Такова креольская гордость: родословная американца должна начинаться в Америке. Последних пиренейцев,

прибывших в Новый Свет накануне войны за независимость, испаноамериканцы презрительно называли «чапетонами»: неумехами, никчемными хвастунами, которые нужны не более чем блестящие побрякушки на сбруе. «Чапетоны» имели репутацию людей сварливых и до остервенения жадных, худших родственников невозможно себе подобрать. Так оно, наверно, и было: вообразите, как должен был испортиться нрав у человека, пересекшего океан в надежде на богатство и почести,— и обнаружившего себя в скрюченной позе злонамеренного попрошайки. По древности креольский род Эрнесто Гевары Линча был в Аргентине не из худших: сам дон Эрнесто считал себя аргентинцем одиннадцатого поколения. Что же касается обоих грандов, то они являлись несомненными «чапетонами», поскольку в колониальные времена вице-королей присылали из метрополии, однако в генеалогии всякое лыко идет в строку, и дон Эрнесто никогда не забывал о них упомянуть. При этом Гевара-старший считал себя демократом, противником янки и капитализма вообще. Свои убеждения дон Эрнесто определял как национал-социалистические (не в том, разумеется, зловещем смысле, который вложила в это понятие новейшая история Старого Света): почти коммунистические, где-то в одном шаге от коммунизма. «Я — красный вионт», — говорил о себе дон Эрнесто — и охотно принимал приглашения на ассамблеи аргентинского света, организуемые теми, кого он при случае мог назвать «отпрысками родовитых ублюдков».

Это был милый, безобидный и говорливый человек, даже внешне чем-то напоминавший незадачливых героев итальянского комика Альберто Сорди. Любое дело, за которое он брался, в самом скором времени начинало приносить ему убытки и огорчения. В молодости, получив приличное наследство, дон Эрнесто оставил архитектуру, которой собирался посвятить свою жизнь, и занялся выращиванием мате (парагвайского чая, как его еще называют), к которому аргентинцы питают особое пристрастие. Дело обещало быть прибыльным, дон Эрнесто стал владельцем плантации мате в северо-восточном уголке Аргентины (провинция Мисьонес) — и, как говорится, не преуспел. Так же печально закончилась история с судовой верфью (а точнее, с небольшим предприятием, строившим прогулочные лодки и яхты) в Сан-Исидро и со строительными подрядами, которые дон Эрнесто на себя брал... Как и всякий неудачник, он сетовал на то, что деньги

не идут к человеку честному, что на элементарной порядочности в этом худшем из миров наживаются всякие проходимцы. Вот, должно быть, откуда произрастал «антикапитализм» дона Эрнесто (равно как и его демократизм явился следствием того простого обстоятельства, что для старой аргентинской «коровьей аристократии» он был не более чем родовитым бедняком).

Мать Че Гевары, донья Селия де ла Серна и де ла Льюса, женщина страстная, порывистая и энергичная, была, как это водится, полной противоположностью своему мужу. Невысокая, сухощавая, с яркими глазами и резкими чертами лица, донья Селия не имела обыкновения медлить с решениями и умела настаивать на своем. Узнав о том, что ее первенец, ее Эрнестино стал одним из триумфаторов кубинской революции, она тут же начала собираться в Гавану. А вот дон Эрнесто подвел: он разволновался, почувствовал сильнейшее недомогание, и счастливая мать полетела на Кубу одна, даже не подумав о том, что в Гаване, возможно, еще не утихла стрельба и что влажность карибская вряд ли пойдет на пользу ее здоровью. Донья Селия страдала астмой, эта наследственная болезнь ее рода передалась Эрнестино и набросила тень на всю его жизнь. Аристократка не только по имени, но и по складу души, донья Селия так и не смогла примириться со стесненными обстоятельствами, в которые ее ставила незадачливость мужа. Это ей Че Гевара должен быть обязан тем, что в их доме царила атмосфера интеллектуальной богемы, аристократизма духовного, значительно менее дорогостоящего, чем сословный аристократизм: всю свою жизнь донья Селия поддерживала культ поэзии, музыки, новизны идей — в сочетании с пренебрежением к деньгам, которых все равно не хватало. Этакий «вишневый сад» под Южным Крестом, только без родового поместья. Если существует в реальности аргентинский темперамент, то эта характеристика совершенно к донье Селии применима. Очевидцы рассказывают, что эта женщина имела обыкновение держать при себе пистолет и во время семейных ссор, нередких в ее доме, угрожала им мужу. Соседи, как-то приглашенные к ним на ужин, были шокированы, увидев дамский пистолет на накрытом столе среди бокалов: видно, выяснение отношений завершилось перед самым их приходом. На основании этих свидетельств некоторые биографы Че делают вывод, что сердечный союз доньи Селии и дона Эрнесто, заключенный в 1927 году, за год до рождения

Эрнестино, был неудачным. Однако этот союз продержался без малого сорок лет, донья Селия родила своему мужу пятерых детей, и лишь смерть ее в 1965 году разлучила супругов. Противоположности сходятся прочно: им, по крайней мере, не скучно друг с другом. Характер у доня Эрнесто был совсем не бойцовский, и ему, несомненно, льстило, что его жена имеет такой независимый нрав. С умилением он вспоминает, что Селия раньше других женщин своего круга стала водить машину, одна из первых завела чековую книжку, заявила о своем праве участвовать в разговорах о политике — все это в Аргентине двадцатых годов было прерогативой мужчин.

Эрнестино родился 14 июня 1928 года, когда семья еще жила в провинции Мисьонес, близ парагвайской границы. Впрочем, как раз в те дни молодые супруги отправились в деловую поездку в Росарио. Трудно сказать, что заставило женщину на последнем месяце беременности сопровождать мужа в такую даль: около тысячи километров — не шутка. Роды были преждевременными, на месяц раньше положенного срока.

«Это была неожиданность, настоящая неожиданность, — с трогательной непосредственностью рассказывает отец. — Малыш родился крохотный и слабый, мы думали, он долго не проживет».

Первые два года прошли, однако, относительно благополучно, если не считать того, что дону Эрнесто пришлось отказаться от положения латифундиста, обладателя двухсот гектаров земли (которые он гордо называл «мои плантации в Альто Парана»), и перевезти семью в Сан-Исидро к родственнику, который предложил ему стать совладельцем верфи. Дон Эрнесто вникал в тонкости нового для него судостроительного дела, а Селия сидела с ребенком. Занятие это, требующее самоотверженности и терпения, энтузиазма у нее не вызывало: уместно заметить, что еще в юные годы Селия включилась в феминистское движение, направленное именно против традиции, замыкающей женщину в четырех стенах. Селия была молода и красива, ревниво заботилась о своей спортивной форме (до замужества она занималась плаванием и была, по свидетельству мужа, отличной пловчихой), часто ходила в бассейн и брала с собой Эрнестино. Там, согласно семейному преданию, и настиг малыша первый приступ болезни. Произошло это в 1930 году, в мае, время для Южного полушария соответствующее нашему ноябрю:

«Было второе мая,— пишет дон Эрнесто,— стояла ужасно холодная погода, дул юго-восточный ветер. Селия ушла с ребенком в бассейн, и вечером, вернувшись домой, я отправился за нею. Она была тогда беззаботной, как девочка, сама не боялась непогоды и не задумывалась, что холод может повредить малышу. Когда мы вышли из клуба, Эрнестино стал задыхаться и хрипеть... Мы принесли его к врачу, фамилии не помню, он жил неподалеку от нашего дома. Врач сразу сказал, что у ребенка бронхиальная астма. Должно быть, Эрнестино сильно простыл, и это стало толчком к развитию болезни».

Есть свидетельства, однако, что отец не так уж и не причастен к этому печальному событию. От аллергии сам он не страдал, в аллергическую природу хрипов и кашлеи не верил (считая это, должно быть, причудой клана де ла Серна) и, заметив у своего первенца признаки подступающей болезни, принялся закалять его с усердием, достойным лучшего применения: купал малыша в ледяной воде, оставлял его после мытья нагишом на балконе, с тем чтобы он, как пастушонок-гаучо, обсыхал на солнце и на ветру... словом, действовал согласно рекомендациям предков, лечившихся таким образом на протяжении жизни десяти поколений. В конце концов бедный малыш схватил воспаление легких, вызвавшее хронический бронхит, а затем уже начались астматические спазмы, терзавшие Эрнестино до конца его дней.

А что донья Селия? Уж она-то, страдавшая астмой с раннего детства, должна была знать, чем кончится эта первобытная терапия. Как же она не отстояла малыша, не вырвала его из рук безжалостного папаши? А донья Селия в это время действительно купалась в бассейне.

И все же несправедлив к донье Селии тот испанский психоаналитик, который сделал ее объектом фрейдистских изысканий и, исходя из бесспорной посылки, что между матерью и сыном в каждом отдельном случае существуют особые, действительно противоречивые отношения, превратил эту славную женщину в демоническую фигуру мирового и даже космического масштаба. Зовут его Энрике Сальгадо, он автор серии книг о великих людях новой и новейшей истории («Рентгенограмм», как он их называет), и сверхзадачей его в данном случае было доказательство того, что роковая фигура матери с ее вечным зовом обратно, во тьму материнского лона, нависла над всей дальнейшей жизнью Эрнестино — и, временами пользуясь прямой биологической связью, а то

и принимая колеблющиеся очертания возлюбленной его Америки, в конечном счете заманила сына в могилу. Трактовка эта нова и оригинальна лишь для нашего неискушенного читателя: весь остальной читательский мир давно уже подобным психоанализом переболел, всеприменимость его из преимущества обратилась в дефект, сводящий подсознательное к набору из трех-четырёх элементов, и благодаря усилиям настойчивых адептов богатая концепция была обесценена до уровня пошлости. В конце концов, все мы выходим из материнского лона, и в скорбный час нас принимает к себе обратно любящая матушка-Земля. Можно признать это как само собой разумеющееся — и заняться другими вещами. Но нет: в своей «Рентгенограмме Че Гевары» испанец вновь и вновь возвращается к заданности. С забавной многозначительностью уведомляет он нас о том, что неспроста донья Селия возила болезненного мальчика в школу на автомобиле, не просто так учила его французскому языку, известному в семье только ей, — короче, постоянно над ним нависала. И уж конечно же Сельгадо не упускает случая заметить, что мальчик спал обыкновенно у лона своей матери... но забывает при этом, что несколькими абзацами выше сам рассказывал о другом: именно отец взял за правило спать рядом с сынишкой — так, чтобы Эрнесто, лежа головой на его груди, мог легче дышать. Какая находка для психоанализа! Те отцы и матери, у которых хоть однажды ночью заходилась в хрипах и кашле родной детеныш, больше могут сказать о подсознательных связях родителей и ребенка, чем все на свете виртуозы психоанализа.

Астма — причудливая и мрачная болезнь. Глоток холодного воздуха, влажность, непривычная пища, цветочный запах, принесенный ветром, да просто страх, что это опять случится, вот-вот уже начинается... и сердце подступает к горлу, колотится о язык, глаза от удущья готовы выскочить из орбит, темнеет все вокруг, и жизнь становится такой необязательной, такой эфемерной, как черная ночная бабочка, она бесшумно смыкает свои огромные крылья — и мир обращается в узкую щель между этими душными крыльями, осыпанными предсмертной серебристой пылью...

«Не думал, что это случится со мной», — говорит себе каждый, когда к его горлу подступает, а затем откатывает небытие. С Эрнесто это случалось столько раз, что скоро он потерял счет. И оттого его отношение к жизни

как к вечной данности было скептическим. Он слишком рано понял необязательность своего бытия — и примириться с этим не смог до последнего часа.

Приступы учащались, и по совету врачей молодые родители перебрались в живописный городок Альта-Грасиа, расположенный неподалеку от Кордовы, в гористой местности, которая отличалась сухим прохладным климатом, особенно благоприятным для страдающих респираторными заболеваниями. Там Гевары приобрели дом, называвшийся «Вилла Нидия», в этом доме и прошло детство Эрнестино. Позднее, когда Гевары переехали в Кордову, «Вилла Нидия» стала их летней дачей, каковой она и была у прежних владельцев.

Здесь, в Альта-Грасиа, дон Эрнесто вспомнил, что в молодости увлекался архитектурой (да и как не вспомнить об этом в курортном городке, где селились, как правило, люди обеспеченные, строившие дома по индивидуальным проектам), и не без помощи жены, энергично включившейся в светскую жизнь, получил несколько выгодных заказов, позволивших ему облегченно вздохнуть и осмотреться на новых местах. Чувство неуверенности, однако же, не покидало добряка.

«Меня все стали называть архитектором, — конфузливо пишет он, — хотя, если правду сказать, это не совсем так».

Вскоре у Эрнестино появилась сестренка Селия, затем — брат Роберто, еще одна сестричка — Ана Мария, а потом самый младший — Хуан Мартин. «Это тоже обычно оказывает влияние на тех, кто подвержен бронхиальной астме, — отмечает Энрике Сальгадо. — Приступы учащаются после рождения брата или сестры либо в качестве реакции на беременность матери. Все это в данном случае сочеталось с семейными неврозами, да и сама болезнь, хроническая и тягостная, легко могла вызвать психические сдвиги».

В этом рассуждении, не лишенном тонкости, проступает логика здравого смысла. То, что психический сдвиг налицо, у Сальгадо не вызывает сомнения: иначе почему человек распорядился своей жизнью не так, как положено? Надобно заметить, однако, что людей без психических сдвигов вообще не бывает: отсутствие отклонений от нормы, абсолютная нормальность — это уже патология. Недаром люди, безнадежно больные (в том числе и психически), зачастую убеждены — и настойчиво убеждают других — в том, что уж кто-кто, а они абсолютно

здоровы: самоощущение их замутнено именно по причине болезни. Среди тех же, кого мы привычно называем историческими личностями, количество сдвигов намного превышает средние величины, не говоря уже о масштабе этих сдвигов и их характере. Разве властолюбие не есть отклонение от нормы? А стремление к посмертной славе? Совесть наконец, — разве это не отклонение от психической нормы? Может быть, именно отклонения от нормы и делают личность личностью. Но искать причины сдвигов только в физиологии — значит упрощать себе задачу. Намеренно или бессознательно — это уже другой вопрос.

Дом, где рос Эрнестино, вовсе не был гнездилищем неврозов и комплексов, это был живой, многолюдный и безалаберный дом. Социальное и имущественное положение родителей не отличалось определенностью, и это позволяло им держать двери «Виллы Нидии» открытыми и не чиниться при подборе компании для своих детей. Все приходило в этот дом запросто: и шустрые мальчишки на побегушках из гольф-клуба, и чинные дети скотопромышленников, и робкие ребятишки крестьян-пенон, работавших на окрестных холмах. В Альта-Грасиа все было на виду, и многих соседей удивляло, что в «Вилле Нидии» не заведено даже строгого часа семейного обеда, когда все домашние, собравшись за накрытым столом, ждут торжественного появления главы семейства. Дон Эрнесто не претендовал на роль главы, а донья Селия не утруждала себя наведением в доме порядка, и всякий, не заботясь о других, являлся и ел, когда вздумается. Отмечалось также безразличие этого семейства к религии. Все дети дона Эрнесто были, разумеется, крещены, но первое причастие принимали только две девочки, и больше никто из обитателей «Виллы Нидии» в церкви не появлялся.

Здоровье Чанчо («Поросенок» — таково было домашнее имя старшего сына, которым отмечена была его внешность маленького крепыша — и неряшливость в одежде... отец же, не исключено, вкладывал в это прозвище особый смысл, связанный с пословицей «Паршивый поросенок все стадо портит», так она звучит в Испаноамерике) — здоровье Чанчо оставалось предметом постоянных родительских забот. Нельзя сказать, что чистый воздух зеленых предгорий не шел ему на пользу, но приступы удушья все повторялись — бывало, по три-четыре раза в день. Постоянно нужно было держать под рукой ингалятор. Впрочем, эта новомодная в те времена

штука снимала только легкие приступы, в серьезных же случаях приходилось прибегать к внутривенным инъекциям адреналина. Своей первой подруге Ильде Че Гевара рассказывал, что научился делать себе уколы, когда ему не было еще десяти лет. Картина, представившаяся воображению Ильды (маленький одинокий Чанчо, перетянув себе резиновым жгутом руку, пытается поймать вену иглой), больно ранила ее любящее сердце, и она, с присущей женщинам нелогичностью, сказала:

«Да, у твоей матери сильный характер. Вот в кого ты, в нее».

Нет, донья Селия делала все, что могла. Она научила сына плавать и требовала, чтобы он проводил в бассейне не менее трех часов ежедневно: плавание расслабляет грудные мышцы и учит правильно дышать. Мальчик не мог ходить в школу вместе со сверстниками, отсидеть все уроки было ему не под силу, и мать занималась с ним сама. А когда через год министерство просвещения прислало вежливое напоминание о том, что ребенок до сих пор не включен в школьные списки, Селия стала отпускать его в школу — в те дни, когда ночь накануне проходила без приступов. К четвертому классу учителя привыкли, что Эрнесто Гевара посещает уроки нерегулярно, да и претензий к его успеваемости у них не было, и ему разрешили заниматься заочно: младшие братья переписывали для него задания и относили в школу его тетради.

Дон Эрнесто, мужчина цветущий и жизнелюбивый, очень печалился, что его первенец так болезнен и слаб. Заботы архитектора местного масштаба были не слишком обременительны, и он большую часть времени проводил дома: играл с Чанчо в регби и в футбол, прививал ему вкус к веселой необязательной борьбе. Чтобы мальчик не дичал в одиночестве и не терзался комплексом неполноценности, дон Эрнесто приваживал к дому всех ребятшек округи и следил за тем, как держится с ними его сын. Дети беспощадны друг к другу, и недуг их товарища, какой-то старческий, сродни падучей, мог их отпугнуть — или, что еще хуже, стать предметом насмешек. С Чанчо этого не случалось. Надо думать, немало душевных сил ушло у ребенка на то, чтобы доказать сверстникам, что он такой же, как все, и не нуждается в снисхождении. Болезнь, однако же, неотвязно его пасла, и, бегая с мальчишками, Чанчо должен был помнить о том, что рано или поздно в воздухе просвистит лассо,

нацеленное на него одного, и тугая сыромятной кожи петля перехватит ему горло.

«Как-то раз сижу в доме возле окна, — рассказывает дон Эрнесто, — и вижу, как по склону холма бежит вся орава. Тащат что-то тяжелое на руках, а что — понять не могу. Только когда подбежали к самому дому — увидел, что они несут на плечах Эрнестино. Приступ начался у него в самый разгар игры...»

Следуя привычной нам всем обращенной вспять логике (если вождь — он и в юности вождь, мыслитель — и в пеленках мыслитель), дон Эрнесто уверяет, что и в этих неравных условиях его Чанчо был главарем всей ребятни округа. Вряд ли дело обстояло именно так. Эрнестино рос застенчивым и если не скованным и робким, как считают некоторые друзья его детства, то, во всяком случае, отстраненным, замкнутым на себя самого, это свойство его натуры, способность двигаться в избранном направлении, не подпуская никого близко к себе и не оглядываясь, идет ли кто за ним следом, — это свойство сохранилось и в зрелые его годы, когда в праве его на лидерство никто уже не мог усомниться. Право это не дано было Че от рождения, он завоевал это право в беспощадной борьбе с самим собой, в методичном насилии над своей природой. Здоровому человеку это насилие, как правило, незнакомо, он доверяет своей природе и идет у нее на поводу.

В 1941 году тринадцатилетний Эрнестино был принят в государственный колледж имени Деан-Фунеса. Колледж этот, не из последних в Аргентине, находился в Кордове, ездить туда каждое утро в душном автобусе мальчик был не в состоянии, вот тогда-то и начал себя окупать приобретенный по случаю «крайслер» — расхлябанный автомобиль, который Гевары насмешливо и любовно называли «катрамина»: слово это весьма приблизительно можно перевести как «раскладушка». «За рулем сидела, разумеется, Селия де ла Серна», — подсказывает нам Энрике Сальгадо, чтобы мы, упаси господи, не забыли про зловещую материнскую тень.

1941 год... Право, все это напоминает «Марсианские хроники»: настолько странно совпадение привычной хронологии с совершенно чуждой нашим представлениям жизнью. Мировая война, беженцы, крематории, рыжие танки ползут к Москве, стены многоэтажных домов оседают в беззвучном вопле, — а по голубой аргентинской шоссе среди мирных зеленых холмов, живопис-

но усеянных виллами и коттеджами, катится старая добрая «катрамина», ведет ее не знающая наших угрюмых забот феминистка с короткой стрижкой и суховатым молодежавым лицом, в ридикюле у нее — чековая книжка и пистолет, а рядом сидит молчаливый подросток, сумрачно мечтающий о том дне, когда он наденет фирменную рубашку спортивного клуба «Атлетико Аталайя» и докажет всей Кордове, что нет регбиста, равного ему в схватке.

Мы привыкли считать, что весь мир затаив дыхание ждал исхода великих битв под Москвой, Сталинградом и Курском, и из этого верного, в общих чертах, представления делаем вывод, что никаких других интересов в те годы не существовало и что не было на земле ни одного человека, который бы так или иначе не определился: с нами он или против нас. Жизнь, однако, сложнее наших суждений о ней. В аргентинском обществе сильны были прогерманские (совсем не обязательно антисоветские) настроения: многие, не желая нам зла, верили в скорую победу Гитлера и ожидали, что это позволит Аргентине установить свою гегемонию на Южноамериканском континенте. Основания для таких надежд имелись: Аргентина в те времена входила в восьмерку самых развитых (экономически) стран планеты, ее армия славилась выучкой и была неплохо вооружена. Немаловажным являлось и то обстоятельство, что против Гитлера воевали Соединенные Штаты: успех Германии там, в Старом Свете, должен был ослабить хватку США в Западном полушарии. Собственно, креольское националистическое движение уже имело опыт подобного рода: именно поражение, нанесенное Испании Наполеоном, приблизило великие победы Боливара, Сан-Мартина и Сукре. Впрочем, по мере того как гитлеровцы увязали в России и становилось все очевиднее, что удачи им не видать, усиливались противоположные настроения, и отзываться о Гитлере одобрительно стало неприлично даже в семейном кругу.

В нашей «житийной» литературе, изображающей действительность в ее законченных формах, дело представляется так, что отец знаменитого мятежника сам был чуть ли не антифашистом-подпольщиком и отлавливал в Аргентине шпионов «оси». Увы, это лишь желаемое, действительное же выглядит намного скромнее. Об антифашистской борьбе дона Эрнесто в годы войны, когда Аргентиной правил прогермански настроенный триумvirат,

нам ничего не известно. А вот в 1946 году, когда на волне демократических настроений в «Розовый дом» вступил Хуан Доминго Перон, — тут сердце «красного виконта» не выдержало. Программа Перона, соединявшая в себе социал-христианские и националистические элементы, должна была прититься по душе дону Эрнесто — но не пришлась. Он принял новую власть в штыки и с жаром включился в антиправительственную деятельность. Активисткой гражданского сопротивления Перону стала и экспансивная донья Селия де ла Серна: массовые демонстрации простонародья ее раздражали и даже то, что Перон предоставил женщинам право голоса, не смягчило ее феминистское сердце. Больше всего донью Селию выводило из себя то обстоятельство, что рядом с президентом на публике постоянно появлялась его очаровательная супруга Эва, или, как ее то ласково, то с издевкой называли в народе, Эвита (Эвочка). Эвита занималась благотворительной деятельностью, ее именем был назван фонд пожертвований в пользу неимущих, и уж тут донья Селия дала своим чувствам волю... Впрочем, все эти события относятся к более позднему времени, до которого еще нужно было дожить.

Неудобства ежедневных поездок со старшим сыном в колледж стали в конце концов очевидными, и в 1943 году Гевары перебрались в Кордову. А на следующий год сбылась мечта Чанчо: он был принят в клуб «Атлетико Аталайя».

«Да, Эрнесто сделался классным игроком в регби, — рассказывает его друг Альберто Гранадос, — рискованным игроком, совершенно не знающим страха. Бывало, конечно, что во время матча он покидал площадку, чтобы воспользоваться ингалятором. Астма его изводила, но он умел себя перевозмочь».

Регби — открытая и очень контактная борьба, она давала Эрнесто возможность почувствовать себя сильным среди сильных, здоровым среди здоровых и лишней раз убедиться, что при прочих равных условиях у него перед сверстниками есть и определенные преимущества: нечувствительность к мышечной боли (что стоили все эти ушибы и ссадины в сравнении с темной жутью небытия, подступавшей во время приступов к самому горлу?) и способность, не командуя и не злясь, навязать свою волю сопернику и партнеру. Для этого нужно было молча, спокойно сосредоточиться на одном, внушив себе, что это — самое сейчас главное, все остальное значения не имеет.

Так сосредоточиваешься, когда начнет действовать адреналин. Нет, не ожидая, заставляя сердце биться ровнее, навязывая себе возвращение к нормальному ритму дыхания. Эта способность к молчаливому преодолению враждебного гнета оказалась очень полезной еще и при игре в шахматы. Шахматами Эрнесто увлекся в 1939 году, когда в Аргентину приехал Капабланка...

Помимо регби и шахмат появился в жизни Эрнесто еще один интерес. Как и многие ранимые, самоуглубленные юноши, Эрнесто был влюбчив. Вначале его подстергла любовь к двоюродной сестре Кармен, которую близкие звали Негрита (Чернушка, Смуглянка). Отец Негриты участвовал в гражданской войне в Испании, сражался на стороне республиканцев, и, может быть, на девочку падал отблеск иберийской трагедии, которая в Латинской Америке не оставила равнодушным никого. Между двоюродными братьями и сестрами, которые росли и воспитывались раздельно, нередко вспыхивает взаимная симпатия: волнует само смешение чувства родства, почти близости, — и отчужденности, недоступности, в которой подростку чудится великая тайна.

Вскоре, однако, на горизонте Эрнесто засияла новая звезда: на него обратила благосклонное внимание Мария дель Кармен Феррейра, дочь крупного землевладельца и богача, позволявшая друзьям и поклонникам называть себя забавным именем Чинчина (Погремушка). Вот уж здесь отчужденности было более чем достаточно, а что касается тайн — жизни не хватило бы, чтобы их все разгадать: Общество, к которому принадлежали Феррейры, для родителей Эрнесто было не то что закрытым, но недостаточно, скажем так, доступным, это была кордовская знать, круг «богатых и родовитых ублюдков», признававший только своих. На правах молодости Эрнесто оказался в этот мирок допущен, но лишь допущен как посетитель, и его роман с Чинчиной не имел никакой перспективы.

Вот что рассказывает о будущем мятежнике сама Чинчина:

«Меня очаровали его упрямство и простота в обращении, а вот небрежность в одежде, которой он, похоже, не замечал, нас сместила и, честно говоря, немного конфузила. Он не снимая носил одну и ту же рубашку из прозрачного нейлона, которая от старости сделалась серая. Он покупал ботинки в лавках ношеной обуви, и они всегда выглядели так, как будто были составлены

из разных пар. Мы были так манерны и щепетильны, что Эрнесто нам казался позорищем. Он принимал наши шутки невозмутимо».

Здесь замечателен этот бесхитростный переход от «меня» к «нас»: понимая, что перед нею явление незаурядное, Чинчина прячется от него за стеклянной стеной обезличенных взглядов. Даже самоосуждение ее сопровождается притворным вздохом: «Да, мы такие, что с нас возьмешь?»

Избалованная вниманием и лестью девушка хотела превратить своего нового знакомого в диковинную, безобразную игрушку, и ее очень огорчало, что Эрнесто этой чести не рад. Хороши были, должно быть, шуточки этой юной компании, хороша была и девушка, ради которой Эрнесто соглашался терпеть. Не отсюда ли тянутся корни неприязненного, глухо пристрастного отношения Че Гевары к аристократии вообще?

«Преступник преступником и умрет, — написал он в годы славы. — Это прежде всего относится к преступнику-аристократу, к человеку, принадлежащему к «верхам».

Обе посылки здесь заведомо ложны, однако автор этого даже не замечает: его перо произвольно вычерчивает знак равенства.

Что мог Эрнесто ответить на беззлобное подтрунивание молодых хлыщей? Не из прихоти он покупал обувь на барахолке: с переездом в Кордову финансы семьи вновь пришли в упадок и, не прекращая учебы, Эрнесто вынужден был работать библиотекарем в пригородном муниципалитете. Но ведь не станешь это объяснять беспощадным поклонникам Чинчины, не знающим, что такое нужда, и нарочитую расхристанность в одежде Эрнесто сделал своим мятежным флагом. На фотографии, которую он подарил красавице Чинчине, мы видим его в черных выпуклых очках тонтон-макута, в мешковатой куртке с чужого плеча, в широченных штанах, с уродливой шляпой на голове. Очень смешная и одновременно трогательная фигура самолюбивого мальчишки, которому еще много и много страдать... Немало огорчений доставляло Эрнесто и то обстоятельство, что он оказался абсолютно глух к музыке и неспособен к танцам: это в Аргентине, на родине танго, да еще в те времена, когда для того, чтобы танцевать, нужно было уметь. «Да, в этом деле я чурбан», — говорил он с обезоруживающей простотой, но добродушие этих слов было, конечно, обманчивым.

Отголоски этих юношеских терзаний можно найти в его гватемальских стихах.

*Волшебным выпад был моей мулеты,
Но цель скользнула мимо — и умчалась,
В касательную обратив меня.
И я стою, сконфуженный тореро.
Не оглянуться, чтоб тебя не видеть,
И молча ждать, когда холодным жестом
Меня к себе удача позовет...**

Ревнивая Ильда, которой много позднее Эрнесто рассказывал о своих юношеских увлечениях, считала, что он никогда не женился бы на Чинчине, даже если бы она очень об этом просила, поскольку уже тогда Эрнесто знал, что не в состоянии провести всю жизнь в тихом провинциальном городке, а Чинчина другого места для себя не видела: здесь она была первой невестой Кордовы, здесь находилось все то, что она подразумевала под словом «мы».

Кордова не так уж провинциальна и тиха, в те годы в ней насчитывалось больше полумиллиона жителей, имелся университет, основанный почти четыре столетия назад. И все же, окончив колледж, семнадцатилетний Эрнесто уехал в Буэнос-Айрес: не удержали его ни обнадеживающие взгляды Чинчины, ни грозная слава регбиста, он ощущал нетерпение, беспокойство — так крупная форель спешит вырваться на быстрину.

К удивлению всех, кто знал о математических способностях его и о технических наклонностях, Эрнесто поступил на медицинский факультет. «Надо поскорее начать зарабатывать» — так объяснил он свое решение, имея в виду, что медицина в Аргентине является делом надежным и прибыльным. «Поскорее» («мас rapido») — это было его любимое слово. Молодость вообще торопится жить, даже исходя из убеждения, что впереди у нее — вечность. А Эрнесто не мог себе позволить этой счастливой иллюзии: он обречен был постоянно помнить о том, что его жизнь может оборваться в любую минуту, завтра ли, через год или через двадцать два года.

Согласно семейному преданию, читать Эрнесто начал рано, с четырех лет. Его родители, сами люди эрудиро-

* Здесь и далее стихи Че Гевары — в переводе автора данной книги

начетчики кроены на один манер: ни один наш ортодоксальный автор также не упустил бы случая сказать, что на книжных полках в этом доме видное место занимали произведения классиков марксизма-ленинизма, подразумевая при этом, что Эрнесто их прилежно читал. Знакомство с трудами Фрейда и Маркса в студенческой среде Латинской Америки тех времен считалось даже не необходимым, а просто само собой разумеющимся. Однако никому и в голову не пришло бы оповещать мир о том, что он запоем читает первый том «Капитала» или держит у изголовья «Толкование снов». Для того чтобы на равных участвовать в любом разговоре и адекватно реагировать на упоминание этих имен, достаточно было ориентироваться в названиях и в самых общих чертах представлять себе, кто из чего исходил. Наши сверстники Эрнесто, московские студенты послевоенной волны, если уж дорывались до Фрейда (нередко рискуя при этом свободой), впивались в него, восхищаясь и негодуя, «уничтожение отца-родоначальника толпою разгневанных сыновей» казалось им жуткой крамолрой, от которой мурашки бегут по спине, — для Эрнесто же и для его товарищей это было общее место, настолько приевшееся, что спорить об этом было так же глупо, как и горячиться по поводу формулы «товар — деньги — товар». Сальгадо дает понять, что чтение Фрейда развило у Гевары навыки самоанализа, но это далеко не бесспорно: подсознание наше пугливо, как птица, и, когда чужая мысль подбирается к «ядру всех неврозов», оно с шумом вспархивает и, припадая на крыло, уводит прочь от своего горячего гнезда. «Нет, это не про меня, про кого угодно, про всех окружающих, но только не про меня». Похоже, Эрнесто и не предполагал, что над ним нависает удрушающая материнская тень, в беседах с Ильдой он отзывается о матери ласково, как и положено блудному сыну, но без особого пиетета, с аргентинской бесцеремонностью, которая добродетельную Ильдy часто шокировала:

«Старушка ходит в окружении толпы интеллектуалок, этак все они могут сделаться лесбиянками».

Аргентинцы вообще слывут в Латинской Америке насмешниками, для которых нет ничего святого. Что же касается «отца-родоначальника», то к своему отцу Эрнесто относился снисходительно, ни малейшей ревности не испытывал и едва ли мог поймать себя на желании уничтожить своего незадачливого старика.

Кто на самом деле был властителем дум Эрнесто в студенческие времена — так это Сартр. Правда, в своей приверженности к экзистенциализму Эрнесто был не одинок: Сартр очень модным стал в послевоенной Аргентине, его «Воображаемое», «Бытие и ничто», «Экзистенциализм — это гуманизм» толковались и перетолковывались по поводу и без повода. Читая Сартра, Эрнесто должен был испытывать волнение Робинзона, внезапно обнаружившего, что он не одинок в своем одиночестве. Если человеческая сущность острее всего осознается в пограничной ситуации, перед лицом небытия, то Эрнесто в этой ситуации находился почти непрерывно. Как же воспользоваться своим уникальным опытом и через недуг (не вопреки, а благодаря ему) выйти напрямую к свободе? Да очень просто: нужно лепить себя каждым жестом своим, каждым словом и каждым молчаливым поступком. А чем он, собственно, занимается с самого раннего детства, разве не лепит, не формирует себя, не выбирает подлинного себя из ограниченного набора возможных? Разве он поддается необходимым, обязанностям, обязательствам, обстоятельствам? Разве он позволяет болезни или навязчивым, как болезнь, людям превратить себя в вещь? Другие, и он знал многих таких, которые, глядя на него, корчащегося в кашле, думают: «Нет, я не смог бы так жить!» — другие скатились бы до черной меланхолии, до самоубийства... а он уничтожил, затоптал в себе эту мысль. Правда, неясным оставалось самое главное: зачем, ради чего, во имя чего он должен себя насиловать? Что за великая ценность заключена в нем такая, что ее нужно беречь? И какое отношение содержимое этого захлебывающегося, с узким горлом, сосуда имеет к окружающему миру? Ответ представлялся простым... но это была пугающая простота: нет ничего внешнего по отношению к тебе, есть только то, что заключено внутри тебя. Каждый человек, каждое «Я» несет в себе весь мир, являясь одновременно оболочкой его и творцом, однако таким творцом, который сам по себе, в отчуждении от мира, не существует: оболочка мыльного пузыря, зыбкий радужный шар, наполненный гремучим газом...

Событием в жизни его поколения стала «Всеобщая песнь» Пабло Неруды, поэтическая версия истории Латинской Америки от доколумбовых времен до наших дней. Фрагменты поэмы ходили в Буэнос-Айресе по рукам начиная с 1943 года, а полный текст ее был опубликован в 1950 году тиражом в несколько сот экземпля-

ров, с великолепными иллюстрациями Сикейроса и Риверы. Так что это было даже не событие, это была целая полоса, совпавшая с формированием мировоззрения сверстников Эрнесто Гевары, мировоззрения, которое под воздействием Неруды приобрело своеобразный радикально-поэтический склад. Не ушел от этого влияния и Эрнесто. Гулкие стихи «Всеобщей песни» как бы озвучили его внутренний мир и придали его самосознанию континентальный и исторический масштаб... Попадались там строки, заставлявшие горько жалеть, что сам ты вообще когда-то брался за перо. «У Кортеса нет племени, он холодная молния, сердце мертвое под железной броней...»

Антикапиталистический настрой «Всеобщей песни» близок был Эрнесто Геваре: «Богатым — изысканный стол, объедки для бедных. Все деньги — богатым, а бедным — работа. Богатым — дворцы, а хижины — бедным». Тяготы бедности и вынужденного труда были ему знакомы, в родительском доме бессребреничество считалось почти синонимом порядочности и благородства, и Эрнесто привык верить, что капитал — непорядочен, он пожирает слабых, а уцелевших обкрадывает.

«Всеобщая песнь» предлагала ясное и однозначное объяснение всех терзающих Латинскую Америку бед: «Ибо на Уолл-стрите распорядились, чтобы кабаньи рыла марионеток впились клыками в незаживающие раны народа». В Аргентине эта взаимозависимость не представлялась столь очевидной, однако и здесь настроения, которые у нас называют антиамериканскими, были широко распространены, особенно в молодежной среде. Большей частью это был стихийный, младенческий антиимпериализм: так деревенская ребятня испытывает неприязнь к местному богатею, отгрохавшему себе каменный дом под железной кровлей, какого больше нет ни у кого. Заступаться за Соединенные Штаты означало прослыть ретроградом или, хуже того, затаившимся хитрецом, который только и ждет, чтобы его поскорее и подороже купили.

Партийность «Всеобщей песни» Эрнесто не привлекала. Он принадлежал к тем поклонникам Пабло Неруды, которые считали, что там, где поэт дает волю своим политическим пристрастиям, муза его умолкает и никакой авторский нажим не может поднять до высот поэзии такие, например, строки: «Это несокрушимое братство... нарекло себя Партией. Коммунистической партией Чили».

В университете Эрнесто какое-то время ходил на собрания коммунистической группы, но затем потерял к этому интерес, придя к выводу, что там слишком много спорят и что споры эти далеки от конкретного дела.

Не вдохновила его и заговорщицкая деятельность отца.

«Я был яростным антиперонистом, — рассказывает дон Эрнесто. — входил в группу гражданского сопротивления «Монтеагудо». В моем доме изготовлялись бомбы и хранились антиправительственные листовки. Однажды Эрнесто узнал обо всем и спросил: «Что, не хочешь вмешивать меня в это дело?» Я не знал, что ответить, и он добавил: «Если так, я буду делать то, что сам считаю нужным».

Больше разговоров на эту тему не возникало: сын дал понять отцу, что он не станет совать нос в родительские дела и от родителей ожидает того же. Его собственные интересы в годы университетской учебы не столь уж тесно были связаны с политикой. Можно даже сказать, что политика находилась на периферии его интересов.

«Я, как и все, хотел одерживать победы, — говорил Эрнесто много лет спустя, выступая перед кубинскими врачами, — мечтал стать знаменитым исследователем, мечтал неустанно трудиться, чтобы добиться чего-то такого, что пошло бы в конечном счете на пользу всему человечеству, но это была мечта о личной победе. Я был, как и все, продуктом своей среды».

В самой идее неустанного труда во имя личной победы, которая послужила бы всему человечеству, нет ничего предосудительного, но даже вне контекста ясно, что в конце концов Эрнесто счел этот путь для себя неприемлемым. Равно как ясно и то, что несколько шагов по этому пути он все-таки сделал.

В 1946 году донья Селия перенесла серьезную операцию: у нее была обнаружена злокачественная опухоль груди. Операция прошла благополучно, но все волнения, с этим событием связанные, подстегнули интерес Эрнесто к медицинским исследованиям. Чуланчик в кордовской квартире, где он обыкновенно печатал фотографии, был превращен в лабораторию с микроскопом и необходимыми инструментами. Однако позднее, когда состояние здоровья матери перестало вызывать опасения (после операции донья Селия прожила еще 19 лет), Эрнесто охладел к научной работе и в стихах отзывался о ней пренебрежительно:

*А что наука? Тычет в нос
свой черный микроскоп,
Как франтоватый медик
на таможенном досмотре...*

Другая попытка пойти по стезе терпеливого труда лежала чуть в стороне от медицины. Вместе с приятелем своим Карлосом Фигероа Эрнесто изобрел инсектицид, зарегистрированный под названием «Вендавал», и занялся производством, расфасовкой и продажей этого порошка через москательные лавки в пригородах Буэнос-Айреса. Какое-то время коробочки с «Вендавалом» шли нарасхват, но вскоре возникли трудности. То было время триумфального шествия по планете знаменитого ДДТ, который был запрещен международной конвенцией лишь в конце 60-х годов. Тягаться с большой индустрией два кустаря-надомника не могли, и стало ясно, что производство придется свернуть.

«Похоже, я в коммерции таков же, как и мой старикан», — философски заметил по этому поводу Эрнесто.

2

Друзей у него было немного, и причина заключалась не в замкнутости его, скорее наоборот: угрюмым Эрнесто был лишь во время приступов, когда же болезнь его отпускала — становился разговорчивым, остроумным, даже лихорадочно веселым и, как многие люди, не имеющие привычки к ровному общению, очень острым на язык. При этом Эрнесто оставался однодумом, совершенно не признающим полемики: сочетание взрывчатое и не способствующее приобретению друзей. Разногласия он воспринимал лишь как помеху действию — и при этом убеждении оставался до конца своих дней. Рассказывают, что, узнав о каких-то спорах в среде кубинской интеллигенции, команданте Гевара с раздражением бросил: «А ну их всех в ..!»

Те, кто свыкался с его нравом, кто сносил благодушно и тяжелое молчание его, и язвительную веселость, могли рассчитывать на его благодарность и дружбу. Одним из таких людей был Альберто Гранадос. Низкорослый добродушный толстяк (Эрнесто, сам невысокого роста, звал его Петисо — Коротыш), Гранадос был на пять лет старше Эрнесто: разница в молодые годы значительная. В 1945 году, когда Гевару приняли в столичный универ-

ситет, Петисо уже окончил медицинский факультет по специальности «лепрология», и этот выбор был для него не случаен. Добрый, работающий и самоотверженный человек, Альберто, по примеру своего тезки Швейцера, решил посвятить свою жизнь служению самым обделенным, несправедливо и жестоко наказанным судьбою людям. Работал он в лепрозории в 180 километрах от Кордовы, Эрнесто иногда к нему приезжал — и, глядя на своего небрежного друга, приучал себя не сторониться ужасных больных.

Контракт Альберто между тем подходил к концу, и, заручившись рекомендациями видных лепрологов Аргентины, Петисо решил совершить поездку по континенту — в надежде найти постоянную работу. Транспортные расходы, как предполагал Альберто, не должны были быть чрезмерно велики: у него имелся старый мотоцикл, который он так часто ремонтировал, что мог разобрать его с закрытыми глазами. Поездка была не развлекательной, а деловой, маршрут пролегал через крупные лепрозории Южной Америки, и посещение этих очагов скорби и милосердия было обязательным: там Петисо мог рассчитывать на заработок или, во всяком случае, на кусок хлеба.

И, чтобы не скучно было в пути, Альберто предложил своему юному другу составить ему компанию. Так, во всяком случае, пишет Ильда. Но не исключено, что Эрнесто сам напросился в попутчики: Петисо слишком серьезно относился к медицине, чтобы отрываться друга от учебы — на восемь месяцев, шутка сказать. Шел декабрь 1951 года, Эрнесто учился на последнем курсе, приближалась самая горячая преддипломная пора.

Как бы то ни было, Эрнесто с радостью ухватился за эту возможность. Почему? Тут несколько различных объяснений. Одно из них, самое на первый взгляд серьезное, лежит в русле наших ортодоксальных представлений о жизненном пути будущего мятежника. Согласно этим представлениям, Эрнесто пустился в путешествие для того, чтобы «найти правильный ответ на мучивший его с каждым днем все больше и больше вопрос: а как же все-таки изменить жизнь народов континента к лучшему, как избавить их от нищеты и болезней, как освободить от гнета помещиков, капиталистов и иностранных монополий»? Есть в этом что-то от ханжеского самодовольства: пусть, пусть поищет, мы-то с вами этот ответ знаем, теперь его черед. Все дело в том, однако, что «правильный ответ» был известен Эрнесто Геваре, точно

так же как и нам, он тоже заглядывал в конец задачника, что же касается несправедливости и гнета — то эти явления могли ему представляться лишь риторическими фигурами из арсенала популистской фразеологии президента Перона: вживе он ничего этого еще не видал.

Дон Эрнесто склонен объяснять тягу первенца к странствиям наследственностью: кровь беспокойных предков кипела в венах всех мужчин его рода и побуждала их к перемене мест.

«Я и сам в молодости был большим непоседой...»

Что верно, то верно, странничество было у Эрнестино в крови, в стихах он часто называл себя пилигримом, вечным бродягой:

*Пешком по тропе нисходящей,
Усталый от пути вне истории,
Затерянный в древе дорог.—
Уйду так далеко, что и память умрет,
Разбитая в щебень дорожный,
Уйду тем же странником,
С улыбкой на лице
и с болью в сердце.*

Тема горестного ухода, фактически бегства в никуда, бегства от обстоятельств, уже сложившихся, возможно, это был лейтмотив всей его жизни. Зов предков здесь не все объясняет. Легко было отцу говорить о наследственности: ему-то не приходилось брести в никуда «со своей астматической плотью, которую влачишь на себе, словно крест...» — и доказывать себе при этом, что ты превосходный ходок.

Энрике Сальгадо, разумеется, объясняет решение Эрнесто стремлением уйти от удушающей материнской опеки... хотя из текста его «Рентгенограммы» следует, что именно материнской опеки Эрнесто всегда недоставало и что свои материнские обязанности донья Селия выполняла с прохладцей.

Ильда в свою очередь полагает, что Эрнесто отправился в поездку с Петисо, для того чтобы избежать призыва в армию: служить Перону он не желал. В вопросе о воинской службе Эрнесто Гевары есть множество разнотолков. В нашей литературе имеет хождение версия, согласно которой Эрнесто, призванный в армию «горилл», с помощью ледяной ванны спровоцировал очередной приступ астмы и признан был негодным к военной службе.

Сальгадо объясняет все проще: Гевару забраковали без каких бы то ни было уловок с его стороны, в медицинской карте его поставили аббревиатуру «ДАФ» («дисминуидо эн аптитудес фисикас»: «ограниченные физические возможности»), и вопрос о призыве, таким образом, был закрыт. Это дало Эрнесто повод заметить:

«Наконец-то эти дерьмовые легкие оказали мне услугу, избавили меня от знакомства с гагарами».

Под «гагарами» подразумевалась служба на крайнем юге Аргентины, в приполярных областях.

Возможно, одной из главных причин, побудивших Эрнесто прервать учебу, было некоторое разочарование в медицине. Эрнесто специализировался на аллергии, поскольку это явление известно было ему не понаслышке и для исследователя здесь непочатый край работы. Однако вкуса к научным изысканиям он в себе не обнаружил, что же касается практики — то она, как известно, привязывает врача к определенному месту. Одна мысль о том, что всю жизнь придется провести в каком-нибудь Рио-Терсере, вызывала у него спазмы удушья.

«Может быть, его собственные астматические приступы, — гадает Ильда, — были поначалу реакцией отчаяния и раздражительности на скованный мир аргентинского среднего класса, в котором он был рожден?»

Мысль, от которой не отказалась бы ни одна примерная ученица средней школы... но Ильда заканчивает ее фразой, которую наш учитель словесности подчеркнул бы двойной чертой и поставил бы рядом жирный знак вопроса:

«А быть может, его раздражала и душила жизнь как она есть».

К чему готовит себя в юности человек? Как правило, он и сам отчетливо этого не понимает, а если понимает, то в большинстве случаев ошибается: любое понимание здесь основано на недоразумении... разве что сама натура подсказывает единственный ответ. Но Моцарты и Ван-Гоги рождаются нечасто, основная же масса людей ищет себя наугад. Если человек осторожен и вял — он инстинктивно тянется к тихой заводи, азартный и честолюбивый вслепую нащупывает свой «Тулон»... а ведь Эрнесто еще должен был доказать себе и всем людям на свете, что он в этой жизни не так уж ограничен в своих физических возможностях и что напрасно они глядят на него, как на большую рыбину, выброшенную из воды и задышающуюся на знойном песке...

В странствиях Эрнесто к тому времени уже не был новичком: в прошлом, 1950 году он совершил поездку на мопеде «Микрон» по двенадцати провинциям Аргентины. Этот мопед был предоставлен ему фирмой на время, в рекламных целях, и пробежал четыре тысячи километров без единой поломки. В журнале «Эль Графика» было напечатано письмо Эрнесто Гевары, в котором он (таковы, видимо, были условия соглашения) с похвалой отозвался о достоинствах выносливой машины. Вряд ли это путешествие по хорошим шоссейным дорогам дало молодому человеку возможность увидеть «жизнь как она есть»: Эрнесто добросовестно выполнил поручение фирмы, испытал свои силы — и приобрел опыт, который, естественно, должен был пригодиться в новой большой поездке.

Друзья закупили снаряжение, распрощались с близкими. Чинчина дала им пятнадцать долларов, с тем чтобы они привезли ей из-за границы какое-то особенное кружевное платье, которое, видимо, нельзя было купить ни в Кордове, ни в Буэнос-Айресе. И, полные смутных, но радостных ожиданий, они направили свой двухколесный мотоцикл на юго-запад, в сторону чилийского города Темуко, чтобы оттуда двинуться на север, по Панамериканскому шоссе. Границы в Латинской Америке перекрывают лишь на время революций и войн, и паспортных трудностей не предвиделось.

В Темуко их приезд был отмечен как достойное внимания событие. Местная газета «Диарио аустраль» сообщила своим читателям, что два аргентинских эксперта-лепролога совершают поездку на мотоцикле по континенту и что их путешествие завершится в Венесуэле.

Есть люди, равнодушные к пространственным координатам, вообще к пространству своего обитания, они довольствуются знанием того, что находится в пределах их досягаемости и что функционально необходимо для повседневной жизни. Приходится удивляться порою, когда на вопрос, что за поселок находится там, за поворотом, и поселок-то весь на виду, человек пожимает плечами: «А что я там потерял?» И речь идет о родных местах, ограниченных чертой горизонта. Что ж говорить о запредельных краях? Громадное большинство людей довольствуется обрывочными сведениями, искаженными представлениями, которые кое-как сплетаются в небрежную рожжку, и эта рожжка покрывает их мир, их единственный мир, в котором они живут всю свою жизнь. Мир странный, перекошенный, зияющий причудливыми бре-

шами, щелястый, как построенный наспех барак, — но обжитой, привычный, по-своему удобный — и исчезающий, словно мираж, когда умирает гнездившийся в нем человек. Да что человек! Есть целые народы, обделенные интересом к пространству... чаще не обделенные, а обворованные. «Мы в детстве знакомимся с географией, изучая карту, которая показывает наш мир не таким, каков он есть, а каким его хотят видеть сильные мира сего, — говорит уругвайский писатель Эдуардо Галеано. — На традиционной карте планеты, которая используется в наших школах, экватор не проходит через центр, Северное полушарие занимает чуть ли не две трети карты, а Южное — остаток... Латинская Америка занимает на принятой у нас карте мира меньше места, чем Европа, и гораздо меньше, чем США и Канада, вместе взятые, — а на самом деле она в два раза больше Европы и в достаточной степени, чем США и Канада. Карта, которая нас уменьшает, символизирует и все остальное. Украденная география, разграбленная экономика, фальсифицированная история... Результат: так называемый «третий мир», населенный людьми третьего сорта, занимает меньше места, меньше ест, меньше помнит, меньше говорит, меньше живет...»

До таких высот понимания проблемы Эрнесто в те годы, естественно, не поднимался, у него было особое, свойственное многим астматикам отношение к пространству: замкнутость его, стесненность ассоциировались с приступами удушья, когда смерть, мрак и ужас (это слова Ильды, пытавшейся вникнуть в природу страданий своего любимого) обступали его со всех сторон. Поездка распахнула перед ним горизонты, Испаноамерика оказалась обширнее, чем он себе представлял, грандиознее, чем поэтическая фреска Пабло Неруды, — и спазмы отступили на долгое время, как бы бессильные перед величием Андских гор... а может быть, сам горный воздух расширил ему легкие, — дышать стало легче.

Все шло превосходно до тех пор, пока у мотоцикла крутились колеса. Возле чилийской столицы, однако, машина вышла из строя, и поломки оказались настолько серьезны, что оба механика не смогли ничего сделать. Они спихнули эту рухлядь в кювет, забросали ее камнями и ветками, соорудив над нею что-то вроде надгробья, взвалили на плечи пожитки и двинулись по обочине шоссе уже в качестве пешеходов. Новый способ передвижения оказался не намного дешевле, чем колесный (хоть и

отпала проблема платы за проезд на многочисленных дорожных заставах): очень скоро эксперты-лепрологи позидержались и в крайности дошли до того, что истратили деньги Чинчины. Пришлось хвататься за любую работу, какая только попадалась на пути. Друзья становились и грузчиками, и мойщиками посуды в придорожных ресторанах, и ветеринарами, и радиотехниками. В сельской местности спросом пользовались их медицинские и технические навыки (правда, оплачивались они скудно), в городах же от молодых людей требовалась лишь грубая физическая сила, здесь можно было хорошо подзаработать — или нарваться на воинственных конкурентов. Эксперты перебрались на ходу, зачинщиком ссор был Эрнесто, высмеивавший и обижавший своего незлобивого спутника, — он же обыкновенно и предлагал мировую... короче, они не скучали в дороге.

Так миновали Сантьяго-де-Чили, спустились вниз, к Вальпараисо, полюбовались закатной красотой Тихого океана. Нельзя сказать, что океанская ширь захватила воображение Эрнесто: по природе своей он был человек сухопутный и, как обнаружилось впоследствии, — при самых неподходящих обстоятельствах — склонный к морской болезни. Вдобавок густой иодистый воздух приморья был, как говорят медики, ему «не показан».

*Манило море дружеской рукой,
Но за спиною мягко расстирался
Мой луг, мой континент, моя судьба...
Так стелется над тихими холмами
Вечерний звон колоколов.*

«На севере Чили, в Чукикамате, — со слов Эрнесто рассказывает Ильда, — они смогли увидеть, в каких нечеловеческих условиях живут чилийские шахтеры, с каким мужеством они переносят лишения...»

Это был первый случай в жизни Эрнесто, когда он познакомился (насколько это слово применимо к путешественнику) с жизнью и трудом пролетариата. Грандиозная панорама крупнейшего в мире медного рудника казалась результатом какой-то нечеловеческой деятельности: зеленые отроги гор расступались перед гигантским ржавым котлованом, уступами спускались вниз цеха обогатительной фабрики, в ущелье стекали мутно-голубые потоки — отходы медного купороса, над медеплавильным заводом стоял рыжий дым, все вокруг было покрыто едким чер-

ным налетом, и воздух здесь был очень нездоров, люди работали в устрашающего вида повязках, закрывающих рот и нос. Горняки Чукикаматы в те годы еще не стали высокооплачиваемой рабочей аристократией, которая двадцать с лишним лет спустя внесла свой вклад в свержение Народного единства: не было еще у них ни прорезиненной спецодежды, ни нарядных домиков с лоджиями; кругом убогие лачуги и вонючая грязь, и, для того чтобы выбраться из этого беспросветного мрака, добиться привилегий, гарантий и удобств, нужны были годы и годы настойчивой забастовочной борьбы.

«Эрнесто говорил, — продолжает Ильда, — что, если бы у этих шахтеров был хороший вождь, они смогли бы совершить революцию и взять власть в свои руки; они храбры, как никто, — и беднее быть уже не могут».

Пусть эти слова были сказаны тремя годами позже, но мысль начала вызревать уже тогда: беспросветная нищета, беззаветная храбрость, хороший вождь и взятие власти силой. А что потом? Эрнесто не хотел об этом думать. Вождем рабочих отрядов ему не суждено было стать, интересы и требования рабочего класса так и остались ему неясны, и в дальнейшем мы это увидим. Что же касается идеи хорошего вождя, то в течение многих лет учебники и учителя его уверяли, «что в борьбе добра со злом народы пассивно играют роль толпы статистов, что они представляют собою мятущееся скопище умственных дебилов, жаждущих прихода сильных вождей». Эти жестокие слова, характеризующие способ подачи исторического материала в латиноамериканской школе (да только ли в латиноамериканской?), принадлежат тому же уругвайцу Энрике Галеано. Вождизм — традиция, берущая свое начало с победоносного завершения Войны за независимость, породившей веру во всемогущество небольшой группы молодых прозорливцев.

Так, где задерживаясь на несколько дней, где следуя без остановки попутным транспортом или пешком, друзья миновали красные пустыни чилийского севера, пересекли границу Перу и двинулись по направлению к Куско. Чем дальше на север, к экватору, тем чаще попадались селения, а то и целые районы, где жители, коренные широкогрудые люди с непроницаемо-равнодушными лицами, совсем не знали испанского языка. То были места обитания коренных американцев — индейцев кечуа, их странный говор с редкими вкраплениями испанских словечек был совершенно непонятен Эрнесто, и он

чувствовал себя одним из братьев Писарро, вступающих в заповедный край. Кому здесь интересно знать, что он — испаноамериканец двенадцатого поколения? Да у любого из этих копошащихся в придорожной пыли ребятишек американская родословная начинается за пятнадцать столетий до Писарро, а в жилах у многих течет не административная вице-королевская, но истинно королевская кровь великих инков. А бедность, а убожество... вот уж где царила подлинная нищета! В Аргентине индейцы были истреблены еще четыреста лет назад, и Эрнесто впервые приблизился к основанию американской человеческой пирамиды: ведь во времена Боливара и Сан-Мартина индейцев было вшестеро больше, чем креолов и «гачупинов». Увиденное его ошеломило даже больше, чем котлован Чукикаматы, — и не столько кишашей нищетой (этого он по дороге уже навидался), сколько пренебрежением, презрением к этой нищете со стороны даже самой захудалой местной власти, непроницаемого барьера между индейцами, метисами и белыми. Как будто последние были пришельцами из иных миров... Печальная истина открылась Эрнесто Геваре: Война за независимость, блестящие победы предков, «луна и галоп, костры бивуака», все то, чем он с малолетства привык гордиться, — все это были лишь креольские игры, а эти люди, подлинные хозяева американского дома, не получили от свобод ничего, кроме права жить и умирать в убожестве.

Надо сказать, что Эрнесто воспринимал эту несправедливость скорее поэтически, литературно: ему все казалось, что за тупым равнодушием индейцев кроется скорбь об утраченном величии.

*Глядит индеец, глупо улыбаясь,
От голода и коки полупьян,
Изглоданный заботами и страхом,
Скрывающий в душе своей тоску,
Тоску о том, что минуло навеки,
Чего, быть может, не было совсем...
Но возвращенье прошлого желанно...*

Эта антитеза (былое величие — нынешнее ничтожество) совершенно его заворожила, когда друзья вступили в Мачу-Пикчу. Стены древней индейской столицы, сложенные из многотонных тесаных камней, уступчатые строения с открытыми террасами и наружными каменными лестницами кажутся невысокими на фоне тесня-

щихся вокруг крепости гор и образуют с ними угрюмое и величавое единство. Это было орлиное гнездо последних коронованных американцев, властителей огромной империи, занимавшей площадь в два миллиона квадратных километров — и исчезнувшей с лица Земли, хоть говорят, что империи не исчезают бесследно... Несколько лет назад Неруда прислушивался здесь к безмолвному каменному эху истории и обдумывал замысел своей «Всеобщей песни»: «Высокие безлюдья Мачу-Пикчу, как райские врата, переполнялись маслом и напевом, людская воля рушила гнездовья огромных птиц на крутизне, и в новом царстве посреди утесов дотрагивался пахарь до зерна рукой, изрезанною ледниками...»

Забравшись на плоскую крышу одного из зданий, Эрнесто и Альберто любовались горными теснинами и, как это свойственно молодости, предавались необузданным фантазиям. Петисо предлагал навек остаться здесь, в Мачу-Пикчу, жениться на индианках королевского рода, объявить себя принцами Чинки и Наски и осуществить индейскую революцию сверху.

«Без стрельбы? — возразил Эрнесто. — Ничего не выйдет, мой друг. Ты просто сумасшедший».

Вопреки мнению некоторых наших авторов, ничего особенно революционного Эрнесто при этом не высказал: вера в предпочтительность военного решения социальных проблем, определенный милитаризм мышления — все это было плодом воспитания в духе испано-американской традиции, согласно которой малыми силами, с надежным оружием в руках можно добиться всего. В Андской армии Сан-Мартина, шедшей освобождать Перу, было не более пяти тысяч человек, а за Кортесом стояла вообще горстка авантюристов, и этого оказалось достаточно, чтобы сокрушить целую цивилизацию. Так что крамольником был скорее Петисо, предлагавший реформаторский план. Впрочем, и он исходил из широко распространенного в Латинской Америке убеждения, что историю можно вернуть в узком кругу.

Все это были, конечно, пустые мечтания, и Альберто встревожился, когда Эрнесто заявил о своем намерении задержаться в Перу на неопределенное время: побродить по золотому треугольнику Куско — Чанчан — Чавин, осмотреть развалины Чичен-Итца, посидеть в местных библиотеках — и вообще всерьез заняться археологией. До сих пор простодушный Петисо полагал, что Эрнесто тоже мечтает осесть в каком-нибудь тихом лепрозории.

«Как и я, Эрнесто не боялся прокаженных, не испытывал к ним отвращения. Наоборот, вид этих несчастных, отверженных, забытых близкими и обществом, вызывал в нем живейшее участие, в нем зрела мысль посвятить свою жизнь их лечению».

Видимо, Эрнесто давал ему основания так думать, и, услышав об археологических задумках своего друга, Петисо был разочарован и обижен. В самом деле, что за шарахания в двадцать четыре года (возраст, по представлениям быстро взрослеющих латиноамериканцев, достаточно уже степенный)? Студенту-старшекурснику престижного медицинского факультета не пристало поддаваться минутным порывам и ни с того, ни с сего отрекаться от гиппократовой клятвы — потому лишь, что ему приглянулись живописные развалины.

Петисо и не подозревал, что у его друга непростые счеты с Историей. Вряд ли он думал и о том, что сам он, Альберто Гранадос, не только врач-лепролог, но по совместительству и добровольный историограф всего человечества. Всякий человек в своем бытии есть историческая сущность, определенная местом во времени, однако рассматривать историю лишь как вместилище жизней было бы упрощением, здесь есть и обратная связь: каждая отдельная жизнь включает в себе всю историю человечества. Всю без остатка, ибо для каждого из нас всемирная история начинается с той минуты, как мы осознаем себя исторической сущностью (в отпущенной нашему разуму мере), и заканчивается, когда наше сознание навек угасает. Каждый пишет свою всемирную историю в одиночку. С теми или иными оговорками мы ставим знак равенства между понятиями «жизнь моя» и «жизнь вообще» и инстинктивно отождествляем свое прошлое, настоящее и будущее с соответствующими эпохами истории человечества. Темные пещерные времена — это раннее наше младенчество, Мифы античности, Реконкиста или Куликовская битва, Ришелье, Боливар и Пестель — все это, усвоенное нами в детстве и юности, умещается в несколько золотых абзацев, точно так же, как взлетная пора нашей жизни умещается в несколько ярких воспоминаний. Зрелые годы обыкновенно связаны с какой-то злобой дня, подменяющей для нас всю новую и новейшую историю. Остается будущее, но большинство из нас покорно примиряется с мыслью, что будущее — это то, что ежечасно удаляется от нас и чего мы никогда не увидим. Сказанное вовсе не означает, что все на свете люди только и

заняты тем, что сводят счеты с Историей. Некоторые живут одним нынешним днем, другие тешатся памятью о минувшем, третьи выжигают себя изнутри надеждами на будущее: большей частью речь идет об их личном прошлом, настоящем и будущем, несоизмеримость которого с Историей мало кто ощущает так остро, как это выпало на долю Эрнесто Гевары.

*Уйду я по тропе длинней, чем память,
В потоке времени соединив прощанья...*

Здесь, в Мачу-Пикчу, стоя на краю бездны, Эрнесто был охвачен ощущением кратковременности своих дней и невозможности вместить в себя эту бездну. Сколь мощным был пролог к нашей жизни, как незначительна ее основная часть — и насколько же мало времени у нас для подготовки достойного финала...

Отвлеченные умствования, однако, не насыщают, и, уступив голосу здравого смысла, Эрнесто вновь пошел за своим жизнерадостным другом, держа в уме упорную мысль, что он еще вернется в эти места, вернется, свободный от каких бы то ни было обязательств, за исключением долга перед Историей.

В одном из перуанских лепрозориев друзья задержались почти на месяц: им дали возможность пожить среди прокаженных, быть может для того, чтобы испытать мужество заезжих экспертов. Эрнесто и Альберто выдержали испытание: они вступили с больными в контакт без масок и перчаток, держались с ними по-дружески, почти на коротке.

«Мы попытались применить психотерапию, — с младенческой непосредственностью рассказывает Петисо. — Организовали из прокаженных футбольную команду, устраивали спортивные состязания, беседовали с ними на самые разнообразные темы, охотились в их компании на обезьян. Наше внимание и товарищеское отношение резко подняли их тонус. Больные искренне привязались к нам...»

Конечно, психотерапия — далеко не самый эффективный способ лечения проказы, все это были любительские упражнения — там, где от человека требуется истинная жертвенность, способность утопить в чужом горе всю свою жизнь без остатка, способность корчиться от чужой боли и чувствовать себя изъязвленным среди покрытых язвами... Эрнесто доволен был тем (и с гордостью рассказы-

вал Ильде), что мог без отвращения и страха смотреть прокаженным в лицо... Что же для этого нужно присутствие духа. Были среди обитателей ленрозерия совсем уже изглоданные болезнью люди, жизнь которых чудом держалась на полусгнившей бечевке, о таких Эрнесто говорил Ильде, что их человеческое благородство, спокойствие и бережное отношение к остальным достойно было восхищения.

Много ли нужно несчастным больным? Они и в самом деле привязались к двум молодым чужестранцам, пытавшимся хоть как-то их развлечь. Через три года, живя уже в Мексике, Эрнесто получил из Перу две фотографии: групповой портрет прокаженных и эпизод футбольного матча. Ильда тогда ждала ребенка, она даже смотреть не хотела на эти снимки, не то что к ним прикасаться. А Эрнесто ее поддразнивал:

«Ну погляди же, какие молодцы, как чудесно они выглядят!»

Ильда и без того знала, как они могут выглядеть: безносые лица-маски с оголенными черепными костями. Эрнесто втолковывал ей, что проказа — это заболевание крови, оно не может передаваться через почтовые отправления, а заразиться можно лишь при тесном физическом контакте, да и то если касаться открытых язв. Он как ребенок радовался этим фотографиям, показывал их гостям и читал вслух письмо прокаженных, где они в трогательных выражениях благодарили того, кто явился к ним без предубеждения...

Между тем с отъезда экспертов из Кордовы прошло целых пять месяцев. Родители Эрнесто могли только гадать, где затерялся их бродяга-сын. Однажды они получили от него письмо, в котором Эрнесто ставил их в известность, что на плоту, построенном прокаженными, они с Петисо направляются вниз по Амазонке, в Бразилию.

«Если через месяц от нас не будет вестей, ищите наши тсантсы в сувенирных лавках Нью-Йорка».

Здесь надо пояснить, что путь молодых людей пролегал через места, населенные воинственными индейцами хибаро. У этого племени есть жуткий обычай: убитым врагам своим (да и просто забредшим в их края чужакам) они отрезают головы, а затем, аккуратно удалив черепные кости (кроме передних зубов), особым образом эти головы высушивают, пока они не превращаются в амулеты величиною с детский кулачок, именуемые на языке

хибаро «тсантса». Североамериканские и европейские любители экзотики охотятся за тсантсами, платят большие деньги и не дают этому сатаинскому промыслу исчезнуть. Впрочем, Эрнесто писал об этом в шутку: уже в те времена продажа и покупка тсантс преследовалась по закону, да и для того, чтобы завулигить голову, совсем не обязательно было кого-то убивать. В скором времени тсантсы из синтетических материалов, очень похожие на настоящие, стали изготавливаться в Гонконге... Вы можете по почте заказать там свою.

Можно себе представить, как плыли два друга на плоту по неширокой в тех местах Амазонке. Альберто, взволнованный душераздирающим прощанием с прокаженными, говорил без умолку, расписывая прелести тихой совместной работы где-нибудь вот в такой же живописной глуши, а Эрнесто с каждым часом становился все более молчалив и угрюм... Запах речной воды и гниющих водорослей, влажность, духота, цветочные ароматы с ближнего берега, непривычная рыбная диета — все это разбудило дремавшую в нем болезнь, и, как ленивый, уверенный в своей силе зверь, она поднялась, выгнула спину и издала хриплый придушенный рык... И как же медленно текла река, как неторопливо двигался плот, как неспешно разворачивались берега... А жизнь утекала меж пальцев, словно теплая и прозрачная, неосязаемая со всеми своими взвесями вода...

В Летисии, уже на территории Бразилии, но возле самой перуанской границы, плавание пришлось прекратить: Эрнесто совершенно сник. Сели на самолет до Боготы, из Боготы добрались до Каракаса.

Столица Венесуэлы, переживавшей новую волну нефтяного бума, считалась тогда в Латинской Америке городом, где только успевай зарабатывать. Нефтяные деньги текли рекой, небоскребы росли как грибы, а на рынке все продукты, вплоть до салата и куриных яиц, было привозное, из Соединенных Штатов.

Альберто Гранадосу посчастливилось: ему предложили надежную и хорошо оплачиваемую работу. Добрый Петисо выхлопотал место и для своего друга — с приличным по тем временам окладом, восемьсот долларов в месяц. Но для того чтобы занять это место, Эрнесто должен был получить диплом об окончании медицинского факультета, а для этого, в свою очередь, ему необходимо было вернуться в Аргентину — путь дальний и не дешевый: пять тысяч километров по прямой, а если морем —

то и все девять. Нужны были деньги, а с деньгами у экспертов было скверно.

Бродягам, однако же, сопутствуют разного рода удачи и совпадения. В Каракасе оказался родственник Гевары, коннозаводчик, занимавшийся продажей в США аргентинских породистых лошадей. Он и предложил Эрнесто сопровождать партию скакунов самолетом до Майами, а затем с другим грузом вернуться в Буэнос-Айрес.

Друзья распрощались, договорившись, что встретятся вновь в Каракасе, когда Эрнесто получит диплом, — и будут работать вместе до конца своих дней, никогда уже больше не разлучаясь. Гранадос — Евара, два самоотверженных друга, посвятивших жизни свои уменьшению скорби на нашей планете... Альберто и помыслить не мог, что в следующий раз он увидит Эрнесто Гевару лишь через восемь лет — в кабинете президента Национального банка Кубы, и будет его друг в военной форме со знаками отличия команданте, с пистолетом у бедра, обросший негустой бородой, улыбающийся, уверенный в себе, исполненный революционного оптимизма...

3

В Майами Эрнесто провел целый месяц. Чем он там занимался — достоверных свидетельств нет. Во всяком случае, распродажа аргентинских рысаков и закупка ломовых лошадей-тяжеловозов для обратного рейса (странноватый бизнес, в духе «красного виконта», но, может быть, только на первый взгляд) — вся эта коммерция шла без его участия. У нас пишут, что «в Майами Че жил впроголодь, коротая время в местной библиотеке». Первая часть этого утверждения не вызывает сомнений. Ильда подтверждает, что Эрнесто питался «хот-догами» (то есть, по латиноамериканским понятиям, всухомятку, чем придется), но вот насчет библиотеки... что мог искать в библиотеке курортного города студент-медик, увлекающийся изучением доколумбовых цивилизаций и почти не знающий английского языка? Ильда тоже не знает, чем заполнял свой досуг Эрнесто, она ограничивается утверждением, что, несмотря на свой «рудиментарный инглиш», Эрнесто постоянно ввязывался в споры с окружающими, в этих спорах он допускал антиамериканские высказывания, за что однажды был препровожден в полицию, где его с пристрастием допросили — и выслали в Аргентину. Но Майами не такой город, где пришелец

с юга, из-за канала, едва говорящий по-английски, мог найти себе подходящую аудиторию, которая согласилась бы его слушать. В Майами демонстрирует свой бронзовый загар, свои стальные мышцы и вставные улыбки преуспевающий и жизнерадостный народ, которому глубоко безразличны проблемы, волнующие заезжих чиканос. Гордый аргентинец, высоко державший голову в любой стране Южноамериканского континента, вдруг оказался в положении безъязыкого «кенди-боя» (мальчика, подносящего клюшки гольфистам) с заднего двора Америки — и не мог не быть уязвлен пренебрежительным к себе отношением. То, что привычно и бездумно называлось «империализм янки», предстало перед ним в виде закрытого клуба самоуверенных снобов, убежденных в своем превосходстве и в своем исключительном праве на праздничную жизнь, чего бы она ни стоила всем остальным. «Медоточивые и улыбающиеся убийцы...» — говорил о них Пабло Неруда.

Много позже на страницах своего учебника герильи Эрнесто напишет о молодых американских капиталистах, которые, создав демократический клуб английского типа, считают себя вправе диктовать свою волю латиноамериканским республикам. Этот специфический образ североамериканского империализма, быть может, сложился именно в Майами. Но с кем Эрнесто мог делиться своими впечатлениями? С курортной публикой? С работниками сервиса? С агентами ФБР? Энрике Сальгадо осторожно предполагает, что в Штатах Эрнесто общался с латиноамериканскими изгнанниками и, развивая антиамериканские идеи, попал на подозрение ФБР. В самом деле: беглецы из Южной Америки, нашедшие себе убежище в Майами, по логике вещей не должны были испытывать неприязни к империализму янки, столь привычной для радикально настроенной студенческой среды, в которой одобрительно отзываться о США было признаком дурного тона. Возможно, мысли, высказанные Эрнесто Геварой в новом для него окружении политических бойцов (и не на «рудиментарном английском», а на прекрасном аргентинском «идиома насьональ»), не нашли понимания и поддержки и стали известны властям. А это в Соединенных Штатах, находившихся на пороге эры маккартизма и уже отравленных бинарными фобиями холодной войны, не могло остаться без последствий. Так сердитый, но пока еще безобидный бродяга был зачислен в разряд если не смутьянов, то, во всяком случае, опасных говорунов.

Эрнесто вернулся на родину в августе 1952 года. Платье Чинчине он все же купил, сэкономив, должно быть, на «хот-догах». Девушка не могла не отметить, что Эрнесто возмужал, стал более уверен в себе и значительно менее замкнут, он окружен был романтическим ореолом неординарных приключений, и даже небрежность его в одежде, прежде смешившая, воспринималась теперь по-иному: так запыленные помятые доспехи странствующего рыцаря вызывают уважение и трепет. «Кондотьер Америки» — таков был новый облик, который Эрнесто начинал к себе примерять.

Чинчина была готова слушать рассказы своего загадочного друга, однако времени на это у Эрнесто не имелось: он должен был приводить в порядок свои запущенные университетские дела. Вместе с задолженностями ему предстояло сдать шестнадцать экзаменов и защитить дипломную работу по аллергии, которая не была еще написана.

К середине 1953 года все хлопоты и формальности были уже позади: Эрнесто получил диплом и мог распоряжаться собой по своему разумению. Аллергологическая клиника доктора Писани, где он проходил практику еще до своего путешествия, приглашала его на работу, но Эрнесто отклонил это лестное предложение. Аллергия — болезнь обеспеченных людей (бедняки о ней просто не знают). Становиться избалованным профессионалом, прописывающим бесполезные лекарства от излишеств и праздности, Эрнесто не хотел: эта имитация деятельности не оправдывала, с его точки зрения, и одного дня «затянувшейся остановки его на Земле». Так он, во всяком случае, позднее объяснял свое решение Ильде.

«Че со своей аристократической родословной и медицинским образованием, — пишет Ильда, — мог стать удачником и баловнем судьбы среди семейств элиты своей страны: он был для этого достаточно одарен и интеллигентен. Он мог бы преуспеть в буржуазном стиле: деньги плюс связи. Но он отверг все эти возможности, с тем чтобы внести непосредственный вклад в улучшение нашей жизни».

Самый непосредственный вклад в улучшение жизни, полностью соответствовавший его знаниям и бессребренническому складу души, Эрнесто мог внести в лепрозории близ Каракаса, где его терпеливо ждал верный друг Альберто Гранадос. И Эрнесто объявил родителям о своем намерении покинуть Аргентину. Думается, ни дон Эрне-

сто, ни донья Селия даже не пытались его отговаривать: независимый нрав его и гремучий характер были им отлично известны, что же касается слабости здоровья, то Эрнесто уже доказал, что он выносливее многих.

В духе «житийной» литературы у нас описывают прощание Эрнесто с Чинчиной: «Он предлагал ей покинуть отчий кров, забыть о своем богатстве и уехать с ним за границу, в Венесуэлу... Чинчина, обыкновенная девушка, любила его обыкновенной любовью. Она готова была стать женой Эрнесто, но при условии, что он останется с ней, вернее — при ней. Его донкихотский проект переселиться в венесуэльские дебри и посвятить себя лечению прокаженных казался ей трогательным, благородным, но совершенно нереальным». Молодежная тема наших 50-х годов, только на место целины поставлены джунгли Венесуэлы... При этом Эрнесто вовсе не уверен был, что поедет в Каракас. Ему хотелось побродить по свету, посетить Европу, Соединенные Штаты, Советский Союз, Индию, Китай, Японию, Африку — и вернуться в Аргентину через десять лет. Почему через десять? А в молодости всем нам кажется, что десять лет — это огромный срок, по истечении которого все окончательно определится.

*Европа зовет меня голосом выдержанного вина,
Дыханием белокожей музейной плоти...*

Но разве мог он позволить себе такое расточительство, такой расход времени? В его положении нельзя было отвлекаться на частности, разменивать время на созерцание — пусть даже вечных красот. Необходимо было выходить сразу на главный фарватер.

И, к удивлению всех, кто знал о его венесуэльских планах, Эрнесто сел в вагон поезда «Буэнос-Айрес — Ла-Пас» и отправился в долгий 6000-километровый путь на север-запад, в Боливию. Поезд, выбранный им, был не из самых скорых: такие поезда в Аргентине называют «молочными конвоями», поскольку они останавливаются на каждом полустанке и забирают бидоны с молоком. У Эрнесто было время обдумать, куда и зачем он едет...

Совсем недавно, в апреле 1952 года, в Боливии произошла национально-демократическая революция. Собственно, всякий новый режим, добывший власть силой оружия, объявлял свой переворот революцией, и эта, 179-я по счету в боливийской истории, была бы событием ordinary, если бы новый президент, Виктор Пас Эстенсоро,

не принялся за перестройку всерьез. Он начал с земельной реформы и с национализации оловянных рудников.

Никто в этой стране Эрнесто Гевару не ждал, никто в его услугах там не нуждался, и никакие партийные пристрастия его туда не вели, хотелось просто примерить себя к событию, которое, как многие считали, может изменить ход истории всего континента. А почему бы и нет? Разве не в той же Боливии в мае 1809 года произошло вооруженное выступление, положившее начало Войне за независимость? Боливия — ядро континента, в Боливии, в эпоху славы предков Эрнесто Гевары, сошлись два потока революции: северный — из Венесуэлы, южный — с берегов Ла-Платы. А вдруг и сейчас там вздымается великая историческая волна, которая захлестнет весь континент? В конце концов, дело Боливары осталось незавершенным, провинциалы растащили континентальный костер по своим уголкам, и если у истории есть какая-то логика, то, может быть, теперь, после полуторавекового затишья, настала пора продолжать?.. Хорошо тогда будет Эрнесто Гевара, родившийся в великое время и заперший себя в глухом лепрозории...

Рассказывают, что на вокзале, обнимаясь с друзьями, он произнес непонятную фразу:

«С вами прощается солдат Америки».

Да, он ехал служить Америке. А еще он должен был увидеть революцию — и в одиночку, без каких бы то ни было партийных подсказок разобраться, то это или не то. А еще он двигался наугад в ожидании счастливой встречи со своей судьбой. А еще его манили руины древних империй... А еще он ехал к своему славному, доброму Петисо — все более отдаляясь от него. Надо думать, эта внутренняя разногласица очень тяготила Эрнесто Гевару: ему довольно было борьбы со своей брэнной плотью, он не переносил разлада в своей душе.

*Я — метис, но в особом смысле:
Во мне схватились две силы,
Оспаривающие мой интеллект
И придающие самой моей сути
Странный привкус незрелого плода,
Обросшего скорлупой раньше срока...*

В Ла-Пасе, городе, вывернутом наизнанку, где богачи живут внизу, в духоте и смоге, а бедняки — наверху и дышат чистым воздухом ледников, Эрнесто чувствовал

себя прекрасно, и высотная болезнь «сороче» его миновала. Но революция не произвела на него впечатления. Возможно, он рассчитывал увидеть марширующие отряды шахтерской милиции, массовые манифестации крестьян, воодушевленных великими целями, о которых так умно и энергично говорил президент Виктор Пас Эстенсоро. Но кругом царила все та же нищета и апатия, чиновники проявили все то же пренебрежение к простонародью, меры по национализации рудников (с солидной компенсацией бывшим владельцам) не принесли немедленной и ощутимой выгоды.

Эрнесто недоумевал, почему правительство не обращается за помощью к Советскому Союзу: по его мнению, СССР мог бы закупить у Боливии руду, построить обогатительный комбинат, чтобы Боливия могла производить олово в слитках, и вообще помочь Боливии поправить финансовые дела. О том, что Советский Союз, совсем недавно переживший опустошительную войну, сам нуждался в помощи, он, видимо, не задумывался. Ему известно было, что наша страна, сокрушившая фашистскую Германию, понесла огромные материальные и людские потери, но о подлинных масштабах этих потерь (да и то в приглашенном варианте) он узнал от советских руководителей лишь во время посещения нашей страны в 1960 году. Считалось само собой разумеющимся, что великий наш народ очень много страдал, но теперь уже все позади и Советская страна, залечив раны, занята счастливым созидательным трудом. Прогрессивные наши друзья, побывавшие после войны в СССР и увидевшие то, что им предлагалось увидеть, возвращались домой в убеждении, что гостили в самой процветающей стране планеты, и своими искренними рассказами оказывали нам, если разобраться, плохую услугу. Вот что писал во «Всеобщей песни» Пабло Неруда «о земле, чье имя — Радость»: «В ушко иглы пролезть верблюду легче, чем в это царство правды — богатеям. Они умыли старые деревни. Распределили землю. Из праха подняли раба. Вычеркнули нищего. Включили свет во мраке долгой ночи...» Нельзя винить поэта в том, что эта поэтическая картина, мягко говоря, неправдива. Не он один видел в сталинском режиме блистательный исторический эксперимент. Да, в сущности, так оно и было, если подобрать более подходящий эпитет.

На основе представлений о Советском Союзе как о благоденствующей «родине счастья» возникали и завышен-

ные претензии к нашей стране. Верил ли Эрнесто Гевара, что СССР есть мать людей свободных и что ветер с Урала, воспетый Набю Нерудой, принесет радость Латинской Америке? Надо думать, он не принимал эти декларации всерьез: «Однако то, что существование Советского Союза есть фактор мировой политики, из которого нужно извлечь максимальную пользу, представлялось ему несомненным. Любопытно, что разговоры о возможной советской помощи Боливии Эрнесто вел в 1953 году — всего лишь через несколько месяцев после смерти Сталина. Нам кажется, что весь мир только и толковал об этом событии, однако Эрнесто Гевару оно занимало не больше, чем кончина любого другого должностного лица. Его внутреннее историческое время имело иную хронологическую разметку, там значились даты, не говорящие нашей памяти ничего. .

В Боливии Эрнесто виделся с шахтерским вождем Хуаном Лечином, встречался, как принято писать, с другими руководителями страны. Конечно, это не были встречи равных партнеров: в те дни Боливию навещало множество гостей из-за рубежа, в особенности молодых латиноамериканцев, желавших «посмотреть революцию», как будто это был народный карнавал. Такие визитеры, домогавшиеся встреч с высшими руководителями, очень им докучали, в частности потому, что перед ними приходилось демонстрировать революционный пыл, а каждодневные заботы к этому не располагали. Многие предлагали революции свои услуги: не исключено, что среди них был и Эрнесто Гевара, однако знания его и опыт были достаточно специфичны и не требовались Боливии именно сегодня, сейчас. Мы говорим «не исключено», потому что именно таким образом Эрнесто Гевара действовал позднее в Гватемале — и натолкнулся на стену равнодушия. Здесь, в Ла-Пасе, он пришел к убеждению, что революционный пафос большинства деятелей нового режима является наигранным, что в глубине души они не верят ни в конечное торжество революции, ни в ее континентальное значение, а многие просто погрязли в коррупции, бессовестно пользуясь общей неразберихой...

В Боливии Эрнесто познакомился со своим будущим биографом Рикардо Рохо. Аргентинец по национальности, адвокат по профессии, антиперонист по убеждениям, Рохо только что совершил сенсационный побег из пероновской тюрьмы, был фигурой, чрезвычайно популярной в кругах аргентинской эмиграции, и, должно быть,

полагал, что сам достоин персонального биографа. Во всяком случае, многие страницы его книги «Мой друг Че Гевара» дышат искренним недоумением: как могло получиться, что Эрнесто Гевара, которого он знал с молодых ногтей и ставил, по достоинству, невысоко, сделался личностью исторического масштаба? Недоумение это терзает многих и многих авторов, пишущих о замечательных людях, но в большинстве случаев мемуаристы умеют это тягостное чувство скрывать.

«В тот период, — пишет Рикардо Рохо, имея в виду 1953 год, — Гевара вообще не выражал каких-либо определенных политических настроений. Если говорить точнее, Гевара тогда наощупь искал ответ на вопрос, что делать со своей жизнью, не будучи при этом полностью уверен в том, что он знает, чего он от жизни не хочет. Мы были в чем-то схожи, оба выпускники университета без средств и не баловни фортуны, однако меня не интересовала археология, а его — политика (в том смысле, в каком она имела значение для меня и какой приобрела впоследствии для самого Гевары)».

Числится за Гордо (Толстяком, так иногда поддразнивал его Эрнесто) и другой грешок, тоже очень характерный для мемуаристов: те периоды, когда Гевара исчезал из поля его зрения, Рохо описывает скороговоркой как малозначащие либо окружает домыслами и отвлеченными рассуждениями, и создается картина, что Че просыпался лишь при появлении Толстяка. Однако в воспоминаниях самолюбивых друзей есть и свои достоинства. Свободный от восторгов и не связанный обязательством показывать неуклонный путь человека к «единственно правильному выводу», Рикардо Рохо в своих воспоминаниях приводит немало любопытных подробностей их общего эмигрантского быта.

«Как-то раз в доме у одних лапасеких знакомых обедали до самого вечера. Это, по выражению Гевары, было обжорство впрок. Он вообще мог спокойно обходиться без еды трое суток, чтобы потом сидеть за накрытым столом десять часов подряд. Вспоминаю, что эта манера питаться меня всегда впечатляла. Он съедал диким образом невероятное количество пищи, а затем наступал период аскетизма — единственно по причине безденежья и отсутствия приглашения на обед».

И ни слова о политике, это в Боливии, где, по остроумному замечанию другого ревнивого биографа Че Гевары, Дэниэля Джеймса, политика — спорт молодежи и

стариков. Такое равнодушие к политике представляется невероятным — но только на первый взгляд. Если под политикой понимать партийный ангажемент (а в случае Рикардо Рохо, по-видимому, так и было), то такая политика Эрнесто Гевару действительно не интересовала. Он не был ни перонистом, ни антиперонистом, ни коммунистом, ни националистом: обреченный на пожизненную борьбу один на один со своим недугом, осужденный на поиск какого-то оправдания этой борьбе, оправдания своего бытия, Эрнесто был человеком глубоко, органически беспартийным, да и не нашлось бы на свете такой партии, которая могла бы разделить его видение и понимание мира. Кроме того, Рохо познакомился с ним в такой момент, когда Эрнесто был глубоко разочарован революцией, увязшей в трясине мелкого администрирования («Водоем истории подернулся ряской», — писал о подобном безвременье Пабло Неруда), и увлечен был планами возвращения к вечным камням Мачу-Пикчу: молчаливые и надежные, они не должны обмануть.

В Перу в то время правил мрачный диктатор Одриа, изгнавший и упрятавший за решетку многих достойных людей своей страны. Приезжих из революционной Боливии здесь могли ожидать неприятности. Но это не остановило Эрнесто Гевару. Сдав на таможне всю поклажу в новую боливийскую литературу, Эрнесто распрощался со своей первой революцией и на попутном грузовике добрался до Мачу-Пикчу.

*Я вернулся в пределы
Испанских Америк,
Чтоб впитать в себя прошлое,
Обволакивающее континент...*

Специальных знаний для археологического поиска у него, разумеется, не было, и он начал с библиотек. Книги и документы рассказали ему, что картина «переполненных маслом безлюдий Мачу-Пикчу» вовсе не была поэтическим преувеличением: в древности эти земли кормили больше людей, чем сейчас. Каналы, дороги, дамбы с посаженными на них фруктовыми деревьями, поля картофеля, кукурузы, тыквы, бобов, дававшие четыре урожая в год, — вот что такое были в древности края Мачу-Пикчу...

В Перу Эрнесто написал научно-популярную статью о «черном городе граненого камня»: иллюстрированная

фотографиями, из которых три принадлежали самому Геваре, а остальные — проезжему фотографу-профессионалу, эта статья была напечатана в одном панамском журнале...

Любое возвращение на место прежних радостей ведет, говорят, к разочарованиям, поскольку ничто не может быть повторено. Чем-то не понравился себе Эрнесто в новом своем качестве... может быть, его смутил собственный дилетантизм, «странный привкус незрелого плода»... Как бы то ни было, больше он статей по археологии не писал. А вскоре и вообще покинул Перу — и с неясными намерениями, полный сомнений, оказался в эквадорском городе Гуаякиле.

Был октябрь месяц, да, 9 октября 1953 года, три месяца прошли в бесцельных скитаниях, самое время было вспомнить про Альберто Гранадоса: верные друзья хороши уже тем, что для нас они всегда на месте. И вот тут Рикардо Рохо, который, как Мефистофель, всегда появлялся в критический момент, и спросил Гевару:

«Боже мой, зачем тебе в Венесуэлу? Ты намерен заколачивать доллары?»

Эрнесто объяснил, что у него давняя договоренность с другом, слово чести, так сказать...

«Нет, старик, — возразил ему Рикардо Рохо, — наше дело — в Гватемале, там важная революция, надо ее посмотреть».

«Ладно, — согласился Эрнесто, — но при одном условии: поедем вместе».

Однако ехать вместе было никак невозможно: Рикардо, видный политэмигрант, имел какие-то срочные дела в Гуаякиле, а безработного медика здесь ничто не держало. Договорились встретиться в Панаме...

Рикардо несколько преувеличил свою роль в принятии этого решения. Конечно, у Толстяка были рекомендательные письма к влиятельным гватемальцам (в том числе к бывшему президенту Аревало), и Эрнесто, не желая повторить боливийской ошибки (в Ла-Пас он самонадеянно отправился, не заручившись рекомендациями), был склонен этой поддержкой воспользоваться. Однако свой гватемальский выбор он сделал без Рикардо Рохо и вообще без какого бы то ни было воздействия извне.

«Распоряжаться, строго говоря, — пишет Монтень, — мы можем лишь своей волей, она-то и является един-

ственной основой и мерилом человеческого долга». Из этого с очевидностью следует, что мы никому и ничего не должны — до той поры, покамест сами не почувствуем себя должниками.

Что же повернуло молодого аргентинского бродягу лицом к небольшой влажно-зеленой банановой республике? Что заставило Эрнесто Гевару почувствовать себя ее должником?

Гватемальская Октябрьская революция 1944 года не имела такого резонанса в Латинской Америке, как позже боливийская, и это понятно: иным, более грозным был исторический фон, свержение еще одного мини-диктатора на фоне мирового побоища прошло почти незамеченным. Примечательно было лишь то, что вождь Октябрьской революции полковник Арбенс не пошел по проторенному пути избавителей и не стал принимать на себя «личную ответственность за судьбу отечества»: он передал власть законно избранному президенту Аревало. Через шесть лет Арбенс сам одержал победу на очередных президентских выборах и приступил к проведению обдуманных реформ. В июне 1952 года Арбенс провел через гватемальский конгресс декрет, согласно которому конфискации подлежали пустующие земли местных латифундистов и иностранных компаний, в том числе и американской «Юнайтед фрут», с компенсацией «бонами аграрной реформы». Говорили, что «Мамита юнай» владеет чуть ли не половиной Гватемалы. Это было преувеличением: гватемальские территории «Юнайтед фрут» составляли чуть больше шести процентов обрабатываемых земель, не так уж и много. Однако в правлении этой компании числились братья Даллесы и Кэбот Лоджи, игравшие не последнюю роль в определении политики США. Их естественное недовольство собственников подогревалось информацией, которая поступала из Гватемалы от посла США Перифуа: «Полковник думает и говорит как коммунист. Можно ли допустить возникновение еще одной советской республики между Техасом и Панамским каналом?» Посол Перифуа считался специалистом по конфронтации и много потрудился для того, чтобы бинарный образ мышления («Или мы — или они!») стал в этом мире господствующим: рассказывали, что в бытность свою послом в Греции Перифуа буквально вырвал эту страну из пасти коммунизма. Справедливости ради надо сказать, что к мнению коммунистов из Гватемальской партии труда полковник Арбенс при-

слушивался. В итоге на стол президента Эйзенхауэра был положен пристрастно составленный доклад, и Эйзенхауэр, сам мысливший тогда в мессианском ключе, расценил эту информацию как сигнал об опасности, угрожающей свободному миру.

Вот такой узел завязался вокруг Гватемалы как раз в те дни, когда Эрнесто Гевара решал вопрос, как дальше распорядиться своей судьбой. «Решение отправиться в Гватемалу,— считает Энрике Сальгадо,— было таким же неожиданным, как и поступление на медицинский факультет, как и рождение Эрнесто Гевары. Человек, чуждый политическому беспокойству, человек, для которого само слово «революция» было не слишком интересно, внезапно всем этим увлекся... Астматики вообще очень восприимчивы — как нравственно, так и интеллектуально. Они имеют тенденцию примыкать, присоединяться к людям и идеям, которые в глубине своей, скажем, на подсознательном уровне, символизируют что-то вроде материнской фигуры, от влияния которой они не могут освободиться никогда».

Любое широкое понятие (Свобода, Родина, Справедливость) можно представить в виде женской (если угодно, материнской) фигуры, имея в виду жизнеутверждающее, охранительное начало. Революция для Гевары имела иной, наступательный смысл. Мир нуждается в совершенствовании, это несомненно. Сама по себе история есть процесс непрерывного совершенствования. Однако этот процесс идет с бесчеловечной медлительностью: с точки зрения самотекущей истории жизнь отдельного человека, жизнь поколения, существование народа, а то и целой цивилизации — ничто. Ускорить развитие, подхлестнуть ломовую лошадь истории кнутом революционной ненависти — значит сделать соизмеримыми исторический процесс и отдельную человеческую жизнь... Вот почему Эрнесто Гевара с таким упорством плыл навстречу революции: он чужд был политическому беспокойству, это верно, но — жаждал быстрины, он задыхался в вялом течении событий, боливийская революция его не устроила именно потому, что она бедна была ненавистью и никак не укладывалась в обусловленные жизнью пределы. Там, в Гватемале, похоже, начинало бурлить, оттуда тянуло озоном конфликта, и Эрнесто плыл туда, заранее начиная любить эту новую землю, эту новую революцию. «Их называют коммунистами — что ж, буду и я коммунист».

*От молодой нации травянистых корней
(Корней, отвергающих ярость Америки)
Плыву я к вам, мои северные братья,
Усталый от криков отчаяния и веры...
Путь долог был, братья, тяжек был груз,
Мое тайное «Я» потерпело крушенье.
И все же, не веря в спасительный слух,
Плыву я к вам, братья, против прибоя...*

*Я тот же, я брошенный в море пловец,
Но в трубных звуках нового края
Я слышу ту песнь, которую начал Маркс,
Которую продолжил Ленин
и подхватили народы.*

Коммунистические убеждения Эрнесто Гевары (в отличие от убеждений Неруды) не были выстраданы им, он пришел к этим убеждениям умозрительным путем, следуя той же логике бинарных оппозиций, которая объявляла коммунистом полковника Хакобо Арбенса. В ответ Гевара объявил коммунистом себя — и, будучи человеком упрямым и цельным, однодумом, не терпящим разлада с собой, принял как данное, что и в самом деле является коммунистом.

«Есть истины настолько очевидные, настолько укоренившиеся в сознании народов, что их даже трудно оспаривать» — вот так он воспринимал коммунизм.

Упоминавшийся выше Дэниэль Джеймс, старательный биограф Че Гевары (и, как утверждают некоторые, агент ЦРУ), задается вопросом: «Почему он оказался неспособным смотреть на вещи шире, не сквозь призму парализующей латиноамериканские страны монокультуры? Почему его ум в столь раннем возрасте исключил иные решения и иные ответы на вечные вопросы человечества?» Однако если смотреть на вещи шире, придется признать, что так называемая «монокультура», о которой идет речь, — это обратная сторона другой — и тоже парализующей — монокультуры.

Из Панамы Эрнесто и послал наконец короткую записку своему другу Альберто Гранадосу: «Петисо! Еду в Гватемалу, потом тебе напишу».

Чтобы купить билет на самолет до Сан-Хосе, ему пришлось заложить все свои медицинские книги, которые он до сих пор возил с собой. Это было окончательное сожжение мостов: пути назад уже не было.

Вот что Эрнесто говорил в 1960 году, уже в качестве одного из вождей кубинской революции, выступая перед врачами в Гаване:

«Я понял главное: для того чтобы стать революционным врачом, прежде всего нужна революция. Ничего не стоят изолированные, индивидуальные усилия, чистота идеалов, стремление пожертвовать жизнью во имя самого благородного из идеалов, борьба в одиночку в каком-либо захолустье Америки против враждебных правительств и социальных условий, препятствующих продвижению вперед».

Это была последняя попытка оправдаться перед собою — и свидетельство того, что гватемальское решение стоило ему нравственных мук.

Из Сан-Хосе, столицы Коста-Рики, рейсовым автобусом Эрнесто Гевара прибыл в Сан-Сальвадор, а оттуда на попутных машинах стал добираться до Гватемаласити. Здесь, на обочине шоссе, под проливным дождем, его и подобрал Рикардо Рохо. Эрнесто шел пешком, прихрамывая (он попал в дорожно-транспортное происшествие), его сопровождал соотечественник, такой же незадачливый странник Гуало Гарсиа. А Гордо ехал к революции на легковой машине своего приятеля. По его словам, эта радостная встреча произошла где-то в январе 1954 года. Однако Ильда утверждает, что Эрнесто появился в Гватемаласити 20 декабря 1953 года. У нас больше оснований доверять Ильде: Рикардо Рохо вообще довольно небрежно обращается с датами, а для Ильды встреча с Эрнесто, возможно, была одним из главных событий в жизни.

Ильда Гадеа, перуанка по национальности, находилась в Гватемале на правах политической изгнанницы. Она была членом руководства перуанской партии АПРА (Альянса популар революсьонариа американа), представляла в этой партии студенческую молодежь и после прихода к власти Мануэля Одриа вынуждена была в числе других прогрессистов покинуть родину. Согласно латиноамериканским традициям демократические правительства не только предоставляют убежище политэмигрантам из других стран континента, спасающимся от диктатур, но и выплачивают им пособие и по возможности стараются предоставить работу. Ильда, окончившая экономический факультет, работала в недавно созданном Институте развития производства и получала приличную зарплату, позволявшую ей ежемесячно переводить

определенную сумму родителям в Перу и снимать квартиру в самом центре Гватемала-сити, неподалеку от президентского дворца. В эту квартиру в пансионе вдовы Торизельо и явились однажды вечером два бродячих аргентинца, Эрнесто Гевара и Гуало Гарсиа.

Рекомендательные письма Рикардо Рохо и его связи оказались полезными лишь для него: в отличие от Гэрдо, Эрнесто Гевара не был политическим изгнанником, жертвой перонистского режима и на поддержку гватемальских властей претендовать не мог. Рикардо удобно расположился в пансионе на 5-й авениде, где его знали с прошлого приезда, и великодушно предложил попутчикам провести под его кровом денек-другой. Вообще этот человек имел малоприятную манеру при каждом удобном случае подчеркивать свою значимость, и Эрнесто от его покровительства отказался: ведь они ехали сюда на равных. К счастью, знакомые в Перу просили его передать кое-какие письма Ильде Гадеа и дали понять, что эта симпатичная женщина помогает устраиваться всем новоприбывшим.

Ильда Гадеа, по игривой характеристике Энрике Сальгадо (почему-то называвшего ее медсестрой), была «молодая женщина с экзотическими чертами и индиискитайской кровью — в пропорциях, которые трудно подсчитать». Сама она, правда, утверждала, что узковатые глаза у нее — исключительно от индийской бабушки, но, глядя на ее фотографии, в это трудно поверить. Во всяком случае, Эрнесто, когда они стали близки, шутя называл ее китайкой — и возражений с ее стороны не встречал.

Ильда без особого энтузиазма согласилась позаботиться о новичках: она недолюбливала аргентинцев, разделяя распространенное в Латинской Америке мнение, что они слишком уж гордятся высокоразвитостью своей страны и вообще склонны переоценивать свои возможности. Эрнесто показался ей очень надменным: хрупкий телосложением, этот молодой человек как-то странно выпячивал грудь и говорил отрывисто, с повелительными интонациями, совершенно не соответствовавшими его положению просителя. Позже она узнала, что Эрнесто не любит никого ни о чем просить и, кроме того, как раз в день приезда у него начался приступ астмы и он держался из последних сил.

«Тебя преследовали в Перу?» — спросил он Ильдуну как каким-то обидным сомнением.

«Конечно,» — ответила она. — Если я была пресс-секретарем АПРА, как меня могли не преследовать? А ты почему здесь? Тебя выгнал Перон?»

Ильда относилась к Перону с симпатией: она считала, что идеи перонизма и апризма близки, поскольку направлены против олигархии, и потому не слишком доверяла тем, кто спасается от Перона.

«Нет, меня никто не гонит, — ответил Эрнесто. — Я сам бегу — в ту сторону, куда стреляю».

Ответ показался Ильде забавным, но — несерьезным, слишком поверхностным для интеллигента, за которого он себя выдавал. Что касается обращения на «ты», то оно, вероятно, было принято в среде эмигрантов, считавших себя в определенном смысле товарищами — если не по борьбе, то, во всяком случае, по несчастью. Ильда дала аргентинцам адрес дешевых мебелирашек, где их готовы принять хоть сегодня, и обещала какое-то время оплачивать их жилье («Это, — пишет она, — была моя обычная услуга всем прибывшим с рекомендациями на мое имя»), что же касается работы — тут она ничем не могла помочь.

«Да, но я — дипломированный врач, — с вызовом сказал Эрнесто. — Что, в Гватемале перепроизводство врачей? Или здесь после революции никто не болеет?»

На этот вопрос Ильда ничего не ответила.

Вряд ли Эрнесто надеялся, что революция с распростертыми объятиями примет любого, кто заявит, что он поддерживает ее и симпатизирует ее целям: за плечами у него был обескураживающий боливийский опыт. Но прием, оказанный ему в гватемальских коридорах власти, был просто оскорбителен. После долгого хождения по кабинетам равнодушно-уклончивых чиновников, каждый из которых старался поскорее избавиться от надоедливой чужаки, Эрнесто добился аудиенции у министра здравоохранения, и на этом уровне ему было прямо сказано, что аргентинский диплом здесь не может быть признан и что для подтверждения врачебной квалификации он должен пройти годичную переподготовку.

Возмущенный до глубины души, Эрнесто рассказал об этом Ильде, та обратилась в молодежную организацию Гватемальской партии труда, и дело как будто сдвинулось с мертвой точки: Гевару пригласили в департамент статистики, забрали у него удостоверение личности и обещали дать ответ через несколько дней. Ответ оказался двусмысленным: на работу по линии ГПТ может

быть рекомендован только член партии. Ильда сообщила об этом Эрнесто Геваре по телефону.

«Значит, они хотят, чтобы я вступил в их партию?» — помолчав, спросил Эрнесто.

Ильда признала, что, как ни странно, но условие именно таково.

«Ну передай им тогда,— быстро проговорил Эрнесто,— что если я вступлю когда-нибудь в компартию, то только по доброй воле. Не надо меня вербовать».

То, что Эрнесто не мог найти работу, не было случайностью: он оказался в эмигрантской среде, а политическая эмиграция — это удел образованных. Среди изгнанников, съехавшихся в те дни в Гватемалу, было много квалифицированных специалистов, в том числе и врачей, причем врачей с именем, связями и опытом: вчерашний студент не мог, разумеется, соперничать с ними.

Впрочем, Эрнесто, хоть и рассерженный, не падал духом. Случайная работа была ему не внове и не ущемляла его достоинства. Он сделался торговцем-разносчиком: вначале продавал в столице книги, а потом, освоившись, стал ездить по сельской глубинке, предлагая крестьянам дешевые товары первой необходимости и заодно приглядываясь, как идет перераспределение земли. Заработка едва хватало на жизнь, но просить помощи Эрнесто не хотел — ни у Рикардо Рохо, ни в аргентинском посольстве, двери которого, кстати, были для него открыты: ведь, с точки зрения перонистского правительства, он ничем себя не запятнал.

Рохо встречался с Геварой нечасто, хоть на страницах своей книги и пытается создать впечатление, что знал буквально каждый его шаг. К бедственному положению своего соотечественника, вновь отвергнутого революцией, он относился философски: с его точки зрения, Гевара много и не заслуживал. Это с подачи Толстяка Энрике Сальгадо пишет: «Эрнесто не создан был для труда. Нежелание и непривычка работать над ним довели. Это отражалось даже на его внешнем виде. Он ходил в рваных башмаках, почти все время в одной и той же рубашке, один край заправлен в штаны, другой — наружу...»

Не удивительно, что Эрнесто избегал обращаться к Рикардо за помощью. Был такой случай, когда, дойдя до крайности, он явился в пансион вдовы Ториэльо и попросил у Ильды пятьдесят долларов: нечем было распла-

титься за жильё. Ильда только что отправила денежный перевод в Лиму и, не желая огорчать отказом человека, который так мучительно и неумело просит, отдала ему золотую цепочку и кольцо:

«Я совсем их не ношу, можно заложить».

Надо полагать, этот жест тронул Эрнесто, и между молодыми людьми, как иногда говорят, проскочила искра...

Как-то раз (это было в конце февраля 1954 года) Эрнесто позвонил Ильде на работу и сказал, что их сегодняшняя встреча не может состояться: он неважно себя чувствует. Странный хрип в его голосе, ставшем почти неузнаваемым, поразил Ильду. Нечего и говорить, что она прибежала к нему в мебелирашки — и застала Эрнесто внизу, в холле, у телефона, в полном одиночестве. Задыхаясь, он с трудом объяснил ей, что не может подняться по лестнице, а шприц — наверху, в его комнате, на тумбочке.

Так Ильда впервые увидела, как он делает себе инъекцию, как потом сидит с закрытыми глазами, обессиленно уронив руки на колени, и прислушивается к себе, как затем начинает яснеть его лицо. Это было похоже на действие наркотика, но — обратное действие, с возвращением в жизнь...

В скором времени Ильда перестала бояться этих приступов, научилась успокаивать своего друга (иногда это помогало лучше всяких лекарств) и усвоила нехитрую науку ухода за больным. Вот почему Энрике Сальгадо, оговариваясь, называет Ильду медсестрой: да, она стала для Эрнесто сиделкой, сестрой, подругой, женой и матерью одновременно. «У астматика, — пишет испанец, — зависимость от матери бóльшая, чем у остальных людей... По мере развития жизни эта зависимость заменяется другой, зависимостью от лица, выполняющего миссию матери». Самоочевидность этого триюизма обманчива и не выдерживает прямого сопоставления с жизнью. Зависимость Эрнесто от доньи Селии была весьма и весьма условной, что же касается Ильды — то в конечном счете зависимой оказалась она сама.

4

Между тем конфликт полковника Арбенса с Соединенными Штатами развивался, подходя к той черте, за которой компромиссные решения уже невозможны.

В марте 1954 года на Десятой межамериканской конференции в Каракасе Джон Фостер Даллес настоял на включении в повестку дня вопроса «Вмешательство международного коммунизма в дела американских республик». В резолюции по этому вопросу Гватемала прямо не упоминается, а Советский Союз фигурирует под именем «одна иностранная деспотия». Министр иностранных дел Гватемалы попросил уточнить, что именно подразумевается под «международным коммунистическим движением», и Даллес язвительно заметил: «Весьма прискорбно, что внешние сношения одной из наших республик находятся в руках столь наивного человека, который задает подобные вопросы».

Верил ли сам Даллес, что Гватемала стала игрушкой внеконтинентальных сил и ударным отрядом коммунизма в Америке? По-видимому, нет: ожесточение вокруг реформ полковника Арбенса являлось плодом мировоззренческого упрощения, характерного для тех времен.

Собравшаяся в Гватемале эмигрантская молодежь оживленно обсуждала перипетии этой политической драмы. Некоторые подумывали о том, чтобы заблаговременно покинуть страну. В числе таких оказался и спутник Гевары — Гуало Гарсиа, который устал скитаться и намерен был вернуться в Аргентину, жениться и начать оседлую жизнь. От этого парня Геваре в наследство достался серый костюм строгого делового покроя. Ильда запомнила этот костюм на всю жизнь: она уже привыкла к тому, что Эрнесто носит свободную и небрежную спортивную одежду, и находила, что в этом проявляется его протест против внешней формы и материальной собственности (не подозревая, что протест против формы — тоже форма, в данном случае прикрывающая, подобно доспехам Дон-Кихота, физическую немощь ее друга). В костюме Эрнесто, тогда еще безбородый и безусый, казался намного моложе своих двадцати шести лет: хрупкий юноша с бледным лицом и тревожно расширенными черными глазами...

Сказать, что молодые люди были в то время поглощены исключительно политическими тревогами, означало бы погрешить против истины. Это в нашей литературе принято писать, что сразу же по прибытии в Гватемалу Эрнесто Гевара с головой ушел в политическую жизнь и стал активно сотрудничать с революционными силами. Революционные силы Гватемалы не подозревали о существовании такого горячего приверженца и в помощи его

не нуждались, да и сам Эрнесто, приблизившись, насколько возможно, к широкому полотну революции, находил в нем все больше и больше дефектов: некомпетентность кадров, плохо понимающих, чего от них ждут, бюрократические эксцессы, вольность в обращении с государственными деньгами, склонность политических лидеров к деловым операциям, приносящим личную выгоду... Да полно, друзья мои, революция ли это? Мешанина пестрых событий, к которым он, Эрнесто Гевара, имеет не большие отношения, чем муха, бьющаяся об оконное стекло.

Между тем шла его молодость, шла обычная живая и не лишенная радостей жизнь. Тучи, сгущавшиеся над страной пребывания, заставляли его время от времени поглядывать на небо, но не мешали ему проводить время так, как это свойственно молодым людям. Ильда с восторгом вспоминает загородные пикники, на которых ее Эрнесто раскрывался всякий раз с новой, неожиданной стороны. То он обнаруживал свое умение ездить верхом — и держался в седле более чем элегантно, то демонстрировал кулинарные таланты — артистически готовил мясо по-аргентински (асадо) на открытом огне. Впрочем, асадо — это пиршество, оргия, обыкновенно довольствовались жареными сосисками и тортильями, о спиртном даже не было речи, а вечерами у костров пели песни под аккордеон. Вот тут Эрнесто предпочитал держаться в тени: музыкального слуха у него не было никакого. Танцевать Эрнесто тоже был неспособен и, бывало, упрекал Ильду за то, что она слишком отдается этому фривольному занятию. Как-то раз приревновал ее к одному перуанцу, который с нею заигрывал: «Ты была бы с ним поосторожнее, он — женатый человек, он тебя обманывает».

Но и у самого Эрнесто была мимолетная связь с медсестрой из Центрального госпиталя, стоившая Ильде немало страданий: «Ну, иди, иди к своей медсестре!»

Эрнесто смеялся...

Находили на него порою приступы необъяснимого упрямства, такие же внезапные, как и его астматический кашель. Ездили однажды за город, большой компанией, весело провели время, и вдруг, ближе к вечеру, когда стали собираться домой, Эрнесто заявил:

«Возвращайтесь без меня, я останусь здесь ночевать и приеду в понедельник».

Сперва все расценили это как шутку, но оказалось, что Эрнесто не шутит: забрал спальный мешок, термос,

книгу «Древние майя» и скрылся в зарослях. В понедельник позвонил обиженной Ильде и сообщил, что чудесно провел время в одиночестве.

«Бомбилья, бокилья, горячая вода и хорошая книга — больше мне не нужно ничего».

Бомбилья и бокилья — это были принадлежности для заваривания мате, которые он всегда брал в загородные поездки с собой: тыквенная чашечка яйцевидной формы и трубочка для питья. Ильде чай мате не нравился, он был слишком для нее горьким, а Эрнесто каждый день своей жизни начинал и заканчивал с бомбильей и бокильей в руках...

Ильда была ему хорошим другом, она старалась вникнуть в его интересы, разделить его взгляды, но — не растворить себя в нем без остатка, как это часто случается с любящими женщинами: были такие вещи, которые она горячо отстаивала, хотя Эрнесто их и не принимал.

Очень трогательно Ильда перечисляет в своих воспоминаниях круг их совместного чтения: Толстой, Горький, Достоевский, Сартр, «Капитал», «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи...», «Коммунистический манифест»... Что-то есть московское, студенческое в этом списке, если не обращать внимания на непривычное для нас место Сартра.

С «Капиталом» Ильда познакомилась на экономическом факультете и имела о нем куда более ясное представление, чем Эрнесто. Но зато он лучше знал Сартра: «Век разума», «Уважаемая проститутка», «Стена», «Грязные руки» — обо всех этих вещах он судил уверенно и очень эмоционально. Ильда склонна была думать, что Сартр поднимает проблемы, специфичные для развитых стран Европы, в определенном смысле применимые и к Аргентине, но ни в коем случае не к Перу, где капитализм представляет собой лишь тонкую корку, под которой — трясина бесправия, неграмотности и нищеты.

Расходились их взгляды и в отношении Фрейда: Эрнесто соглашался с тем, что сексуальные побуждения являются в человеческой жизни основными, Ильда не могла эту трактовку признать.

«Иначе как можно объяснить существование политических борцов — нормальных полноценных человеческих особей, чьи побуждения, конечно же, не могут произрастать из сексуальных проблем?»

На это Эрнесто, смеясь, отвечал, что если она имеет в виду себя, то это не слишком убедительный пример.

«У тебя явный комплекс Жанны д'Арк, сохранившийся с детства: ты мечтаешь принести себя в жертву на алтарь Отечества, вот тебе и сексуальный мотив».

Ильда радовалась всякий раз, когда выяснялось, что их взгляды и точки зрения совпадают. И она, и Эрнесто исходили из убеждения, что необходимо построить новое общество, где человеческие отношения могли бы стать иными, чистыми, высокими, где материальная выгода не была бы единственной побудительной силой. Они восхищались советской революцией, созданием в этой стране нового общества и воспитанием нового человека. Эрнесто Гевару особенно впечатляло то, что сделано в нашей стране в области образования, Ильда превыше всего ценила достижение в СССР равноправия женщин... Сейчас все это кажется наивным до крайности, но в 1954 году мы и сами были убеждены, что являемся новыми людьми, живущими в стерильно-чистом обществе, и с горячностью доказывали это всем остальным. «Есть люди, чтобы петь или сражаться,— это о нас писал Неруда... должно быть мы сумели ему это внушить.— Сталь и улыбка, суровость и сияние на их лицах...» Что могли знать о нас два молодых человека, осевших в центральноамериканской глубинке? Только то, что им предлагалось узнать.

Рикардо Рохо был их общим противником. Он появлялся на их горизонте лишь время от времени, всякий раз заставлял уже нового Эрнесто Гевару, пережившего определенную эволюцию взглядов, но судил его по старым меркам, а Эрнесто, естественно, и не собирался ему ничего объяснять. Поэтому споры их становились все более и более яростными. Одна из таких стычек напугала и огорчила Ильду. Все началось с ординарного в общем-то разговора.

«Как и другие революционеры,— говорила Ильда,— я убеждена, что настоящая проблема — это как взять власть. Это может быть и государственный переворот, как в 1917 году в России, но могут быть и иные решения...»

На это Эрнесто возразил, что в Латинской Америке революция может быть только насильственной, а путь Виктора Пас Эстенсоро и перуанских апристов — это ложный, если не изменнический путь. Вмешавшись, Гордо стал снисходительно разъяснять Геваре, что только победа на демократических выборах отражает волю народа, насильственный же путь — это проявление пренебрежения к массам, неуважения к свободной воле большинства... Такого Эрнесто не мог выдержать: он перебил

Толстяка и стал говорить сам, все более взвигчивая себя и задыхаясь.

«Да никогда в истории, никогда и нигде, понимаешь?.. они не отдавали власть добровольно, без стрельбы!»

Заметив, что дело идет к приступу кашля, Ильда попыталась свести разговор на мировую, но Эрнесто этого не допустил.

«Прекрати! — закричал он на Ильзу. — Немедленно прекрати! Я не хочу, чтобы кто бы то ни было меня одергивал!»

Ильда была ошеломлена открытием, что в ярости он становится неуправляем и что с ним, оказывается, совершенно невозможно спорить: до сих пор Эрнесто обращался с нею деликатно и бережно... Вспыхнув, Ильда заявила, что не привыкла, чтоб на нее кричали, и вышла на улицу. Опомившись, Эрнесто поспешил за нею следом.

«Я не хотел тебя обидеть, — оправдывался он перед Ильдой. — Ты просто попала под горячую руку. Этот толстый парень со своей логикой выводит меня из себя. Вот увидишь, он кончит как агент империализма!»

«Агент империализма» — это было, пожалуй, самое крепкое выражение в его арсенале, хотя он знал множество других, не всегда предназначенных для нежного слуха, и в мужских разговорах охотно пользовался этими, как он говорил, средствами вербальной терапии.

«Вот какой ты, оказывается, подонок! — мог он сказать человеку, в чем-то с ним не согласному. — Ну и сукин же ты сын!»

На спокойную аргументацию у него редко хватало самообладания, особенно если спор был затяжной. Но «агент империализма» — это понятие он трактовал серьезно и широко. Любой сомневающийся, колеблющийся, осторожный в выводах человек был для него потенциальным агентом империализма. С этим убеждением он и явился в Гватемалу: видимо, приняв свое жизненное решение, он сознательно отсекал все остальные варианты. Конфронтационная логика заразительна, и, если бы не ужасная величина ставки, ее можно было бы назвать мальчишеской:

«Ах, вы с нами так? А мы вас вот так».

«Мы и вы»... а есть ведь еще и «они», не желающие быть ни «с нами», ни «против нас», и таких в этом мире — подавляющее, спасительное большинство.

Доходило до курьезов: в университетском бассейне к Ильде, неплохо знавшей английский язык, подсели

молодые североамериканские преподаватели, они стали задавать ей вопросы о положении в Гватемале и записывать ответы.

«Зачем ты разговариваешь с этими гринго? — недовольно спросил ее Эрнесто. — Ты уверена, что они не агенты?»

Ильда объяснила ему, что один из гринго пишет книгу о гватемальской революции, но, похоже, это не убедило ее недоверчивого друга.

Розничная торговля и посещение развалин древних цивилизаций Гватемалы не могли, разумеется, утолить его духовную жажду, и Эрнесто готов был схватиться за любую умственную работу, только бы она заполнила его внутреннее время. Это были лихорадочные метания на обочине жизни. То он предлагал Ильде помочь ему собрать медицинскую статистику по каждой в отдельности латиноамериканской стране, то с головой уходил в загадочную работу, которую Ильда смущенно определяет как «анализ системы каждого правительства на нашем континенте и его отношения к эксплуатации со стороны местной олигархии и империализма янки»... Однажды Ильда познакомила Эрнесто с гражданином США Харальдом Уайтом, мечтавшим, чтобы его книга о марксизме была переведена на испанский язык, и Эрнесто, при всем своем недоверии к североамериканцам, охотно взялся за эту работу.

«Хороший гринго, — говорил он Ильде. — Устал от капитализма и хочет новой жизни».

Скверное знание английского языка не давало Эрнесто Геваре возможности обходиться без помощи Ильды, и они переводили эту книгу вместе. Видимо, работа так и не была завершена... Втроем с Харальдом Уайтом они стали ездить на пикники, вели долгие споры о Ленине, Сталине, о павловских условных рефлексах, о мичуринском учении и преобладающей роли среды, вообще о развитии науки в СССР. Уайт предлагал снять виллу на троих, чтобы Ильда взяла на себя домашнее хозяйство, но перуанку эта перспектива не устраивала: она предпочитала отдавать свое свободное время политической деятельности.

С первых чисел мая начались воздушные налеты. По ночам (а то и среди бела дня) самолеты без опознавательных знаков, в одиночку или парами, появлялись над городом и, покружив, сбрасывали бомбы — вначале только на военные объекты, потом на учреждения в центре города, в районе президентского дворца, а позже, осмелев,

стали бомбить без разбора жилые кварталы с целью посеять панику. Никакого отпора налетчики не встречали, так как своих самолетов у Арбенса не было. В церквях внушали верующим, что придут освободители и начнут казнить революционеров, своих и иностранных, не пощадят и членов их семей. Эмигранты стали спешно покидать Гватемалу, не в числе последних отъезжающих оказался и Рикардо Рохо: он объявил, что намерен перебраться в Мексику, а затем в США, где у него важные дела, которые займут никак не меньше года. Ильде и Эрнесто было некуда уезжать, их никто нигде не ждал, а здесь, в Гватемала-сити, у них, по крайней мере, была работа, и они, как простодушно пишет Ильда, «решили остаться и посмотреть, будет ли Гватемала защищаться».

Если верить Энрике Сальгадо, слухи о готовящемся вторжении не тревожили Эрнесто Гевару. В начале мая министерство образования приняло его на службу и зачислило «внутренним врачом» в педагогический институт. Там врачу полагалось бесплатное жилье, это была редкостная, фантастическая удача. Эрнесто обвыкся на новой работе, которая была не слишком обременительной (студенты в большинстве своем — народ здоровый), и даже выкроил неделю для поездки на север Гватемалы, в район Петена, известный своими памятниками доколумбовых времен.

В нашей литературе возникла героическая версия, согласно которой Эрнесто «вызвался поехать в самый отдаленный район Гватемалы, чтобы работать врачом в индейских общинах». Однако для Эрнесто это был уже пройденный этап: он твердо решил для себя, что индивидуальные усилия самоотверженного врача-одиночки в каком-либо захолустье Америки ничего не стоят. Ему нужна была революция. Правда, гватемальской революции он как боец пока что не был нужен, и, понимая это, Эрнесто готов был ждать, когда сами события его призовут. Так что поездка в Петен накануне вторжения носила рекреационный характер:

«Там вдохну кислорода, хочется чистого воздуха. Осмотрю развалины, увижу дикие места...»

Рикардо Рохо, на которого ссылается Сальгадо, утверждает, что в эту поездку он отправился вместе с Эрнесто, а Ильда лишь согласилась сопровождать мужчин:

«Должен же кто-то пришивать вам пуговицы».

Испанский психоаналитик счел уместным вставить здесь несколько слов от себя: «Эрнесто не мог отвязаться

от женщины, притерпевшейся к его приступам, научившейся ухаживать за ним так, как это делала там, в Аргентине, Селия де ла Серна». Каждый дует в свою дуду...

Согласно одной из версий, именно в девственных джунглях Петена состоялось первое знакомство Эрнесто Гевары с марксизмом. Собираясь в эту поездку, Ильда вместе со своими бедненькими вещами (чулки, свитера, разные женские мелочи) положила в саквояж и пару книг, Маркса и Ленина, их она якобы начала читать по настоянию своих гватемальских друзей, и Эрнесто на досуге стал впервые в жизни перелистывать эти книги... Воистину нет злей врагов, чем самозванные друзья: здесь чувствуется рука Рикардо Рохо, который, кажется, поставил целью доказать, что убеждения Эрнесто Гевары никогда не были серьезны.

Как бы то ни было, с Толстяком или без Толстяка, с марксистской литературой или без нее, но поездка в Петен состоялась. Друзья предостерегали Эрнесто и Илду: вторжение могло застигнуть их в провинции, а это куда опаснее, чем в столице, там каждый чужой человек на виду — и нет посольств, где можно укрыться. На это Эрнесто, посмеиваясь, отвечал:

«Какое вторжение, о чем вы ведете речь? Да ничего не произойдет, можете быть спокойны. Полковника просто пугают, чтобы он прекратил тяжбу с «Юнайтед фрут». Да если бы его захотели свергнуть, достаточно было бы циркуляра из Вашингтона — с уведомлением, что пора освободить помещение».

К этой манере насмехаться над тем, что сам считаешь святым, трудно было привыкнуть, и многих радикалов, кричавших на всех перекрестках о том, что они готовы драться за народный режим (а после падения Арбенса благополучно уехавших за границу), многих радикалов коробили эти кощунственные слова.

Руины майя, утопавшие в буйной зелени, были не столь величественны, как инкские крепости, воздвигнутые среди голых скал, но завораживали странным смешением времен: сегодняшняя жизнь цвела и увядала вокруг, а каменные боги с застывшими гримасами погружены были в свою вселенскую боль, и это рождало смутное ощущение какой-то иной реальности, большей, чем вечность... возможно, даже отрицающей само течение времени. Позднее, в Мексике, Эрнесто пытался передать это ощущение в стихах: довольно, впрочем, беспомощных:

*Что-то живое в этих камнях,
Зеленым зорям сродни...
Быть может, это старинный бог
Вздыхает из глубы веков.
А может быть, это дыханье лесов,
Нежное пение птиц?
Или, может быть, это звук родника,
Бьющего среди камней?*

Налюбовавшись живописными развалинами и бесхитростными праздниками индейской деревни, Эрнесто и его подруга вернулись в столицу. В городе царил предгрозовая тишь. Деловая жизнь замерла, правительственные чиновники заблаговременно подыскивали убежище в посольствах, прислуга в пансионах и гостиницах поглядывала на иностранцев с недобрым любопытством... Городская чернь, приверженная католической вере, с нетерпением ожидала освободителей, а в чужаках, работающих на правительство, усматривала причину всех зол. Самолеты времен второй мировой войны кружили над городом, разбрасывая листовки, призывающие присоединиться к освободительной армии Кастильо Армаса. Генштаб заявил о безоговорочной поддержке правительства, «каковы бы ни были его политическая линия и цели». Короче, прокручивался все тот же многократно испытанный вариант...

17 июня 1954 года началось вторжение: войска Кастильо Армаса в четырех пунктах перешли гондурасскогватемальскую границу. У Кастильо Армаса было семьсот наемников, в правительственной армии числилось три тысячи солдат. Вторжение было декорировано под крестовый поход: мундиры наемников были украшены крестами, впереди в торжественном облачении выступал архиепископ. На неграмотных индейцев-крестьян это производило сильное впечатление. Кухарка в пансионе вдовы Ториэльо, индианка из провинции, заявила, что молится за победу Кастильо Армаса, и это очень удивило Эрнесто, привычно думавшего, что простонародье стеной стоит за народный режим. Обсудив эту странность с Ильдой, он пришел к выводу, что правительству следовало бы более внятно и доходчиво разъяснить свои цели. По мнению Ильды, истинный католик не должен выступать против революционного избавления от эксплуатации, поскольку сам Христос порицал несправедливое распределение благ. Эрнесто вообще не желал



говорить о религии: он считал, что все это бессмыслица, которая только мешает борьбе.

Политэмигранты, оставшиеся в столице несчастной страны, с воодушевлением включились в оборонительную работу. Правда, работа эта сводилась к ночным дежурствам и к контролю за затемнением: с наступлением сумерек патрульные ходили по улицам и следили за тем, как задернуты оконные шторы, останавливали автомобили с незакрашенными фарами. Если кто-нибудь ночью, забывшись, закуривал, стоя у распахнутого окна, с улицы ему вежливо напоминали о правилах военного времени. Ильда не осталась в стороне от этой компании: вместе с подругами и сотрудниками Института развития она разносила ночным патрульным еду. И к своим обязанностям относилась очень серьезно. Вообще, хотя крупных разрушений и больших жертв среди населения не было, воздушные налеты, неслыханные в этих мирных краях, сделали свое дело: нервы у людей были напряжены, господствующим настроением стало тоскливое чувство незащищенности. Пансионат вдовы Торизельо находился вблизи президентского дворца, и в квартире у Ильды одно окно было разбито пулеметной очередью... Такого ужаса она еще никогда не испытывала. У себя в институте Ильда не однажды видела, как ее подруги падали в обморок на своих рабочих местах или разражались истерическими рыданиями.

Эрнесто считал, что раздача сэндвичей по ночам — это просто имитация деятельности. Впрочем, подтрунивать над активностью своей «Жанны д'Арк» он прекратил. Вообще с начала военных действий Эрнесто сделался другим: подтянутым, сосредоточенным, сдержанным на язык. Он похож был на молодого зверя, почуявшего запах добычи. Человек сугубо штатский и привыкший насмехаться над военщиной, он вдруг заинтересовался оборонительной тактикой и составил свой пакет предложений для гватемальских властей. По его мнению, правительство действовало нерешительно и народ утратил веру в способность Арбенса планировать и предвидеть. Прежде всего, считал Эрнесто, нужно сформировать молодежные отряды, вооружить их и немедленно отправить на фронт. Далее необходимо разработать серьезный план обороны столицы, поскольку решающие бои, не исключено, будут проходить именно на подступах к городу. В-третьих, следует обеспечить возможность отхода в горы — на случай, если столица падет.

С первым своим предложением (об отрядах молодежи) Эрнесто обратился к властям. Его поблагодарили за заботу и заверили, что армия обо всем побеспокоится сама. Парадокс: на континенте, где, кажется, не проходит и дня, чтобы армия в какой-нибудь стране не выходила из казарм и не обращала оружие против законного правительства и собственного народа, укоренилась наивная вера в добродетели военного сословия, среди которых на первом месте — верность долгу и высокий профессионализм. Как великовозрастное забалованное и глубоко порочное дитя, армия капризничает, пренебрегает прямыми обязанностями, запугивает мнимыми опасностями, назойливо вымогает деньги, чванится выдуманными заслугами, благосклонно принимает незаслуженные льготы и неумеренные похвалы, щедро раздает взамен выпреенные обещания и клятвы — и предаёт своих благодетелей всякий раз, когда наступает подходящий момент... а гражданские власти до последней минуты сохраняют уверенность, что «наш честный служака не подведет». Не отделился от этой иллюзии и полковник Арбенс: сам человек глубоко порядочный, он беззащитен был в своей уверенности, что порядочность — это истинно воинская черта...

Впрочем, пробиться к Арбенсу Эрнесто Гевара не смог: Ильда рассказывает, что Арбенс отменил все приемы и встречи, закрылся в президентском дворце и выслушивал только советы и рекомендации генсека ГПТ Хосе Мануэля Фортунни.

«Это не было секретом, — пишет она, — все революционеры это знали и говорили об этом уже после катастрофы».

Думается, в данном случае Ильда не совсем беспристрастна. После катастрофы легко было показывать пальцем на генсека Фортунни и говорить: «Вот человек, заморочивший полковнику Арбенсу голову и бросивший его на произвол судьбы».

Натолкнувшись на инертность и нежелание сотрудничать со стороны гватемальских властей, Эрнесто засучил рукава и принялся за работу сам. Разложив на столе карту города, он размечал узловые точки, чертил оборонительные схемы, и те, кто видел эти чертежи, говорят, что они, конечно, носили любительский характер, но свидетельствовали о несомненном математическом чутье: недаром все домашние в Кордове были так удивлены, когда он предпочел медицину инженерному делу.

От чертежей и схем Эрнесто без колебаний перешел к работе на местности, к организации и расстановке живых людей — и с радостью обнаружил, что у него получается. Его командирский голос, уверенность в том, что он знает, что надо делать, даже странный для местного слуха лаплатский акцент — все это производило на тихих, застенчивых гватемальцев должное впечатление. Эрнесто собирал молодых парней, жителей предместий, формировал из них небольшие отряды, распределял то скудное оружие, которое удавалось достать, расставлял своих людей в тех местах города, которые он считал уязвимыми, — и его слушались, ему подчинялись. Воодушевленный радостным сознанием того, что он впервые в жизни работает на историю — и не с холодными камнями, а с живыми людьми, Эрнесто старался заразить этих коренастых, молчаливых, искоса поглядывающих на него ребят своим воодушевлением:

«Парни, мы покажем им, как надо воевать, мы проучим здесь этих фрутерос!»

Под «фрутерос» Эрнесто понимал наемников Кастильо Армаса, идущих защищать поруганную честь «Мамиты Юнай».

Однако стоило Эрнесто Геваре уйти, как его отряд исчезал, словно дым костра в ночных небесах: магнетическое влияние этого вибрирующего от внутреннего напряжения человека пропало — и гватемальцы молча разбегались по домам.

«Надо было сражаться, но почти никто не сражался, — рассказывал об этом позднее сам Эрнесто, — надо было сопротивляться, но никто не делал этого...»

Недоумение и обида звучат в этих словах... Однако, если разобраться, почему он так рассчитывал на то, что молодые гватемальцы должны разделять его революционную веру? Городские парни, ремесленники и безработные, подмастерья и рассыльные, они ничего не выиграли от аграрной реформы, революция принесла им лишь угрозу, кружащую над их головами, да еще лишения, знакомые ранее, — почему они должны были за это умирать? Уверенность в том, что беднота органически предана революции, еще не раз подводила в дальнейшем Эрнесто Гевару... да и не его одного. Бедняк желает прежде всего перестать быть таковым, и если революция не в состоянии этого обеспечить, то он видит в ней всего лишь мудреный обман. Но Эрнесто спешил, лихорадочное внутреннее время его поджимало, и вдаваться в такие

частности у него не было возможности, поневоле приходилось все упрощать.

Оборонная деятельность молодого заведующего медпунктом пединститута оказалась неожиданной для многих, кто его знал. Недоумевает и мастер психоанализа Энрике Сальгадо: «Такой безразличный, такой отчужденный по отношению ко всему, происходившему до сих пор в Гватемале, он вдруг самозабвенно берется за оружие и делает первый шаг к тому, чтобы стать для всего мира примером человека, готового умереть за свободу...» Теория подсказывает испанцу единственно верный ответ. По его мнению, все дело здесь в том, что Эрнесто «зависел от окружения больше, чем другие, — точно так же, как больше других он зависел от своей матери». Если оставить в покое безвинную донью Селию, то сомнение вызывает и первая часть утверждения. Вся сущность натуры этого человека заключалась именно в том, что он был отчужден от окружения, и всю жизнь, борясь с неблагоприятными воздействиями внешней среды, фактически отстаивал, защищал свою независимость. Строго говоря, внешняя среда для него не существовала как таковая (если она не содержала в себе аллергенов), он не нуждался в ее изучении и не испытывал потребности вникнуть в ее своеобразие. Гватемала (равно как и Боливия) интересовала его лишь настолько, насколько соответствовала его собственным представлениям о революционном процессе и о ходе истории, как он его понимал. Проникновенные нерудовские строки: «Гватемала нежная! Каждый камень твоего дома таит каплю крови, которую пожирали свирепые морды тигров...» — не могли быть написаны Эрнесто Геварой: его Гватемала — это часть его «Я». Он посвятил своей второй революции совсем иные стихи:

*Гватемала, ты мне оставила
Широкую рану в боку —
И женщину, которая в своих печалях
Сумела избавить меня от моих...*

Ильду очень тревожила бурная активность ее друга, игра с оружием, особенно опасная в преддверии развязки и ничего, кроме разочарования, не приносившая ему самому.

«Что с тобой происходит? Что ты намерен делать? — настойчиво допытывалась она, когда Эрнесто, усталый,

раздраженный, с руками, черными от ружейной смазки, приходил к ней в пансион.— Ты же все время твердил, что это правительство реформистское, мелкобуржуазное, а теперь собираешься ради него рисковать своей жизнью?»

«Иди ты к черту со своими вопросами! — кричал ей в ответ Эрнесто.— Пусть все идет к черту! Я знаю, что надо делать, а эти не делают ничего...»

Попытка распечатать военный арсенал не увенчалась успехом: охранники велели убираться прочь всем, кто не хочет, чтобы его пристрелили... Офицеры на фронте заявили, что не сделают ни единого выстрела, если Арбенс останется на своем посту... Президентский дворец молчал. У Эрнесто оставалась еще надежда, что полковник не поддастся нажиму армейских, раздаст оружие народу и уведет своих людей в горы... Тогда можно будет пойти вместе с ним. И сражаться столько, сколько надо, хоть десять лет.

Однако Арбенс поступил иначе. Желая предотвратить разрушения и гибель соотечественников, он начал на пленку прощальную речь, послал ее на радио и отправился в мексиканское посольство. Вслед за президентом убежища попросили и другие члены правительства и лидеры политических партий. Латиноамериканские посольства в Гватемала-сити оказались переполненными, и среди эмигрантов, остававшихся в городе, поднялась паника. Не все, как Эрнесто, могли обратиться в посольство своей страны. У Ильды, например, перуанского паспорта вообще не было, посол Перу был ставленником диктатора Одриа, а идти с охранным свидетельством политэмигранта в другое посольство не имело никакого смысла.

Между тем Эрнесто и не думал прятаться в аргентинском посольстве. Торгпред Аргентины, наслышанный о деятельности своего отчаянного соотечественника, отправился его искать, объездил весь город и обнаружил его в дешевом кафетерии.

«Что вы здесь делаете? — спросил он без всяких дипломатических обиняков.— Хотите, чтоб вас пристрелили? Идемте со мной!»

Эрнесто до крайности удивился:

«Кто это собирается меня пристрелить?»

«Не будьте слепцом, молодой человек,— ответил ему торгпред.— В посольстве США давно следят за вашими передвижениями. Конец напрашивается, и сейчас самое время спасти вашу шкуру».

Эрнесто не мог не знать, что еще в резолюцию Каркасской конференции была включена рекомендация установить слежку за лицами, которые «распространяют пропаганду международного коммунистического движения, совершают поездки в интересах этого движения и действуют в качестве его агентов или в его пользу». До сих пор, однако, ему не приходило в голову, что этот пункт резолюции самым непосредственным образом касается его самого. Так, негодуя, возмущаясь и в то же время втайне, должно быть, гордясь репутацией человека, за которым охотятся, Эрнесто Гевара на дипломатической машине отправился в посольство своей страны.

Полковник Арбенс передал власть главному Диасу, Диаса тотчас же сместил его собственный выдвиженец полковник Монсон, и буквально на следующий день Монсон вылетел в Сан-Сальвадор на встречу с освободителем Кастильо Армасом. Вскоре было объявлено о создании правящей хунты, в которую вошли и Монсон, и Армас. А третьего июля Кастильо Армас вступил в Гватемала-сити. Был это тощий невзрачный человек, постоянно носивший бронезилет и оттого державшийся неестественно прямо.

«Он походил на марионетку — да, в сущности, ею и являлся: марионетка интересов янки и олигархии», — пишет Ильда, получившая у губителя революции аудиенцию, чтобы добиться гарантии, что ее не арестуют.

В посольстве Аргентины, где от возможных репрессий скрывались десятки эмигрантов и гватемальцев, сторонников Арбенса, шли ожесточенные споры. Люди, лишённые возможности вмешиваться в ход событий, отстаивали каждый свою версию происшедшего, горячились, ведя бесконечное обсуждение вечного вопроса: «Что было бы, если бы все было иначе?» Упрекали друг друга: «Вот из-за таких, как вы, все и кончилось плохо...» Эрнесто читал вслух свою статью «Я видел падение Арбенса», которую Ильда печатала ему под ревом самолета, обстреливавшего президентский дворец. Все экземпляры статьи позднее пропали, однако Ильда по памяти ее пересказывает, да и в последующих работах Эрнесто не раз возвращался к своему гватемальскому опыту, используя, скорее всего, фрагменты этой статьи. Это фактически первая его попытка оформить свое представление о миропорядке и о процессах, в нем происходящих, картина мира № 1, если можно так выразиться: в дальнейшем эта картина несколько раз переписывалась заново, ме-

нялись композиционные и цветовые мотивы, тональность становилась то сияющей, оптимистической, то грозной и мрачной, но общий ее замысел сложился уже в гватемальские времена.

Согласно реконструкции, сделанной Ильдой, свою статью Эрнесто начинает с утверждения, что социалистический лагерь, заложенный советской революцией в 1917 году, расширенный китайской революцией и недавно начатой алжирской, будет расширяться и впредь, поскольку в мире есть множество стран, управляемых эксплуататорскими системами, которые прямо или косвенно зависят от империализма. Следовательно, революция — это всемирный феномен, и Латинской Америке суждено сыграть в этом процессе важную роль. Рассуждение выглядит несколько ученическим — даже на наш не избалованный теоретическими изысками слух, но не будем забывать, что это всего лишь старательный пересказ по памяти и что к этим упрощенным откровениям, ссучивающим все волокна истории в единую суровую нить, Эрнесто пришел своим собственным путем, да притом добровольно, а не на официальных политсеминарах, отсюда и привкус любительского упражнения. Гватемальский опыт, лишенный малейшего своеобразия и представленный как прямое столкновение с империализмом янки и как часть континентальной и мировой революции, вплетен в эту бедную нить. Статья заканчивалась словами: «Борьба еще только начинается».

Все обитатели посольства поздравляли автора и отмечали его несомненный публицистический дар. Что же касается концепции, то для многих она была неприемлема. В ходе страстных дискуссий определилось революционное ядро из 13 наиболее непримиримых сторонников вооруженного решения, считавших, что Арбенс проявил слабость духа. К их числу принадлежал и Эрнесто Гевара, стоявший на том, что народ должен быть вооружен.

«Да, но тогда это уже не народ, а армия», — возражали ему.

«Ну так что ж, пусть армия. Если у них есть вооруженные силы, то и народ должен быть вооружен».

Аргентинский посол, считавший непримиримых опасными экстремистами, просил своих сотрудников особо за ними присматривать. Ильда, недостаточно хорошо знавшая этот период жизни своего друга, пишет, что Эрнесто в числе тринадцати был отделен от остальных:

не выделен даже, а отделен. Вряд ли это согласуется с ее же словами:

«Как гражданин Аргентины Эрнесто имел право гостить в посольстве и в качестве гостя мог выходить и входить когда вздумается. Он выполнял поручения укрывшихся, передавал на волю письма, прятал оставшееся на квартирах беглецов оружие, устраивал убежище тем, кто находился в трудном положении».

Из всего этого следует, что пребывание его в посольстве не было вынужденным и что «на воле» ему ничто более не угрожало. Гватемальцы, прятавшиеся в посольстве, не имели права даже разговаривать по телефону, и, если близкие звонили им из города, посол запрещал передавать им трубку, так как это могло вызвать раздражение новых властей, и разговор мог идти только через посредника. Были курьезные случаи: подруга Ильды позвонила в посольство своему жениху-гватемальцу, трубку поднял посол и вынужден был передавать беженцу пылкие любовные признания его невесты. Можно себе представить, как повел бы себя в подобной ситуации наш советский полпред... Для латиноамериканца же в такой ситуации нет ничего неприличного, и, надо полагать, посол позабавился, выполняя столь деликатную миссию посланника Гименя. Насмешило обитателей посольства и появление одного из гонимых, известного гватемальского поэта, переодетого в женское платье...

В положении Ильды Гадеа, оставшейся «на воле», было куда меньше забавного. На другой же день после переворота Монсона она была уволена с государственной службы (как иностранка, сотрудничавшая с режимом Арбенса) и оказалась в женской тюрьме «Санта-Тереса». Несколько драматизируя ситуацию, она пишет, что во время допросов у нее настойчиво допытывались, где Эрнесто Гевара, и что, узнав о ее аресте, Эрнесто хотел сдать властям в обмен на ее освобождение, но посольские его отговорили. В тюрьме гордая апристка вместе с другими заключенными рубила хворост и пекла тортильи для продажи их в городе.

В День независимости Перу Ильду освободили: видимо, это был дружественный жест гватемальского правительства по отношению к братской стране. Выйдя на свободу, Ильда попыталась проникнуть в аргентинское посольство, но солдаты ее не пустили. Эрнесто, свободно ходивший по городу, нашел ее в ресторанчике, где она обычно обедала. Видимо, в их отношениях кое-

что изменилось — во всяком случае, с его стороны. Эрнесто объяснил своей подруге, что беженцев из посольства начинают самолетами вывозить в Аргентину, что родители прислали ему немного денег и он собирается переехать в Мексику, а до этого едет на три дня в Атитлан.

«Примечательно, — пишет Ильда, — что в разгар полицейских репрессий ему удалось посетить одно из красивейших мест Гватемалы: озеро Атитлан окружено двенадцатью городками, каждый из которых носит имя апостола, жители тех мест говорят на индейских наречиях и одеваются в традиционные одежды. Как и всегда, желание расширить знания было его побудительной силой, но за этим путешествием стояло также желание отвязаться от полицейской слежки».

Полицейская слежка, несомненно, была, и, гуляя с Эрнесто по Нижнему городу, Ильда чувствовала, что за ними тянется хвост, а знакомые делали вид, что не узнают симпатичную пару. Новые власти, надо полагать, значительно больше интересовались не самим Эрнесто (предпочитая не связываться с «безумным аргентинцем», как его называли в городе), а его связями в гватемальской среде. Возможно, им известно было, что в посольстве он подговаривал укрывшихся там гватемальцев не эмигрировать, а тайно уходить в горы и обещал свое содействие.

Как бы то ни было, после Атитлана Эрнесто отправлялся в Мехико, а его подруга, беспаспортная, безработная, лишенная средств к существованию, не могла ни вернуться на родину (где ее, скорее всего, ждала тюрьма), ни последовать за Эрнесто в Мексику. Это только у Сальгадо все легко получается, и он пишет, что «сама Ильда, при посредничестве Института истории Гаваны, уехала в Мексику раньше — со своими товарищами-апристами». В действительности же ей пришлось смирить свою гордыню и пойти на поклон к новым властям. Эрнесто в эти сложности не вникал.

«Смеясь, он говорил мне, что однажды мы встретимся в Мехико и поженимся. Я, конечно, ему не верила...»

Трехдневная поездка на озеро Атитлан, целью которой, по мнению Сальгадо, было не обмануть полицию, а просто скоротать время в ожидании визы, привела Эрнесто в восторг.

«Если бы я не был так расстроен из-за всего того, что здесь произошло, — рассказывал он по возвращении

Ильде, — я написал бы там поэму. В тех местах любой почувствует себя поэтом».

Ильда помогала ему собирать вещи. Эрнесто был весел и возбужден, он говорил Ильде, что в Мехико живет старый друг его отца, Улисес Пти де Мюрат, влиятельный кинопродюсер.

«Он поможет мне утвердиться в мире кино, у меня еще в Кордове были такие амбиции... Главное — с этими связями я сразу пойду вне конкурса, а дальнейшее уже зависит от меня самого...»

Покровительство, связи, протекция — все эти средства, совсем недавно приводившие в смущение наших молодых людей, в остальном подлунном мире не считались недостойными и даже сомнительными: Эрнесто Геваре даже в голову не пришло бы, что он говорит что-то неприличное, и бедной Ильде, которая ревнивым сердцем своим сразу угадала тут для себя опасность (и женская интуиция, как оказалось впоследствии, ее не обманула), — Ильде даже в голову не пришло пристыдить своего друга, как это сделала бы любая наша добродетельная девушка. Ильда с горячностью принялась его отговаривать, пользуясь при этом доводами, которые она считала неотразимыми:

«Не верю, чтоб ты, с твоей психикой, с твоими идеалами справедливости, нашел способ выражения этих идеалов в фильмах — разве что в стране, где революционеры стоят у власти. В любой капиталистической стране это приведет к неизбежному краху. Лучше другая работа, даже подметание улиц. Если тебе нужен мой совет — не делай этого ни при каких обстоятельствах. Если бы были гарантии, что ты сможешь сделать фильм, который хочешь, обличающий эксплуатацию, раскрывающий истинные проблемы общества, — это было бы прекрасно. Но даже великим художникам недоступна такая роскошь. Вспомни, у тебя есть профессия, занимайся своим делом...»

Эрнесто посмотрел на нее очень трезво и ответил:

«Хорошо, я приму во внимание то, что ты говоришь. Киноальтернатива — это на черный день. Думаю, что в Мексике меня ждут трудные времена».

А может быть, он просто ее поддразнивал: у этих аргентинцев ничего не поймешь.

Ильда ехала с ним в поезде почти до самой границы. Эрнесто был нежен, но молчалив, держал ее за руку... В Вилья Кокалес Ильда села в обратный поезд и вернулась в опустевший теперь для нее город.

Мексика, великая демократическая держава Ииспаномерикки, в те годы предоставляла приют доминиканцам, бежавшим от тирана Трухильо, противникам никарагуанского диктатора Сомосы, перуанским апристам, испанским республиканцам, гражданам США, попавшим в список неистового сенатора Юджина Маккарти, беженцам из Гватемалы. Эрнесто нашел там и своих кубинских товарищей, борцов против диктатора Батисты, вместе с которыми он странствовал по гватемальской провинции. Вся эта разноплеменная публика, в большинстве своем лишенная средств и связей, перебивалась случайными заработками, ютилась в меблированных пансионах, собиралась в одних и тех же дешевых барах и вела бесконечные споры о путях и формах немедленного переустройства мира. Город Мехико наводнен был тайными агентами диктатур, старавшимися проникнуть в замыслы тираноборцев, детективная возня с похищениями, подсадкой провокаторов и политическими убийствами самым прихотливым образом переплеталась с сыскной работой мексиканской полиции, которая следила за тем, чтобы деятельность изгнанников не приводила к международным осложнениям, и с кропотливой работой североамериканских секретных служб, преследовавших свои геополитические цели. Не проходило и месяца без какого-либо сенсационного разоблачения, и в эмигрантских кругах с волнением толковали о том, что такой-то оказался двурушником, такой-то — подсадной уткой ФБР... Одним словом, шла нормальная жизнь зарубежья.

Сказать, что Эрнесто с головой ушел в эту жизнь, было бы преувеличением. Гватемальское дело было бесспорно проиграно, борьба против Перона и перонизма его никогда не вдохновляла, что же касается освободительных планов других латиноамериканских землячества, то эти замыслы представлялись ему ограниченными и провинциальными: креольский национализм не выходил за пределы своих крошечных майоратов и генерал-капитанств. В большинстве тираноборческие организации замыкались на одном тезисе: «Вот покончим с Трухильо (Сомосой, Батистой) — и тогда...» А что же тогда? Понималось, что тогда наступит царство свободы и справедливости. Ну, допустим, что так и случится... хотя практика Ииспаномерикки свидетельствовала об обратном. А в других уголках континента? А во всем остальном

мире? На эту тему мало кто желал разговаривать. Кроме того, борцы-изгнанники из какой-либо латиноамериканской страны очень неохотно посвящали в свои дела чужаков, иностранцев — из соображений конспирации и стремления не допустить, чтобы их упрекали в формировании наемнического корпуса. Была в этом даже своя провинциальная гордость: «Свобода Перу — дело самих перуанцев». Эта локальность, замкнутость интересов очень сердила Эрнесто, который ни в одном кружке не был своим. Раздражало его и то, что суть дела чаще всего утопала в многоречии и разногласиях, пожиравших жизни не то что отдельных людей, но целых поколений.

В поезде Эрнесто познакомился с беженцем из Гватемалы, щуплым мелкорослым человечком по прозвищу Эль Патохо, что на гватемальском наречии означает «мальчишечка, мальчуган». В нашей традиционной литературе Патохо представлен как убежденный коммунист, не сломленный поражением, веривший в конечное торжество своих идей и во многом повлиявший на формирование жизненной позиции Эрнесто Гевары. Однако сам Эрнесто рассказывает, что это был забитый недалекий паренек, который не мог даже внятно объяснить, что же, собственно, произошло в его стране... да и коммунистом, то есть членом ГПТ, он стал уже после отъезда Эрнесто на Кубу.

Как бы то ни было, Эрнесто и Патохо подружились в дороге и договорились делить все невзгоды пополам. В Мехико они на последние деньги приобрели подержанную фотокамеру и, найдя сговорчивого местного жителя, владельца небольшой фотолаборатории, согласившегося за скромную плату проявлять пленку и печатать снимки, принялись за обслуживание иностранных туристов США, Канады и Старого Света, толпы которых бродили по мексиканской столице в поисках материальных свидетельств своего пребывания на этой земле. Как рассказывает Эрнесто, они с Патохо, стараясь не попадаться на глаза полиции, ограждавшей иностранцев от назойливого сервиса, фотографировали туристов в парках, на площадях, на фоне памятников и живописных трущоб — и продавали им фотокарточки.

«Мы гонялись за покупателями и уговаривали их не покуситься на один песо за какую-нибудь дрянную фотографию с изображением, скажем, ребенка, которого мы расхваливали на все лады, убеждая, что он дивно освещен

и что есть смысл потратить деньги на такого чудесного малютку».

Снимки уличной детворы и столичных лачуг Мехико пользовались определенным спросом: нищета «третьего мира» — ведь это тоже товар, который потребляют туристы, желающие, как говорит уругваец Галеано, «поздравить себя с тем, как хорошо им удалось устроиться в этой жизни». Эрнесто, надо думать, понимал, что выступает в невыгодной роли торговца нищетой. Именно этим (а также врожденной аргентинской склонностью подтрунивать над сантиментами) объясняется несколько пренебрежительная интонация по отношению к безвестному «малютке».

Есть свидетельства, что уже в эти месяцы Эрнесто вел дневник, где отмечал события каждого дня, комментируя их с ненадражаемым юмором. Ильда, несомненно, видевшая этот дневник, рассказывает, что в нем Эрнесто высмеивал своих праздных клиентов и забавно сетовал на прискорбную склонность своего компаньона Патохо запаздывать с обработкой снимков, отчего время и пленка нередко тратились впустую, а клиентура рассеивалась в огромном городе, оставляя на память о себе лишь убытки и ненужные дурацкие фотографии. Записи велись бессистемно, Эрнесто собирался когда-нибудь привести их в порядок, но так и не сделал этого. Впрочем, отдельные фрагменты мексиканского дневника были включены им в книгу «Эпизоды революционной войны».

Сама по себе потребность делать каждодневные записи «для себя», фиксировать событийный ряд своей жизни свидетельствует не только о понимании неповторимости собственного опыта, но и об определенном и с т о р и з м е мироощущения, который Энрике Сальгадо назвал «ретроспективным чувством», отражающим стремление вернуться вспять, к истокам в широком смысле этого слова: к младенчеству, к предкам, к народу и родине. Серьезное и методичное ведение дневника (а Эрнесто Гевара предавался этому занятию — с перерывами — до конца своих дней) — это явление двунаправленное. С одной стороны, в этой деятельности проявляется стремление включить свой сегодняшний день в общую связь времен и оправдать злобу дня логикой предшествующего развития, а это, в определенном смысле, означает самовольное присвоение прошлого и приспособление его именно для обслуживания злобы дня. Но существует и обратная связь: каждая новая запись, становясь объектив-

ным фактом, обязывает к экстраполяции и задает направление для последующих записей, а значит, и для анализа наступающей действительности, тем самым подчиняя себе будущее,— направление, нередко уводящее далеко в сторону от реального хода событий.

Несколько месяцев Эрнесто и его новый друг Патохи бились в тенетах безденежья на глазах у равнодушной и сострадающей публики. Медицинским образованием аргентинца никто в Мехико не интересовался, в госпиталях нужны были рекомендации, а для частной практики не было ни опыта, ни клиентуры, ни связей. Мексиканская кинопромышленность не то что отвергла Эрнесто Гевару, но, по всей видимости, не приняла всерьез, хотя Эрнесто и предпринял попытку «пройти вне конкурса». Он появился в доме де Мюрата, познакомился с его роскошной кухней и очаровательной дочерью, но дальше дело не пошло. Фотографию этой юной красавицы в купальнике Ильда обнаружила между страницами книги Эйнштейна, которую они вместе с Эрнесто переводили, и перуанка, естественно, была возмущена. Эрнесто объяснил ей, что девушка помолвлена, так что ни о чем серьезном речи быть не могло, и прибавил загадочную фразу — совершенно в аргентинском духе:

«Вот увидишь, между этой сеньоритой и ростбифами в скором времени что-то произойдет».

Больше сеньорита в купальнике на жизненном пути Эрнесто Гевары не появлялась, пропал и его интерес к кинобизнесу. А жаль: известно, как мало художнического чутья требуется, чтобы стать в мире кино своим человеком, Эрнесто же этим чутьем и вкусом к переоформлению жизни обладал в достатке. Но тогда Америка потеряла бы одну из самых волнующих легенд, воплощенную Че Геварой в материале собственной жизни. Свою роль здесь сыграло и то, что по воздействию на реальность кино намного медлительнее и беднее возможностями, чем непосредственное революционное действие, а Эрнесто спешил.

Ильда застала его в Мексике уже в добрые времена. После долгих мытарств ему удалось наконец получить место ассистента в аллергологическом отделении городской больницы, туда Ильда и позвонила, прибыв в мексиканскую столицу.

«Доктор Гевара?»

Можно себе представить, каким трепетным голоском это было произнесено.

Встреча оказалась более чем прохладной. Эрнесто выслушал долгий рассказ своей подруги о том, какие лишения она перенесла, пытаясь перебраться через границу: пограничные власти чинили беззащитной женщине всяческие препятствия, гватемальский офицер принуждал ее к сожительству, и в конце концов Ильде пришлось прибегнуть к помощи контрабандистов. На мексиканской стороне она связалась с Лимой, и родители переслали ей небольшую сумму — на авиабилет до Мехико и на обустройство.

Эрнесто предложил ей остаться друзьями, это были именно те слова, к которым женщина никогда не бывает готова. Разговор между ними сразу стал натужным, совершенно в духе наших послевоенных фильмов.

«Как ты считаешь, — спросил ее Эрнесто, — стали бы коммунисты в годы революции бороться за права народа?»

В те дни, оставаясь по-прежнему беспартийным, Эрнесто убежденно считал себя коммунистом — может быть, даже более коммунистом, чем самые активные партийные функционеры: ситуация не столь уж редкая, находятся люди, даже кокетничающие этим обстоятельством, когда это бывает им выгодно. Эрнесто к таким людям не относился; видимо, членство в партии чем-то его отпугивало, противоречило его неукротимой натуре, и хотя он писал матери, что рано или поздно станет членом компартии (не уточняя, какой именно, вряд ли аргентинской, с аргентинскими коммунистами его ничто не связывало, равно как и с мексиканскими, да и с кубинскими тоже), сама оговорка «рано или поздно» свидетельствует о том, что определенности в этом вопросе у него не было.

Вопрос, заданный Ильде, с нашей точки зрения представляется странным (а как же иначе? коммунисты просто обязаны бороться за права народа, тем паче в годы революции): видимо, у Эрнесто, встречавшегося с коммунистами разных стран, определенные сомнения в этом плане имелись... хотя можно было бы уточнить, что именно он понимает под «правами народа». Но для Ильды «права народа» были чем-то простым и понятным, и она (желая, возможно, угадать новое настроение Эрнесто и в какой-то степени ему подыграть) ответила:

«Да, в революции коммунисты всегда должны быть на переднем крае».

На что Эрнесто промолвил:

«Да, я тоже так думаю».

Разговор совершенно заумный, с двумя положительными ответами на один и тот же, ничем не связанный с ситуацией вопрос... Удивительно, как Ильда вообще о нем вспомнила: ведь раньше, в Гватемале, они беседовали на подобные темы часами и все, что только возможно, успели обговорить. Может быть, Эрнесто хотел показать Ильде, что взгляды его еще больше радикализировались и ждал апристских возражений на этот тезис, чтобы придать возникшему между ними отчуждению идейный характер... Но не исключено, что Ильда, поглощенная в тот миг своими печальями, запомнила только предмет разговора и позднее, работая над своей книгой, не сумела его должным образом восстановить. Сразу после этого Эрнесто ушел, сославшись на то, что ему еще нужно проявлять пленку, а завтра утром у него дежурство в госпитале. Должно быть, ассистентская зарплата была не слишком высока, и фотоохота за туристами оставалась в качестве подспорья. Кроме того, нельзя было бросать на произвол судьбы беднягу Патохо, которого Эрнесто, как он признался Ильде, любил словно родного сына.

В мемуарах Ильды много места отведено странностям поведения Эрнесто в первые месяцы после ее приезда: даже на Рождество, которое они договорились встречать вчетвером, вместе с Патохо и новой подругой Ильды, венесуэлкой Лусилой (в целях экономии они снимали одну крохотную меблирашку на двоих), Эрнесто не пришел, оправдавшись тем, что ровно в полночь он должен был сменить Патохо, который устроился ночным сторожем. Лусила была в ярости: ради этого праздника в узком кругу она отклонила прочие предложения. А Эрнесто смеялся:

«Что за мания у женщин отмечать праздники?»

«Это поразило меня в самое сердце,— пишет Ильда,— я почувствовала, что Эрнесто ко мне безразличен, и этого мое чувство гордости не могло перенести. Мы оба были вдали от семьи, а этот праздник обычно встречают с теми, кого любят».

Так продолжалось еще несколько месяцев. В конце апреля 1955 года в Мехико появился Рикардо Рохо. Не без любопытства спросил Ильду, когда же они с Эрнесто поженятся. Она отвечала Толстяку, что иностранцам здесь вступить в брак трудно: мешают всякого рода бумажные формальности.

Первого мая Эрнесто, Рикардо и Ильда встретились у памятника Независимости: пришли посмотреть праздничную демонстрацию трудящихся. День был солнечный,

теплый, настроение у всех благодушное и оптимистическое. Демонстрация, хоть и красочная, не произвела на изгнанников впечатления: должно быть, они ожидали увидеть всенародное ликование. Сошлись на том, что участники шествия скорее выполняют какой-то рутинный обряд, чем демонстрируют мощь солидарности и успехи классовой борьбы. Среди зрителей они увидели генсека ГПТ Фортуну и подошли к нему спросить, что же, собственно, случилось в Гватемале, почему прекратилось сопротивление. Вопрос, если верить Ильде, смутил генсека, хотя времени обдумать происшедшее у него было более чем достаточно.

«Мы увидели, что ситуация очень сложна,— неуверенно ответил Фортуну,— и решили выйти из правительства, чтобы продолжать свою борьбу».

«Да, товарищ,— вмешался Эрнесто, который не был знаком с Фортуну лично и впервые в жизни с ним разговаривал,— все это так, но, наверное, лучше было сражаться, когда власть находилась у вас в руках».

Беседа сразу стала напряженной.

«Что вы хотите этим сказать?»— спросил Фортуну.

«Только то, что сказал,— дерзко ответил Эрнесто.— Если бы Арбенс покинул столицу, чтобы уйти в глубинку с группой истинных революционеров, исход мог бы стать другим. Его статус законного главы государства сделал бы его символом огромной моральной силы».

Фортуну ничего не возразил: по мнению Ильды, аргумент попал в цель, но возможны и другие объяснения. Кажется сомнительным, что Фортуну был так уж застигнут врасплох этим вопросом: надо думать, после падения Арбенса ему часто приходилось все объяснять.

«Мы небрежно с ним попрощались»,— пишет Ильда, явно переоценивая масштабы триумфа своего друга.

Разговор, однако же, на этом не окончился. Рикардо и Эрнесто вдруг заспорили с таким ожесточением, как будто и не расставались на целый год.

«Вы, ниспровергатели,— говорил Толстяк,— используете преимущества своего положения в демократической системе для того, чтобы эту систему разрушить. Чуть вас тронь — поднимаете шум о репрессиях, о насилии, сами же на насилие только и упоая. А попробуйте вести свою игру, не выходя из демократических рамок, уважая общепринятые принципы и сложившиеся институты,— ничего у вас не выйдет. Вы же не учитываете иных концепций, не желаете считаться с соперником, требуя лишь,

чтобы система считалась с вами. Но ведь общество не может обслуживать одну-единственную идеологическую группировку!»

Эрнесто яростно возражал. Ильда по мере сил его поддерживала: она убеждена была, что Толстяк, просидевший весь этот год вдалеке от событий, не имел права никого упрекать.

Несмотря на всю свою идейную несовместимость, Рикардо и Эрнесто оставались приятелями. При каждой встрече они, едва дождавшись повода, затевали перепалку, причем Рикардо, похоже, получал от этих стычек больше удовольствия, умело поддразнивая Эрнесто Гевару и играя на его запальчивости и нетерпимости, как ни парадоксально, обострявшейся именно в тех случаях, когда разногласия были не полными, а частичными. Может быть, даже так: чем мельче становились их расхождения, тем яростнее спорил Эрнесто. Особенно его сердило то, что Гордо держался барином, имеющим нравственное превосходство и привилегию поправлять и поучать. Ильда не переставала этому изумляться. Возможно, она не отдавала себе отчета, что для Эрнесто Толстяк был своего рода «негативным авторитетом», которому можно приписать ответственность за все поражения и невзгоды: «Вот из-за таких субъектов, как ты!..» В спорах с Толстяком Эрнесто становился совершенным мальчишкой, он терял самообладание, переходил на личные выпады, и замечательная аргентинская манера подтрунивать совершенно ему изменяла.

Впрочем, Толстяк пробыл в Мексике всего несколько дней, и приятели не успели как следует насладиться своими стычками. Рикардо любил покровительствовать и оказывать друзьям услуги, которые ему самому ничего не стоили. Он познакомил Гевару с влиятельным соотечественником, директором Фонда экономической культуры, и Эрнесто получил наконец возможность избавиться от проклятия уличной фотографии и, передав дело напарнику Патохо, посвятить свободное время более достойному, чем «торговля нищетой», занятию: Фонд доверил ему распространение экономической литературы, в списках которой значились Маркс и Ленин, Троцкий и Мао Цзэдун. Это не только упрочило материальное положение ассистента-аллерголога, но и обеспечило ему доступ к серьезным книгам. По ночам Эрнесто читал, а утром складывал книги в кожаный портфель и обходил конторы и частные дома, где, по его предположе-

ниям, этой литературой могли заинтересоваться. По сути дела, это была та же торговля вразнос, на большее Эрнесто не мог рассчитывать, поскольку расположения директора Фонда ему так и не удалось добиться. Влиятельные люди любят, чтобы к ним обращались с покорнейшими просьбами, а Эрнесто не умел просить — и вообще не умел делать то, чего не желал делать, это включало в себя и неумение нравиться людям, которым он нравиться не хотел. Гордость вскипала в нем всякий раз, когда нужно было заискивать, личное обаяние пропало, он становился угрюмым, молчаливым либо неприятно резким на язык. Естественно, это не способствовало его служебным успехам и укрепляло в неприязни к царящей в мире несправедливости.

И все же книготорговля давала устойчивый и существенный приработок. В свой день рождения (14 июня 1955 года) Эрнесто вел с гостями разговоры о предполагаемой поездке в Китай — разумеется, вместе с любящей Ильдой. Их отношения стабилизировались: по рассказам Ильды, не последнюю роль в этом новом сближении сыграл советский фильм-балет «Ромео и Джульетта», который они с восторгом смотрели, а после задумчиво беседовали об универсальности гения Шекспира... Другим известно было, что Ильда и Эрнесто решили пожениться и что единственным препятствием (материального и отчасти этического характера) является необходимость дать взятку должностному лицу, которое оформляет подобные бумаги в департаменте иммиграции.

В начале августа Ильда забеременела, и вопрос о свадьбе приобрел новую остроту. В провинциальном городке Тепоцотлан власти согласились оформить их брак, не требуя необходимых бумаг и удовольствовавшись лишь паспортами и медицинскими справками. Свадьба состоялась 18 августа, но Ильда попросила Эрнесто считать днем их бракосочетания 18 мая: чтобы ее родители, получив извещение о рождении внука или внучки, не заподозрили неладное с хронологией. Эрнесто согласился пойти на этот невинный обман и сам написал в Лиму забавное письмо, в котором извинялся перед тещей и тестем, людьми верующими, за то, что брак был гражданским, а не церковным («Таковы наши убеждения»), и информировал их о своих дальнейших планах:

«Наши странствия еще не окончились, и до того, как мы обретем постоянное пристанище в Перу или в Аргентине (это еще не решено), мы хотим немного посмотреть

Европу и две чарующих страны — Индию и Китай. Я особенно заинтересован в том, чтобы познакомиться с Новым Китаем, поскольку это соответствует моим собственным политическим идеалам».

Эрнесто не был бы аргентинцем, если бы упустил случай понасмешничать над своей супругой:

«Кухня Ильды — худшая сторона нашего дома в смысле порядка, чистоты и еды. В дополнение ко всему «Донья Петрона» (знаменитая в те времена поваренная книга. — В. А.) никого не сделала хорошим экономистом. Вот так я и живу всю свою жизнь, у моей матушки те же слабости. Неопрятный дом, посредственное питание и подсоленный чай мате — вот и все, чего я хочу от жизни».

Печатаая на машинке это письмо под диктовку Эрнесто, Ильда бурно протестовала, настаивая на том, что она хорошая кухарка и умеет готовить острые перуанские блюда, которые Эрнесто не приемлет из-за своей аллергии. Кто виноват, что у ее мужа дикие вкусы и он предпочитает мясо на углях и пучок травы?

Что касается астмы, то в Мехико она о себе почти не напоминала, и у Ильды составилось впечатление, что страдания Эрнесто остались далеко позади. Однако во время медового месяца в Паленке, во влажной тропической зоне, жестокий приступ свалил его с ног. Эрнесто неистовствовал, кричал на Ильду, упрекая ее во всех бедах. Она терпела, понимая, что он вновь ощутил на своих плечах всю тяжесть своего жизненного креста и пережил горькое разочарование.

Сентябрь 1955 года принес новости из Аргентины. Популизм терпел крах, газетные заголовки кричали о неизбежности падения Перона, флот выдвинул ультиматум, требуя отставки президента, перед «Розовым домом» собирались многотысячные толпы перонистов, требовавших оружия... Эрнесто никогда не считал себя противником Перона, но и сторонником его тоже не мог себя назвать, феномен перонизма вообще совершенно не вписывался в ту картину мира, которая сложилась в его голове, логика бинарных оппозиций здесь не срабатывала — и вдруг сверкнула, как молния в низко нависших тучах. Эрнесто, по свидетельству Ильды, потеплел к Перону, он выражал надежду, что народ получит оружие и поставит военных на место... Однако все обернулось почти так же, как и в Гватемале: Перон не пошел на братоубийственную войну.

«Ты оказалась права,— с горечью говорил Эрнесто своей молодой жене,— он подал в отставку, он не пожелал сопротивляться. Но люди хотели драться, хотели! Они собрались на Пласа дель Майо, ждали оружия, а их разогнали пулеметными очередями...»

Для Рикардо Рохо, вновь появившегося в Мехико, такое развитие событий открывало новые перспективы: всем антиперонистам разрешено было вернуться в Аргентину. Но для Эрнесто это ничего уже не меняло:

«Как хочешь, а я остаюсь. Где правят военные — там мне нечего делать. Этих типов я не терплю.»

Впрочем, Рохо предпочел более спокойный вариант: новые власти предложили ему отправиться послом в Скандинавию.

«Я знал, что так и будет,— сказал, услышав об этом, Эрнесто.— Гордо должен был кончить компромиссом».

Более практичная Ильда возражала, что дипломаты тоже приносят пользу стране.

«Какую пользу? — отвечал ей Эрнесто.— Если бы он думал о пользе, он вернулся бы в Аргентину».

15 февраля 1956 года Ильда родила дочку. Задолго до этого между будущими родителями было решено: если дочка — имя ей дает отец, если сын — выбирает имя мать. Эрнесто назвал девочку Ильда Беатрис: второе имя — в честь своей пожилой тетушки, которую он очень любил. Странно, что испанский психоаналитик обошел эту подробность своим вниманием: в семье, где мама занята общественной деятельностью, тетушка оказывается ближе и нужней, чем мать. Донью Селию Эрнесто известил о событии коротким письмом:

«Старушка, сообщаю тебе, что отныне ты бабуля. У меня дочка. ее зовут Ильдита, как мою жену».

Крохотная китаяночка с лентой на шее, к которой была прикреплена табличка с фамилией «Гевара», умилила молодого отца:

«Вот чего не хватало в нашем доме!»

И начались беспокойные родительские будни. Человек прогрессивных убеждений, Ильда не желала баловать свою дочь и настойчиво приучала ее спать по ночам «от и до».

«Послушай,— возмущался Эрнесто,— ну как это может быть, чтоб ребенок кричал всю ночь? Если у тебя есть молоко — вставай и корми!»

Но Ильда была непреклонна — и добилась-таки своего: в полтора месяца девочка уже привыкла к режиму

и не беспокоила мать своим криком. Маленькая победа, которой так гордятся женщины и в которой, бывает, кроется причина их будущего поражения.

Ильда устроилась на работу неподалеку от дома, ее отпускали на часы кормления. Все остальное время с девочкой сидела приходящая няня. Шла обычная неспешная жизнь. Что еще надобно человеку? Любящая жена, уютная в своей запущенности квартирка, звонкий смех малышки, скромный, но честный достаток... Так живут на земле миллионы, и именно эта жизнь, как ее ни называй, мещанской или филистерской, составляет единственную надежную основу существования всего человечества. На эту теплую, трепещущую, но жизнестойкую плоть частной жизни во все времена поднимали руку, вооруженную кнутом, скальпелем, гусиным пером или факелом ауто-да-фе все великие преобразователи бытия, ее терзали и мучили, пытались переиначить, перекрыть во имя той или иной безумно-высокой идеи, а она, эта сочащаяся кровью плоть, корчилась, будто бы покорная воле вивисекторов, но на деле неподвластная им, и, когда они, богохульствуя, отступались, она со всхлином облегчения расслаблялась и начинала старательно затягивать рубцами нанесенные ей ужасные раны. Никому еще, ни Цезарю, ни Савонароле, не удалось заставить эту жизнь стать ипою, чем она может стать, и, когда идея, облаченная в броню, обутая в кованые сапоги, втаптывала ее в землю, размазывала в грязную слизь, эта жизнь жила глубинной верой, что рано или поздно безумство очередного великого замысла схлынет, ибо замысел замыслов заключен в ней самой...

Но не для такой жизни родился Эрнесто Че Гевара: сама неспешность этого бытия, исполненного каждодневного, пусть скромного, величия, казалась ему несчастной и губительной. Он уверен был, что это еще не настоящая жизнь, что настоящая, быстрая жизнь у него еще впереди. В этом он не ошибся.

6

В те июньские дни 1955 года, когда Ильда, счастливая новым сближением со своим запальчивым другом, строила планы на ближайшие десять лет, Геваре светили уже другие маяки: в его жизнь шумной и напористой толпой вошли кубинцы. Если верить Рикардо Рохо, первое знакомство его с кубинским зарубежьем произо-

шло в конце 1953 года, когда, отослав письмо Альберто Гранадосу, заложив медицинские книги и освободившись, таким образом, ото всех обязательств, он сидел в кофеевнике и слушал, как за соседним столиком кубинцы-изгнанники рассказывают впечатляющую историю о неудачном штурме казармы в кубинском городе Сантьяго.

«Их было около тысячи, — говорил один из них, самый горячий, — а нас всего 165 человек. Все наше оружие уместилось в двух чемоданах: мелкокалиберные винтовки, пистолеты, охотничьи ружья, патронов тоже было в обрез, а у них там, в крепости, — пулеметы и пушки. Мы вышли на рассвете, в четверть шестого, тремя группами: Абель со своими людьми занял Центральный госпиталь, Рауль — Дворец правосудия, на крыше он установил пулемет и ждал от основной группы сигнала. А мы, основная группа, двинулись на казарму, нас было девять человек пять вместе с Фиделем. Фидель послал восемь человек вперед, они без стрельбы захватили форпост, а остальные разделились на два отряда — штурмовой отряд и аррьергард. Хотели подойти к крепости с разных сторон. Но аррьергард заблудился на незнакомых улицах, а у машины Фиделя отказали тормоза, и на перекрестке мы столкнулись, в самом буквальном смысле слова столкнулись с патрульным джипом. Солдаты приняли нас за карнавалы, в городе шел праздник, но кто-то из другой нашей машины, не выдержав, выстрелил. Это предупредило казарму, и началась бойня... Надо было видеть, как падают наши ребята, один за другим. Батиста в тот день объявил, что тридцать два нападавших убиты, а позже, через неделю, оказалось, что восемьдесят. Значит, сорок восемь раненых были добиты, когда стрельба уже кончилась и мы стали отходить в горы...»

Волнение рассказчика было вполне объяснимо: со дня этой вылазки прошло всего лишь несколько месяцев. Эрнесто вслушивался в рассказ, пересыпанный кубинскими словечками, очень мешала непривычная для аргентинца дикая: кубинцы говорят по-испански с невероятной быстротой, проглатывая согласные и почти не смыкая губ, так что вместо «Гавана» у них получалось «Ауа-а». Когда эта долгая история кончилась, Эрнесто насмешливо (и со скрытой завистью) произнес:

«Ну ладно, ребята, все хорошо, а теперь расскажите что-нибудь ковбойское».

Реакция кубинцев, надо полагать, была бурной...

Что знал Эрнесто о Кубе в те времена? Для выходца из «страны травянистых корней» Куба была не менее экзотична, чем для нас, россиян, Ленкорань. «Куба, пенный цветок, искромётный сахар, жасминовый сад» — таким видел этот остров Пабло Неруда. Страна доколумбова рая, последняя цитадель Испании в Западной полушарии, носившая почетный титул «Неизменно верно-го острова»... Война за Независимость не коснулась ее берегов, и только в самом конце прошлого века испанское иго было там сброшено, а независимость провозглашена лишь в 1902 году. Республика, в которой ничего не происходит, веселый музыкальный бордель для североамериканских туристов, три с половиной тысячи километров просторных пляжей, страна, где правит диктатор-мулат, исповедующий языческий культ и решающий государственные вопросы по рекомендации личного колдуна... О каких битвах за свободу может идти речь в стране, где оппозицию возглавляет Партия ортодоксов? Лидер этой партии Чибас известен был всей Латинской Америке тем, что застрелился на трибуне после слов: «Товарищи ортодоксы, вперед!..» Пленку с его предсмертной речью и несли бойцы штурмового отряда, чтобы передать ее по радио — и воспламенить народ. Все это выглядело не слишком серьезно, во всяком случае на трезвый и скептический аргентинский взгляд.

Ильда уверяет, что все было не так, что это она впервые рассказала Эрнесто о событиях 26 июля 1953 года, получивших название «штурм казармы Монкада», по ее словам, он выслушал ее рассказ с уважением, без каких бы то ни было саркастических замечаний. Впрочем, она признает, что где-то при других обстоятельствах, но по тому же поводу Эрнесто мог произнести шутливую фразу о «ковбойской истории»: ей слишком хорошо известна была склонность Эрнесто подтрунивать над чужой горячностью, если эта горячность не затрагивала его убеждений.

Ближе с кубинскими изгнанниками Эрнесто познакомился, когда вместе с ними ездил по гватемальским деревням, занимаясь торговлей вразнос. Сказать, что он сразу проникся к этому народу любовью и уважением, означало бы погрешить против истины. Ильде он жаловался:

«Эти фанфароны невыносимы! Неужели они не могут говорить помедленнее и потише? Прямо глохнешь от них!»

Его смешила петушина манера кубинских молодых людей распускать хвост перед каждой встречной женщиной и осыпать ее цветистыми словесными пассажа-

ми («Небо души моей!», «Радость всей моей жизни!»), включающими настоятельное требование немедленно, тут же пожениться. Высмеивал Эрнесто и маниакальную приверженность кубинцев к гигиене: по окончании трудового дня все они бросались принимать душ (где это было возможно) и менять белье.

«И это будущие бойцы,— брюзжал Эрнесто, сам не слишком щепетильный в этом вопросе.— Что они будут делать в горах?»

Вместе с тем эгоцентризм и скепсис не помешали ему оценить веселую дружескую спайку кубинцев, их терпимость в расовом вопросе: аргентинцу, выросшему в расово однородном обществе, было в новинку то, что между «самбо прието» (негром с восьмой частью крови белого человека) и просто белым кубинцем могут быть самые сердечные дружеские отношения. Смешанная группа кубинцев являла собой в его глазах прообраз будущего общечеловеческого братства.

Задушевым приятелем Эрнесто стал кубинец по прозвищу Ньико. Ньико обожал своего вождя Фиделя Кастро и считал его благороднейшим и величайшим из кубинцев после апостола Независимости Хосе Марти. За Монкаду Фидель Кастро был осужден на 15 лет тюрьмы, но какие-то надежды на его досрочное освобождение (или побег) все же имелись, потому что по поводу и без повода Ньико лихорадочно повторял:

«Мы здесь ненадолго! Скоро Фидель нас позовет!»

Этот не остывший еще азарт участника живого революционного действия должен был вызывать у Эрнесто ревность и горечь, как у мальчика-калеки, к которому подбежал запаленный беготней сверстник. Охотно рассказывая аргентинцу о своей революции, Ньико даже не помышлял о том, чтобы кого-то постороннего в эти игры вовлечь. Ущербность положения Эрнесто заключалась еще и в том, что он, упорно сторонившийся и своей родины, и аргентинской политической эмиграции, был для Ньико и его товарищей просто и к е м, странствующим дилетантом от революции. Еще острее и горше ощутил Эрнесто свое одиночество, когда шумная стая кубинцев, повинувшись таинственному зову, дружно снялась с места и покинула Гватемалу незадолго до падения Арбенса.

Пишут иногда, что в Мексике кубинцы вышли на Эрнесто по чистой случайности. Кто-то из них страдал от аллергии, и Ньико привел его в больницу, где как раз дежурил ассистент Эрнесто Гевара. Это произошло в июне

1955 года. Встреча была бурной и радостной. Ньико сообщил своему аргентинскому другу, что Фидель и его брат Рауль освобождены по амнистии и в самом скором времени придут в Мехико. Вот тогда-то Эрнесто и попросил Ньико познакомить его с Фиделем.

Ильда рассказывает, что все произошло не так. Еще в феврале, когда в Мексике шли Панамериканские игры, Эрнесто, подрабатывавший фотографированием для Латиноамериканского агентства новостей, отдавал свою пленку на обработку в фотолабораторию, принадлежавшую кубинским эмигрантам, и пропадал там целыми сутками, к большому неудовольствию ревнивой Ильды. Однажды, преодолев свою гордость, перуанка пришла туда выяснить отношения — и была встречена кубинским «фанфароном», обрушившим на нее огневой вал предложений самого матримониального свойства. Ильда была ошеломлена таким натиском и не знала, что делать, а за портьерой слышались крики:

«Эрнесто! Где ты, Эрнесто? К тебе Ильда пришла! Ну ты счастливец, Эрнесто!»

Тот вышел, смеясь, и не сразу помог Ильде выпутаться из нелепой ситуации...

Есть и другие свидетельства того, что Эрнесто встречался с кубинцами задолго до освобождения Фиделя Кастро. Вот что рассказывает Рауль Роа, ставший впоследствии министром иностранных дел Кубы:

«Я познакомился с Че однажды ночью, в доме его соотечественника Рикардо Рохо. Он только что прибыл из Гватемалы и еще остро переживал поражение. Че казался и был молодым... Ясный ум, аскетическая бледность, астматическое дыхание, выпуклый лоб, густая шевелюра, решительные суждения, энергичный подбородок, спокойные движения, чуткий пронизательный взгляд, острая мысль, говорит спокойно, смеется звонко... Уже тогда Че возвышался над узким горизонтом креольских национализмов и рассуждал с позиций континентального революционера...»

Последняя фраза особенно примечательна: пришелец с далекого юга, добровольный беглец с собственной родины, человек, погруженный в историю, чуждый всякой партийности и отстраненный от локальных тираноборческих движений, Эрнесто искал свое собственное политическое лицо. «С позиций континентального революционера» и боливийская реформа Виктора Пас Эстенсоро, и гватемальский эксперимент полковника Арбенса, и «Движение 26 июля» доктора Фиделя Кастро Рус являлись

лишь фрагментами континентальной (и в конечном счете глобальной) борьбы. Такой подход был пугающе и притягательно нов для сторонников Кастро, поскольку придавал планам свержения диктатора-колдуна глубокий смысл и широкую перспективу. И в качестве проповедника континентальной идеи Эрнесто был для кубинцев интересен. Кроме того, он объявлял себя коммунистом, не будучи связан ни с одной компартией континента, и это окружало его ореолом странствующего полпреда коммунистического движения в целом, не опутанного никакими локальными партийными обязательствами, обладающего неясными полномочиями и, кто знает, быть может, подчиняющегося лишь указаниям из далекой Москвы. Известно было, между прочим, что он посещает Культурный центр Посольства СССР в Мехико, берет там книги на испанском языке («Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке»)... поведение почти вызывающее. Репутация опасного мятежника и подстрекателя, занесенного в черные списки ЦРУ, также работала на этот облик. Стремясь заинтересовать кубинцев, Эрнесто умело пользовался своим знакомством с марксистскими тезисами, трактуя их гораздо острее и проще, чем это делали пропагандисты Народно-социалистической партии Кубы: этот «безумный аргентинец» предлагал им не «теорию электричества в общем виде», а разомкнутые концы оголенного провода — и сам, казалось, был готов их сомкнуть.

Нет ничего удивительного, что младший брат вождя кубинских изгнанников Рауль Кастро, первым прибывший в Мехико после амнистии, был заинтересован рассказами о бледнолицем южанине и пожелал познакомиться с ним лично. Как это произошло, при посредничестве Ньико или на одном из собраний кубинских эмигрантов, на которых Эрнесто часто бывал, в точности не известно. Ильда пишет, что Эрнесто сам привел Рауля в свой дом и что они уже были по-дружески расположены друг к другу.

«Мне кажется, этот не такой, как все,— словно оправдываясь, сказал ей Эрнесто.— По крайней мере, говорит лучше других и не оглушает. А кроме того, он думает».

Рауль, невысокий, худощавый, светловолосый, был на три года моложе Эрнесто и показался Ильде похожим на мальчишку-подростка. Впрочем, держался он раскованно, был обаятельным собеседником, о старшем брате рассказывал с восторгом и, видимо, был безгранично ему предан. Разговоры его с Эрнесто носили характер взаим-

ного поддакивания, подбадривания и поощрения. Оба единокорны были в своем убеждении, что Латинская Америка — это не то место, где можно взять власть на демократических выборах (о парламентском пути к социализму тогда еще только-только начинали заговаривать), и что без вооруженной борьбы не обойтись. Рауль принес своему новому другу текст речи, которую его брат произнес в Чрезвычайном трибунале. Этот текст, распечатанный в ста тысячах экземпляров, озаглавлен был «История меня оправдает» и представлял собой развернутый политический памфлет, обвинявший диктатора Батисту в многочисленных преступлениях против нравственности и человечности.

«Однажды собрались 18 авантюристов, они решили ограбить республику, бюджет которой равнялся 350 миллионам. Один из них сказал другим: «Я вас назначаю министрами, а вы меня назначьте президентом...» Это были знакомые кубинцам когти. Народу были знакомы эти пасти, эти косари смерти, эти сапоги...»

Диктатура диктатуре, однако же, рознь, и Фиделю Кастро удалось не только подготовить в тюремной камере эту многочасовую речь, уснащенную цитатами и ссылками на философов и юристов, не только произнести ее и «поставить печать на жалкий лоб диктатора, дабы он носил ее до конца дней своих и всех времен», но и передать текст речи на волю, чтобы его сторонники рассылали ее по почте, разносили по адвокатским конторам, оставляли в приемных врачей и в холлах творческих ассоциаций.

Нет слов, Фульхенсио Батиста был мерзавцем, каких мало, но, должно быть, существовала черта, которую он не смел переступить, и амнистия участникам вооруженного выступления 26 июля, последовавшая через два года, это подтверждает. Нам, притерпевшимся к иной закрытости судебных заседаний, к иной степени мстительности наших собственных «косарей смерти» и к иным, покаянным речам, следует объективности ради учитывать эту разницу...

Встреча двух мятежников, почти сверстников (Фидель Кастро был старше Эрнесто на два года) состоялась в июле 1955 года, вскоре после Дня независимости Аргентины. Эрнесто, надо полагать, волновался и придавал этой встрече судьбоносное, как это принято теперь говорить, значение: ему выпал шанс войти в историю «вне конкурса», и упустить этот шанс означало поставить крест на всей своей жизни. Это волнение ощущается

даже в записях, сделанных им годы спустя, когда положение обоих участников встречи почти уравнилось и Че Гевара стал, наряду с Фиделем и Раулем Кастро, признанным вождем кубинской революционной войны:

«...Автор этих строк, подхваченный волной социальных движений, потрясающих Америку... получил возможность встретиться с другим американским изгнанником — Фиделем Кастро».

Здесь все было бы верно, если бы Эрнесто Гевару действительно изгнали из Аргентины и если бы он был увлечен волною, а не спешил за ней вслед. Впервые в своей жизни Эрнесто соприкоснулся с латиноамериканской историей, воплощенной в живом образце человеческой породы — и великолепно, надо сказать, образце. В крохотной эмигрантской квартирке, загроможденной раскладушками и матрацами (для тех кубинцев, кто не имел в Мехико другого пристанища), этому статному великану просто негде было повернуться. На Кубе его любовно называли «кабальо» («конь»), рядом с ним Эрнесто, вообще предпочитавший водить дружбу с людьми мелкорослыми, казался себе щуплым юнцом.

Сын галисийца-плантатора, владевшего тринадцатью тысячами гектаров сахарного тростника в кубинской провинции Ориенте, вождь молодежного крыла Партии ортодоксов, Фидель Кастро получил блестящее гуманитарное образование, великолепно владел речью, свободно переходя с изысканного «кастельяно» на простонародный кубинский диалект... После Монкады он стал фигурой национального масштаба, более того, любимцем своего островного народа, а кто был тогда Эрнесто Гевара? Кто его знал и любил?

Вместе с тем в лице Фиделя Кастро (тогда еще безбородом и оттого, на наш теперешний взгляд, ординарном) то и дело проглядывало что-то кроткое, даже робкое. Вот впечатление наблюдательной женщины, французской журналистки, которая имела возможность к нему присмотреться: «Он очень высок, и кажется, что он стесняется своего огромного роста... Он мне напоминает Христа на некоторых иконах, Христа с черными миндалевидными глазами, внимательными и всевидящими... Он очень скромн, даже застенчив, в нем, пожалуй, чувствуется какая-то беспомощность, хрупкость, возможно, это ощущение создает его детская улыбка...»

Эрнесто не мог и предполагать, что вождь молодых ортодоксов, наслышанный о теоретической вооруженности

«безумного аргентинца», тоже волнуется и многого ждет от этой встречи. Кастро уже тогда предчувствовал, что ему самому будет тесно в рамках тираноборческого движения, и искал новые политические ориентиры.

«Я познакомился с ним в одну из холодных мексиканских ночей». — почти в унисон Че Геваре, отрешаясь от конкретного времени и тем самым задавая взволнованно-эпический тон, рассказывает об этой встрече Федель.

Холод, разумеется, был относителен. Ильда тоже жаловалась на мексиканские холода:

«Мы привыкли к вечной гватемальской весне... Наша квартира на первом этаже была очень сырая, и, хотя дом был новый, стены покрылись плесенью. Пришлось купить небольшой обогреватель и множество одеял...»

Беседа двух молодых людей продолжалась десять часов: с восьми вечера до шести утра.

«Помню, наш первый спор был о международной политике», — пишет Эрнесто... А о чем еще они могли разговаривать, чем еще задыхающийся от волнения аргентинец мог заинтересовать робеющего вождя кубинских мятежников?

Эрнесто спешил: с первого же раза ему нужно было убедить своего собеседника, что он знает нечто лежащее за пределами знаний креольского революционера, ортодокса по воспитанию, бунтовщика скорее по складу души, чем убеждений. Это был звездный час Эрнесто Гевары, встреча с Кастро выводила его на историческую быстрину, на уровень личных решений, от которых зависит ускорение исторического процесса, и надо признать, что со своей задачей он справился: взволнованный и напористый его монолог произвел впечатление на Фиделя Кастро, которого трудно было бы упрекнуть в молчаливости.

На фотографиях, где они вместе, чаще всего один и тот же расклад: Гевара яростно говорит, Кастро упорно и сосредоточенно слушает. Слушает, потупив взгляд, склонив к плечу лобастую голову и вертя в пальцах то карандаш, то сигарету.

«Че имел более зрелые, по сравнению со мной, революционные идеи. В идеологическом, теоретическом плане он был более развитым. По сравнению со мной он был более передовым революционером».

Для Фиделя Кастро, дочитавшего «Капитал» до 370-й страницы (это его собственное признание), теоретические познания Эрнесто были огромны, и, надо думать, арген-

тинец использовал все свое красноречие, чтобы это впечатление не спугнуть.

«Фидель Кастро, — пишет Дэниэль Джеймс, — ценил острый ум своего «лейтенанта», но чувствовал, что его младший друг — догматик, самонадеянный и запальчивый. И других кубинских лидеров нередко раздражали его надменные интеллектуальные манеры, снисходительность по отношению к товарищам и претензии на идеологическое руководство кубинской революцией». Здесь, безусловно, неверно одно: если бы Фидель Кастро разглядел в Че Геваре догматика, вряд ли он доверил бы ему (по возрастающей) все самые ключевые функции в герилье и позднее в государстве: подбор кадров, политработу, карательные функции, планирование, индустриализацию и контроль над финансами. Это свидетельствовало о безграничном доверии Фиделя к Че Геваре — при том еще условии, что Че был на Кубе не своим. Именно на эрудицию, теоретическую подготовку и широту взглядов аргентинца Фидель Кастро и полагался. Встретились два романтика от революции, и каждый нашел в другом то, чего недоставало ему самому.

«Меня, любителя приключений, — писал позднее Эрнесто Гевара, — связали с ним узы романтической симпатии и мысль о том, что стоит умереть на чужом берегу за столь чистый идеал».

Эту фразу, навеянную, быть может, строками Пабло Неруды, посвященными именно кубинскому берегу («...пока не заспорили крабы о костях твоих сыновей...»), Эрнесто любил повторять. И в письме донье Селии, переданном через Рикардо Рохо в начале следующего, 1956 года, мы находим почти те же слова:

«Иду лбом на стену; но стоит умереть на иностранном пляже за такой чистый идеал».

Не так-то просто было аргентинцу, чужаку, добиться этого почетного права, и одного его согласия было недостаточно: Фидель, как и другие вожди националистов, избегал включения в свою бригаду иностранцев, пусть даже единомышленников, он, например, без колебаний отказал Патохо, также загоревшемуся желанием умереть на чужом берегу, и прямо заявил, что не желает интернационализации борьбы. Для Эрнесто было сделано исключение (справедливости ради надо признать, что не для него одного), и он был принят в команду как теоретик, выступающий под развернутым флагом континентальной коммунистической революции.

Вскоре Эрнесто решил познакомить нового друга со своей будущей женой, которая тогда еще снимала квартиру вместе с Лусилой. К назначенному часу Фидель прийти не смог: дела его задержали. Строптивая Лусила, в который раз уже убедившись, что у ее соседки ненадежные друзья, поднялась к себе и закрылась на ключ. И когда гость наконец явился, она отказалась выйти, хотя сам Фидель через запертую дверь ее уговаривал. Позже, правда, Лусила сменила гнев на милость и явила себя народу. Похоже, могучий кубинец произвел на венесуэлку впечатление: когда Ильда и Эрнесто, поженившись, переехали на улицу Наполес, Лусила часто виделась с Фиделем у молодых, выбирала его себе в провожатые и допытывалась у Ильды, как это ей удалось подцепить своего...

Ильде Фидель показался похожим на элегантного, respectable буржуазного туриста. Видимо, восторженные рассказы Эрнесто о кубинском «хефе максима» («верховном вожде») сделали свое дело, и молодая женщина слегка оробела в присутствии великого человека. Во всяком случае, первый вопрос ее был совершенно детским:

«Почему вы здесь? Ваше место на Кубе».

«Хороший вопрос, — похвалил ее, как примерную девочку, Фидель. — Я объясню».

Его объяснение продолжалось четыре часа...

Эрнесто еще ни разу не попадал в тюрьму и, должно быть, с мальчишеской завистью слушал Фиделя, когда тот, посмеиваясь, рассказывал о своем пребывании в темнице на острове Пинос.

«Не знаю, что сказал бы Маркс о таких, как мы, пленных революционерах. Обилие воды, электрический свет, еда, чистая одежда — и все бесплатно! Никаких переключек, спи сколько хочешь, загорай в шортах на галерее. Морской ветер, душ два раза в день... Питался спагетти с кальмарами, на десерт — итальянские сласти, натуральный кофе и сигара «Аче Упман». Все это из посылок и передач, которыми меня завалили...»

Вскоре кубинцы стали чуть ли не каждодневными гостями в квартире молодой четы на улице Наполес, 40. Приносили ром, сигары. По свидетельству Ильды, Эрнесто пил часто (в нашей литературе он представлен человеком пеньющим), и особых проблем это не вызывало, лишь однажды, когда в застолье смешались гаванский ром и мексиканский мескаль (настойка на кактусовом соке), последствия оказались невеселыми, и пришлось потом



долго выводить из организма токсины овощной и фруктовой диетой.

Как-то раз квартиру обокрали: унесли пишущую машинку, фотокамеру, медицинские инструменты, скромные украшения Ильды, все в доме было перевернуто вверх дном. Эрнесто был уверен, что это дело рук ФБР, агенты искали какие-то бумаги, а кража была лишь прикрытием.

«Это все янки, ихос де чингада, дети ошибки, как здесь говорят!»

Его самолюбию такая версия льстила, и он даже не стал заявлять о краже в полицию.

Если не ФБР, то, по крайней мере, агентура Батисты в столице Мексики должна заинтересоваться социальной жизнью молодой семьи: во второй половине 1955 года кубинские друзья Эрнесто Гевары развернули подготовку к высадке.

Фидель Кастро исходил из убеждения, что, если бы 26 июля 1953 года у него было еще 200 бойцов или хотя бы 20 ручных гранат, операция могла бы завершиться победой.

«Все наши расходы по подготовке штурма Манкады составили 20 тысяч песо. На миллион мы могли бы вооружить 8 тысяч человек и атаковать не один гарнизон, а 50 гарнизонов».

И, чтобы раздобыть этот миллион, Фидель отправился в Соединенные Штаты. В Майами, в Бриджпорте, в Нью-Йорке он встречался с состоятельными кубинскими эмигрантами и, как он сам позднее рассказывал, «просил милостыню для родины, собирал сентаво к сентаво ту сумму, которая необходима для завоевания ее свободы». В речах, с которыми он выступал перед кубинскими землячествами, мы не найдем коммунистических лозунгов: аудитория их не приняла бы, да и сам Фидель в то время был от них еще далек.

«Движение 26 июля» — это революционная организация чибасизма, уходящая своими корнями в массы. Мы всегда оставались верны самым чистым принципам, выдвинутым этим великим борцом...»

Сама внешность вождя тираноборцев внушала доверие состоятельным людям: элегантный темный костюм, строгий галстук, аккуратно подстриженные усыки — словом, олицетворение надежности. И даже то, что Фидель обещал «нечто большее, чем простую смену власти, чем свободу и демократию в абстрактных терминах», не отпугивало спонсоров «Движения-26»: в конце концов, всякий

вождь оппозиции сулит устроить такую революцию, какой еще не видел свет. «Состоятельные кубинцы, — пишет Сальгадо, — больше верили в падение Батисты, чем в социальную программу вождя повстанцев. Иными словами, когда они слушали, они думали о своем, видели лишь свое. Однако их расшевелила новизна системы, смелость намерений человека, геометрия стиля».

По мнению Ильды, поездка Фиделя в США была чрезвычайно успешной. Миллион песо ему собрать не удалось, он привез наличными лишь 50 тысяч долларов, однако созданные в Штатах комитеты поддержки обещали ему финансовую помощь и в дальнейшем. Эрнесто придерживался несколько иного мнения: ему представлялось, что Фидель слишком уж подыгрывает потенциальным жертвователям, в ущерб радикализму. Вообще Эрнесто очень ревниво относился к чибасистскому прошлому Фиделя, к его контактам в Соединенных Штатах и позднее открыто выражал в этой связи свое неодобрение...

Рождество встречали вместе: Фидель приготовил рис с черными бобами по-кубински (это блюдо называлось «мавры и христиане»), жареную свинину в чесночном соусе. Стол украшали виноград, яблоки, миндаль.

«Все было изысканно!» — заключает Ильда, выдавая тем самым свою печаль по тем радостям жизни, которые ее мужа совершенно не интересовали.

В тот вечер Фидель впервые приоткрыл завесу над своими планами высадки малыми силами... Однако на эту тему говорилось очень мало: рискованность предприятия была для всех очевидна.

«Лучше не думать об этом, — так рассуждал Эрнесто, представлявший себе ошетилившиеся артиллерией батистовские берега, — работать, тренироваться — и выбросить эти вещи из головы».

По правде сказать, он не любил многолюдные разноречивые сборища: ему казалось, что разноречия пожирают время и вызывают сумятицу в умах, тоже требующую времени, для того чтобы ее преодолеть. Из всех видов человеческого общения он предпочитал встречи людей, согласных решительно во всем: Ильда вспоминает, как его огорчил отказ Фиделя пить терпкий мате: все нашли, что он слишком горчит, но из уважения к хозяину дома потягивали из общей бокильи. В конце концов и «хефе максимо» отпил, притворившись, что его обманули. Эрнесто радовался как ребенок.

Собравшихся завораживала та уверенность, с которой Фидель говорил о проектах развития Кубы после победы, как будто революционная война уже триумфально завершена. Фидель верил, что честные специалисты придут к ним на помощь и будут добросовестно сотрудничать с революцией. В качестве примера он называл Фелипе Пасоса: видный экономист, президент Национального банка Кубы, он заслужил на острове всеобщее уважение тем, что оставил этот пост и отказался от всех почестей и привилегий в знак протеста против узурпации власти Батистой.

Наступила пора военной подготовки. Для этой цели Фидель Кастро отыскал опытного инструктора герильи, это был 63-летний полковник Альберто Байо, кубинец с испанским прошлым, участник гражданской войны в Испании. Байо вырос в Мадриде, окончил Пехотную академию, опыт противопартизанской войны он приобрел в Иностранном легионе на территории Испанской Сахары. В Мексике квалификация этого служаки нашла применение: он преподавал в Кадетской школе ВВС в Гвадалахаре, но ради освобождения своей родины отказался от службы и посвятил себя обучению бойцов бригады Фиделя Кастро. Сальгадо пишет, что Фидель встретился с этим одноглазым ветераном случайно, в каком-то мебельном магазине. Вряд ли это так: Альберто Байо был известен в эмигрантских кругах Мексики как убежденный сторонник и теоретик герильи, его инструкторскими услугами пользовались никарагуанцы, и пройти мимо такого человека Фидель не мог.

Эрнесто, никогда не служивший в армии и испытывавший к военному делу затаенный, тщательно прикрытый напускным пренебрежением интерес, с мальчишеским усердием включился в тренировки. Первым делом он установил для себя строгую диету, чтобы сбросить лишний вес: как он ни порицал кулинарные способности Ильды, семейная жизнь сделала его человеком довольно упитанным, а Фидель предупредил, что суда для экспедиции будут небольшие и придется выбраковывать толстяков. Именно по причине избыточного веса самому Альберто Байо было отказано в праве участия в экспедиции. Возможно, впрочем, это было не причиной, а поводом: Фидель рассудил, что бойцовские качества старика на седьмом десятке сомнительны.

Ежедневно в два часа пополудни прямо из госпиталя Эрнесто отправлялся в гимнастический зал, где учился

приемам дзюдо, каратэ и вольной борьбы (совершенно, впрочем, не пригодившимся ему в дальнейшем), и возвращался домой поздно вечером, жесткий, раздраженный, чуждый семейному уюту. Стремясь хоть чем-то быть ему полезной, Ильда делала ему массаж, пользуясь при этом специальными кремами для атлетов и с тревогой прислушивалась к его словам о том, что скоро у них начнутся лагерные тренировки на выживание.

С апреля 1956 года Эрнесто стал ездить за город на стрельбы. Как-то привез убитую им в горах индейку, Ильда приготовила ее на перуанский манер, гости хвалили. Нельзя сказать, что Ильда радовалась тому, что с каждым днем военные увлечения ее мужа становятся все более серьезными. В ее воспоминаниях мы найдем шутовское высказывание Фиделя:

«Ну, Че, тебе предстоит бой. Похоже, Ильда рассердилась».

Неудовольствие перуанки вызывало и то, что ради стрельбы по индейкам Эрнесто отказался от заграничной командировки в Африку по линии Всемирной организации здравоохранения: он был однодумом, неспособным отвлекаться на побочные цели. Все было подчинено теперь одному: подготовке к высадке на чужом берегу.

Для тренировок и стрельб в предместьях Мехико была арендована ферма под названием «Санта-Роса». На этой ферме, к изумлению окрестных жителей, собралось около сотни участников экспедиции, полковник Байо учил их стрелять из пулемета, изготавливать противотанковые мины и противобаррикадные бомбы, сбивать самолеты, камуфлироваться и маскироваться, пересекать незамеченными сельву и строить скрытые коммуникации... этот перечень мог бы продолжить любой, еще менее, чем Энрике Сальгадо, осведомленный в тактике герильи автор, а кроме того, вся эта наука изложена на страницах книги Эрнесто Гевары «Партизанская война».

Эрнесто не без внутреннего сопротивления выполнял отведенную ему роль врача и даже составил инструкцию по оказанию первой помощи раненым, которую Ильда перепечатала во множестве экземпляров. Нет, он не отказывался ни от каких обязанностей в герилье и проявлял при этом истинное рвение. Многие товарищи его вспоминают, что он с готовностью предлагал себя в качестве «индейского кролика» для тренировочных инъекций: бывали дни, когда Эрнесто бестрепетно сносил до сотни уколов в день.

Что касается Фиделя, то он почти не бывал на занятиях по военному делу, поскольку на это у него не оставалось времени.

«Сам же я, — пишет не без гордости Эрнесто, — занимался в то время и подбором кадров».

Это говорит о многом: как бы ни были обширны обязанности «хефе максимо», кадровый вопрос он мог поручить только самому доверенному человеку. Впрочем, Эрнесто сумел добиться расположения всех кубинцев. Товарищи по оружию (с которыми Эрнесто, кстати, был ровен, терпелив и приветлив) привязались к «безумному аргентинцу» и называли его фамильярно-ласково «Че»: так в Венесуэле и Колумбии зовут всех пришельцев с Ла-Платы. Словечко «Че» довольно многозначно: на юге Латинской Америки оно означает «Эй, ты! Послушай, парень!», на севере — «Ай, ерунда, плевать!»

«Ему был выдан аргентинский патент, превратившийся в собственное имя, — пишет Энрике Сальгадо, — «Че» представляло для него знак его родины, его расы, такой же специфический, как неумение танцевать танго и привычка пить мате... Прошлое осталось позади, новая жизнь проникала в кровь. Все равно что Савла перекрестить в Павла. Мы не знаем в точности, в каком возрасте Савл сменил имя и душу. Че Геваре не было еще и двадцати семи».

Что касается души, то, думается, она у Эрнесто переродилась намного раньше: в тот день и час, когда он написал короткую записку другу Альберто в Каракас. Он сам принял крещение в тот момент: сам отринул привязчивое прошлое и стал блуждающим апостолом новой, революционной веры. Ну а если говорить об имени, то с обезличивающей кличкой «Че» справился бы далеко не каждый: нужно было обладать самобытностью Эрнесто Гевары, чтобы обратить ее в грозный знак своего настоящего «Я».

Эрнесто уволился из госпиталя и остался без средств к существованию: зарплаты Ильды едва хватало на домашние расходы и на оплату жилья... Двойственные чувства владели этой женщиной: ни на минуту она не забывала, что ее супруг готовится к святому делу, и в то же время слишком часто эта подготовка походила на обычную мужскую блажь, вроде охоты или туристических походов. К этому все чаще примешивалась тревога: каждый новый уход Эрнесто мог оказаться последним. На ее вопрос «когда?» муж, глядя ей в глаза, чистосердечно отвечал: «Не знаю». И это была правда: о времени отплытия

знал только «хефе максимо», и никто иной не смел претендовать на это знание. Перед Монкадой все было точно так же: лишь накануне штурма соратники Фиделя узнали, куда они идут.

Вскоре отлучки Эрнесто стали продолжаться по несколько дней. Во время одной из таких отлучек Ильда прочитала в газетах о том, что Фидель Кастро и четверо его товарищей арестованы мексиканской полицией — по той причине, что у них не в порядке иммиграционные бумаги. В скором времени и Ильду вызвали в Федеральное полицейское управление на Пласа де ла Революсьон. К тому Ильда была готова: после гватемальской тюрьмы «ужасами мексиканских застенков» ее было не запугать, в этом смысле Эрнесто был совсем домашним ребенком. Спрашивали, разумеется, где ее муж. Отвечала:

«В провинции, занимается исследованиями аллергии».

На дальнейшие вопросы отвечать отказалась — в отсутствие адвоката, естественно. И окончательно все поняла, когда ввели кубинца, ездившего на стрельбы вместе с Эрнесто. То, что он кубинец, стало ясно, едва он заговорил: бесполезно было отпираться.

На другое утро мексиканские газеты объявили, что раскрыт обширный международный заговор, во главе которого стоит доктор Фидель Кастро Рус, и что на загородном ранчо арестованы два десятка командос, среди которых был назван и аргентинский врач Эрнесто Гевара Серна. Это был провал, с какой стороны ни посмотри, а для батистовской береговой артиллерии — недвусмысленное указание, что самое время расчехлять пушки.

«Две мексиканские полицейские организации, находившиеся на содержании Батисты, — рассказывает об этом происшествии Эрнесто, — охотились за Фиделем Кастро. Одна из них добилась успеха и задержала его. Однако она каким-то чудом не расправилась с Кастро сразу после ареста. Несколько дней спустя были схвачены многие другие участники движения. Полиция захватила также нашу ферму, расположенную в окрестностях Мехико и все мы попали в тюрьму».

К этому Ильда добавляет, что у агентов Батисты имелись фотографии и анкетные данные всех участников экспедиции, они подстрекали мексиканскую полицию взять ранчо штурмом, но Фидель, желая избежать бессмысленного кровопролития, сам привел полицейских на ранчо, идя впереди, чтобы его люди не открыли огонь. Когда все это произошло, Эрнесто стоял на часах, а точнее, не стоял,

а сидел на дереве и смотрел на дорогу, по которой приближались полицейские джипы. В переднем он увидел Фиделя, но сразу заподозрил, что что-то не так, и спустился с дерева только тогда, когда ему просигналили, что «хефе» собирает всех.

Должно быть, от волнения Эрнесто допустил какие-то резкие выпады, потому что ему единственному из всех надели наручники, чего в Мексике не делают даже при аресте уголовных преступников. Так, в наручниках, в прозрачном дождевике и в старой шляпе, которая делала его похожим на огородное пугало, его и доставили в тюрьму.

Ильда слегка драматизирует ситуацию, утверждая, что в полиции ему угрожали:

«У нас твоя жена и дочка, если не заговоришь — мы будем их мучить».

А о чем тут было говорить, если почти вся бригада во главе с командиром оказалась за решеткой? Группа Рауля была в тот день в отлучке, за холмами, и избежала ареста. Не был арестован и полковник Байо: в открытом письме в газету он предлагал свою явку с повинной в обмен на освобождение учеников, но его предложение осталось без ответа.

Впрочем, у полиции к Эрнесто Геваре был особый интерес. От него требовали, чтобы он рассказал о международных связях герильи, — если рассудить, такой вопрос совершенно естествен в отношении аргентинца, который на мексиканской земле тренируется в лагере кубинских командос. Североамериканцы очень боялись коммунистического влияния на кубинскую активность и, видимо, настаивали на выяснении, не является ли Че Гевара агентом Москвы.

Как бы то ни было, его не отделили от остальных заключенных и не оказали никаких особенных почестей, а наручники сняли, когда арестанты начали охранников стыдить. На другое утро после ареста мужа Ильда, узнавшая через сотрудника аргентинского посольства (дальнего родственника дона Эрнесто Гевары Линча), что Че находится в тюрьме «Мигель Шульц», привезла ему чистое белье и еду. От готовой Ильдиной стряпни Эрнесто отказался и попросил впредь приносить сырое мясо и овощи, а готовить он будет сам.

В первую неделю им не разрешали видаться, а затем объявили свидания по четвергам и по воскресеньям. Каждый раз, прощаясь с близкими в тюремном дворе, люди Фиделя собирались в круг, обнявшись за плечи.

и хором пели Гимн 26 июля: «Аделанте, кубанос!» Это было очень трогательно, Эрнесто тоже пел, хотя и был совершенно лишен музыкального слуха. Как аргентинского гражданина с паспортом, его могли освободить в любую минуту, на этом настаивал его адвокат, бывший министр экономики в правительстве Арбенса, однако Эрнесто решительно отверг эту идею:

«Ни за что! Я хочу, чтобы меня считали кубинцем».

Наконец по ходатайству общественности (за кубинцев вступились бывший президент Мексики Ласаро Карденас, художники Сикейрос и Ривера) Фидель Кастро и 18 его бойцов были освобождены, за решеткой остались только Че Гевара и кубинец Каликсто Гарсиа: первый — добровольно, второй — потому, что у него были не в порядке иммиграционные бумаги. Чтобы уладить дело, Фидель был вынужден дать взятку мексиканским властям.

«Я сказал Фиделю, — пишет Че Гевара, — что из-за меня ни в коем случае не должна задерживаться революция. Я помню также решительный ответ Фиделя: «Я не оставлю тебя!» Так и вышло: пришлось потратить время и деньги, чтобы вызволить меня из мексиканской тюрьмы».

Нам, привыкшим воспринимать революцию почти религиозно, как великий и, несомненно, естественный, почти природный катаклизм, кажется странным даже предположение, что революция может задержаться, как отправление поезда из-за отставшего пассажира. Отношение Че Гевары к революции было, разумеется, личностным. Что же касается вызволения из заключения, которое было фактически добровольным, то рассказ об этом подан в библейском ключе не из желания исказить истину, а потому, что к моменту написания книги Че Гевары «Эпизоды революционной войны» (откуда и взят этот рассказ) все события, связанные с житием апостолов революции, прошли уже этап канонизации и по-другому изложены быть не могли.

Освобождение мужа было для Ильды радостной неожиданностью: она пришла с работы домой, а Эрнесто уже в детской, разговаривает с дочуркой. Сохранилась очень славная фотография: безбородый, молодой и красивый Че Гевара в тонкой шерстяной «водолазке», подаренной Ильдой, сидит рядом с кроватью маленькой Ильды Бетатрис и, нежно и отстраненно глядя на свою узкоглазую дочку, слушает, что она лепечет ему, протягивая свою игрушку... Эрнесто любил девочку, часто разговаривал с ней, читал ей свои стихи, и оба потом смея-

лись. Ильда пытается воспроизвести один из его обращенных к дочке монологов:

«Моя доченька, мой маленький Мао, ты не знаешь, в каком трудном мире ты будешь жить. Когда вырастешь, весь континент, а возможно, и весь мир будут бороться против большого врага — империализма янки. И ты тоже будешь сражаться. Меня, возможно, больше не будет, но борьба воспламенит весь континент».

Для русского уха, привыкшего к иным модуляциям, эти слова могут показаться натужными и надуманными, но надо знать психологию испаноамериканца, вкладывающего в свой «кастельяно» нечто большее, чем простой смысл.

Ильда рассказывает, что незадолго до экспедиции Эрнесто сочинил прекрасное стихотворение, озаглавленное «Ильде Беатрис, когда она вырастет». Он читал это стихотворение жене и дочери вслух, сам был растроган почти до слез, что с ним редко бывало. В стихотворении рассказывалась вся история его жизни: как он скитался по дорогам Америки без направления и цели, как остановился в Гватемале — узнать, что такое революция, и там встретил подругу, которая стала его поддержкой и вдохновительницей его идеалов. Оба они защищали маленькую страну, ставшую жертвой нападения империализма янки, а позднее, в Мексике, он решил пойти сражаться за другую маленькую страну, часть нашего континента, чтобы уничтожить эксплуатацию и бедность и помочь построить новый мир для своей Ильдиты Беатрис, «лепестка самой глубокой любви». Оригинал этого стихотворения не сохранился: Ильда рассказывает, что в Лиме у нее, ошеломленной известием о разгроме экспедиции, украли все бумаги и документы. Но даже ее пересказ передает впечатление трогательной и совсем еще детской игры в революционные куклы, которой предавался Че Гевара на пороге совсем не придуманной, а самой что ни на есть всамделишной гибели...

По мере приближения часа отбытия на Кубу внимание мексиканской полиции становилось все более нежелательным, и Фидель Кастро принял решение рассредоточить своих людей. Бригада была разделена на группы, разъехавшиеся по провинциальным городкам. Че Гевара оказался в Куаутла, где зарегистрировался в местной гостинице под фамилией Гонсалес. Конспирация, однако, была весьма относительной. Ильда с дочкой ездила к нему в Куаутла на три дня, и при этом произошел забавный

инцидент: портье стал допытываться, к которому Гонсалесу сеньора приехала, поскольку в гостинице их двое, а конспиративного имени мужа Ильда не знала...

Накануне высадки люди Кастро затаились в ожидании сигнала. Эрнесто вместе с Каликто Гарсиа поселился в частном доме, где в ту же ночь была совершена кража, и полиция стала обходить квартиры. Мулат Каликто своей внешностью и выговором мог натолкнуть полицию на какие-то размышления (хотя весь квартал наверняка уже знал, что в доме появился темнокожий кубинец), и, когда постучали в дверь, Эрнесто приказал ему лечь в постель и с головой накрыл его одеялом.

«Мой товарищ болен», — объяснил он полиции.

Вся эта засекреченность была совершенно младенческой и свидетельствовала лишь о том, что предотвращать экспедицию никто не пытался: для мексиканской стороны, притерпевшейся к такой активности, никакой опасности бригада Кастро не представляла, североамериканцы предоставили кубинцам возможность до поры до времени делать все, что заблагорассудится, что же касается агентуры Батисты, то у нее были коротки руки. Даже в эти последние дни, во всяком случае по субботам и воскресеньям, Эрнесто приходил домой поиграть с дочкой, в другие дни присылал с нарочным записки. Вот одна из этих записок:

«Ильда, податель сего — тупой гуахино. Не трать на него времени, только покажи ему девочку, чтобы он мог оценить качество поголовья. Большое объятие и маленький поцелуй от Че».

Этот самый гуахино и явился однажды в субботу, когда Че Гевара был дома, принимал ванну. Че собрал кое-какие вещи, не глядя на Ильду, пробормотал что-то насчет полиции, которая идет по следам, — и ушел из дому. Как оказалось, ушел навсегда.

7

За восемнадцать тысяч долларов Фидель Кастро купил у миллионера Вернера Грина деревянную прогулочную яхту водоизмещением пятьдесят тонн. У этого суденышка, способного принять на борт двадцать человек, было печальное прошлое: за три года до продажи она тонула, пришлось ремонтировать надстройку, менять оба двигателя, перестилать палубу. Фидель собирался приобрести

второе судно, но поджимало время, уходили деньги, и он решил обойтись одним.

Сложность заключалась в том, что отплытие необходимо было скоординировать с выступлением «Движения-26» на острове. Для этого в октябре 1956 года в Мехико с Кубы приезжал соратник Фиделя Франк Паис. Решено было, что в день отплытия в город Сантьяго-де-Куба, на адрес «Сан-Фермин, 38» будет послана телеграмма: «Книга распродана. Издательство». И ровно через пять суток в Сантьяго начнется восстание, а на месте высадки, недалеко от города Никеро, участников экспедиции будет ждать резервный отряд Кресенсио Переса, поскольку Фидель должен доставить ему оружие. Даже влюбленные, договариваясь о свидании, обеспечивают подстраховку на всякий случай, но все на свете великие предприятия готовятся крайне небрежно, и только всевышнему известно, почему большей частью они удаются. Безусловно, одной телеграммы было мало, нужна была радиосвязь, хотя бы на заключительном этапе экспедиции, ведь речь шла о морском путешествии в две тысячи километров — и о сотнях человеческих жизней. Кроме того, в бригаду Фиделя Кастро внедрился провокатор. По одним источникам, это был батистовский агент Венерио, по другим — личный телохранитель «хефе máximo» Рафаэль дель Пино, согласившийся за 15 тысяч долларов выдать всю группу кубинскому посольству. Че Гевара в своих «Эпизодах революционной войны» не проясняет ситуации:

«Стало известно, что в наших рядах имеется предатель, имя которого мы тогда не знали... Он выдал яхту и передатчик, хотя и не успел еще совершить «купчую».

Однако не провокатор был виною тому, что дела экспедиции сложились далеко не блестяще. Штурман Роберто, бывший лейтенант ВМФ Кубы, впервые увидел яхту лишь во время посадки и, доверившись судовому формуляру, определил скорость ее в девять узлов, в то время как на деле она не достигала семи. Так что во всех расчетах изначально оказалась заложенной ошибка: путь от мексиканских до кубинских берегов должен был занять не пять суток, а почти неделю. Более того, в распоряжении Роберто не имелось даже хорошей карты кубинского побережья, вдоль которого ему предстояло вести яхту на протяжении почти половины пути. Позже выяснилось, что никто из кубинцев — участников экспедиции совершенно не знаком с местом предполагаемой высадки, да и сам Фидель Кастро, уроженец провинции

Орьенте, где предполагалось начать боевые действия, на том берегу никогда не бывал.

Посадка началась в ночь с 24 на 25 ноября. В порт Туспан, где у причала стояла свежевывкрашенная яхта, бойцы Фиделя прибывали небольшими группами, по пять-шесть человек, но оживление на ночной пристани не могло ускользнуть от внимания мексиканской полиции, пришлось давать взятку и тут. Последними в порт прибыли Че Гевара, Каликето Гарсиа, штурман Роберто и еще двое бойцов. Задержка была вызвана тем, что таксист, которому не сразу объявили, куда направляются в середине ночи пятеро возбужденных молодых людей, испугался и высадил пассажиров на полдороге.

Фидель был расстроен прощанием с семилетним сыном, имелись у него и другие причины для грусти: всего лишь месяц назад он получил известие, что на Кубе скончался его отец. Остальные были полны самых радостных ожиданий. Никого не опечалило, что яхта осела почти по самый фальшборт, когда на ее палубе собрались все 82 человека. А над ночной рекой стоял туман, и море обещало быть беспокойным.

«Они были великолепной бригадой,— пишет Ильда, знавшая почти всех,— люди, исполненные радости жизни, но жизни, которая должна была хоть что-нибудь позитивное означать для человечества, и с такой чистотой цели, которая внушала уважение и уверенность в конечном успехе».

Увы, если бы чистая цель обеспечивала чистый выигрыш, мы жили бы в лучшем из миров.

В два часа утра с погашенными огнями и приглушенным мотором яхта двинулась по реке. Здесь, на палубе, Фидель впервые рассказал всем своим людям о планах операции. Бойцы слушали своего «хефе максимо» с понятным волнением: ведь они, восемьдесят два человека, бросили вызов тирании, в распоряжении которой имелись танки, пушки, самолеты, бронекатера и сорок тысяч солдат.

В открытом море яхту встретил сильный северный ветер. Перегруженное судно стало швырять по волнам, и все поняли, насколько серьезны были предупреждения портовых служб, не рекомендовавших выходить в открытое море.

«Мы лихорадочно стали искать лекарство от морской болезни,— пишет Че Гевара,— но так и не нашли. Были спеты кубинский гимн и Гимн 26 июля, все это длилось, наверное, не более пяти минут... Люди сидели с мучени-

чекими лицами, обхватив руками животы, одни уткнулись головами в ведра, другие распластались в самых неестественных позах...»

У Эрнесто начался приступ — более сильный и затяжной, чем в Паленке: там по мере удаления от влажного побережья удущье отступало, а здесь море, пахнущее гнилыми водорослями и свежей рыбой, кипело вокруг, от горизонта до горизонта, грузный кораблик тарахтел, как будто болтался в середине окутанной невидимым паром кастрюли, и надежда на глоток чистого легкого воздуха даже не брезжила.

Чтобы не ловить на себе соболезующие, а то и раздраженные взгляды, Че спустился вниз, в каюту, и лежал в темноте, глядя в потолок широко раскрытыми глазами и прислушиваясь к себе. Это было плохое начало. Проклятый недуг подстерег его в самый неподходящий момент и выставил на всеобщее обозрение как человека случайного, попавшего сюда не по праву, как досадную обузу, которой самое место — за бортом. Кто-то подошел к нему, наклонился, прислушался и крикнул:

«Фидель! Аргентинец Че умер!»

Сверху, с палубы, послышался мрачный ответ:

«Ну что ж, раз умер — выбросить его в море!»

Но тут внимание всех участников экспедиции переключилось на новое и очень неприятное обстоятельство: на полу каюты появилась вода. Вначале она просто хлупала под ногами, потом стала перекатываться от стены к стене, и стало ясно: вода прибывает. Принялись вычерпывать — бесполезно. Тогда начали в лихорадочной спешке выбрасывать за борт все, что попадалось под руку в темноте: консервы, канистры с горючим и с пресной водой. Лишь когда рассвело, обнаружили, что кто-то забыл завернуть кран в туалете, и забортная вода тонкой струйкой лилась на пол всю ночь.

Утром установилась прекрасная погода, можно было загорать на палубе, оба мотора трудолюбиво тарахтели, штурман Роберто держал курс на восток, забирая чуть севернее, чтобы обогнуть полуостров Юкатан, — и вот тут-то пришлось горько пожалеть о выкинутых за борт сокровищах. Правда, никто даже не предполагал, что плавание будет продолжаться восемь суток. В первые дни еще роскошествовали, получая по банке сгущенного молока на двоих. А на пятый день, когда только прошли Юкатанский пролив (предполагая, что приближаются уже к кубинскому мысу Крус, конечной точке путешествия),

было съедено все, за исключением ананасов — и то лишь потому, что они подгнили. Но никто, естественно, не сокрушался по этой причине: подошел расчетный срок, и на исходе пятого дня все толпились на палубе, напряженно вглядываясь в горизонт, где вот-вот должен был засиять огонь маяка. Но маяк как будто с головой ушел под воду. Ночью, устав от ожидания (и, должно быть, уже предчувствуя беду), штурман Роберто влез на крышу каюты, чтобы заглянуть за линию горизонта, и, поскользнувшись, упал в воду. Пришлось остановиться и дать задний ход. Яхта долго ходила кругами в темноте, наконец потерпевший подал голос — и все завершилось к всеобщему удовлетворению, если не принимать в расчет потерю драгоценного времени.

На рассвете 30 ноября стало ясно, что мыса Крус на горизонте нет и в ближайшее время не предвидится. Яхта двигалась вдоль острова, держась на некотором отдалении от берега, курс был верный, на восток, к мысу Крус, стали попадаться торговые суда под кубинским флагом, при их приближении все прятались в каюте и в трюме, наверху оставался только штурман Роберто.

Ближе к вечеру, слушая радио, узнали, что Фрэнк Паис начал восстание в назначенный час: его боевики с красно-черными нарукавными повязками «Движения-26» пошли на штурм полицейского управления Сантьяго, перекрыли баррикадами улицы, ведущие к крепости Монкада. Но помощь от Фиделя не поступила, сотня бойцов Кресенсио Переса осталась без оружия, и восставшим пришлось с боями и потерями уходить в горы. Смысла продолжать плавание к Никеро уже не было, и Фидель Кастро принял решение высадиться юго-западнее, в районе Белисе.

И, как это часто бывает после принятия окончательного решения, потянулись томительные часы. Весь день 1 декабря яхта, казалось, не двигалась вдоль цепочки островов Хардинес-де-ла-Рейна («Сады королевы»), а стояла в неподвижности на виду у всего света, как муха на зеркале, и только моторы звонко стрекотали.

«Астматический ход нашей скорлупки, — бережно трогая себя за больное, пишет Че Гевара, — сделал нескончаемыми последние часы похода...»

Батистовский берег, вопреки его предположениям, вовсе не был усеян пулеметными гнездами, прибрежные воды не кишели катерами береговой обороны, гидросамолеты не кружились над темными холмами, хотя у тира-

на имелись все основания быть готовым к встрече экспедиции. Наконец кубинский берег приблизился, охватил полнеба, и тут яхта дрогнула и встала как вкопанная: штурман Роберто посадил ее на мель. Случилось это в середине дня 2 декабря.

Поскольку до берега было далеко, спустили единственную имевшуюся на борту шлюпку, которую никто не догадался заранее проверить, и она тут же затонула, так как оказалась дырявой. Пришлось идти к берегу, поднявши над головами оружие, по горло в воде. А впереди их ждала вовсе не твердая суша. Берег в этом месте представлял собой типичное морское болото, обширное пространство, заполненное жидкой грязью и окаймленное мангровыми зарослями, под которыми тоже не было твердой земли. Там, в переплетении мангровых корней и стволов, из жижи торчали острые молодые побеги, между ними бегали мириады разноцветных крабов. «Пока не заспорили крабы о костях твоих сыновей...» Если бы штурману удалось провести яхту вдоль берега еще одну милю, бригада могла бы высадиться на песчаном пляже вблизи дороги, ведущей в сторону гор.

В наших книгах пишут, что «к месту высадки сразу же устремились батистовские катера и самолеты, они открыли по бойцам Фиделя Кастро яростный огонь...». Ничего этого не было: лишь один самолет «катилина» пролетел над брошенной у берега яхтой, когда люди Кастро уже шли по зарослям, все глубже забираясь в болото. Неверное направление, как пишет Че Гевара, «было выбрано по вине неопытного и безответственного товарища, назвавшегося знатоком здешних мест». Сам Эрнесто еще находился во власти изнурительного приступа, сложные запахи мангрового болота привели к возобновлению кашля и спазм, но времени на передышку не было: нужно было как можно дальше уйти от места высадки. Едва волоча ноги в вязкой грязи, спотыкаясь о бесчисленные корни, он брел как во тьме среди бела дня, и отряд казался ему «армией призраков, движущихся по воле какого-то механизма». Вот она какова, благоуханная Куба.

На другое утро Ильда, не дождавись газет, пришла на службу и сразу почувствовала неладное: все смотрели на нее с состраданием.

«Печальные новости», — сказал ей один сослуживец и подал газету.

На первых страницах сообщалось о том, что попытка высадки на кубинском берегу закончилась неудачей и что

все вожди экспедиции, включая братьев Кастро и аргентинца Гевару, погибли в бою.

Подруги утешали Ильду, говоря, что в таких ситуациях первым сообщениям верить никак нельзя: они непременно сфальсифицированы с целью посеять панику среди единомышленников, через несколько дней в газетах появятся уточнения, опровержения, а потом все встанет на свои места. Их опыту можно было доверять: повстанческие экспедиции с мексиканской земли предпринимались не впервые. Но Ильда с трудом понимала, что, собственно, ей стараются втолковать. Состояние ее было таково, что работать она не могла, и ее отпустили домой.

В тот же день сообщения о разгроме бригады Фиделя Кастро дошли до Аргентины. Дон Эрнесто бросился к телефону: его двоюродный брат адмирал Линч был в то время послом Аргентины на Кубе. Адмирал успокоил старика, рассказав, что, по имеющимся в посольстве сведениям, Че Гевара не убит, не ранен и не в плену. Дон Эрнесто сразу же позвонил в Мехико невестке.

А люди Кастро, целые и невредимые, еще двое суток шли по нескончаемому болоту, страдая от голода. Мексиканская армейская обувь, рассчитанная, должно быть, на ходьбу по сухой земле, задубенела в просоленной жиже, и ноги у всех были сбиты в кровь. Еле двигаясь по пояс в грязи, бойцы теряли даже то небольшое снаряжение, которое взяли, уходя с корабля.

«От моей военной амуниции, — меланхолично отмечает Че Гевара, — остались лишь винтовка, подсумок да несколько размокших патронов...»

В ночь с четвертого на пятое декабря добрались наконец до земной тверди, но останавливаться на привал не стали. Шли по меже между двумя плантациями сахарного тростника, на ходу ломая стебли и жуя, чтобы хоть немного утолить голод. Уже по этой дорожке из жеваного тростника их можно было без труда выследить, но никто об этом не думал. Было несколько обмороков от изнеможения. Набредли на запоздалого путника, местного жителя, и взяли его с собой в качестве проводника: Фидель Кастро хотел кратчайшим путем добраться до предгорий Сьерра-Маэстры, там, в диких зарослях, в каком-нибудь овраге можно было укрыться и передохнуть. Но осуществить этот план, не вступая в соприкосновение с противником, не удалось.

«Наш проводник был главным предателем и навел на след отряда, — записал Че в своем дневнике. — Отпустив

этого предателя, мы совершили ошибку: ненадежных людей из местного населения нельзя оставлять без надзора, когда находишься в опасном районе».

Такова особенность дневниковых записей: частности в них укрупняются и приобретают всеобщий смысл, заслоняя собою истинную реальность. Вряд ли можно было считать «главным предателем» перепуганного крестьянина, случайного встречного, наверняка не понимавшего, куда и зачем идет среди ночи эта толпа вооруженных, покрытых коростой засохшей грязи людей. Да и вообще предателем можно назвать лишь человека, который обязался служить общему делу, а потом перекинулся на сторону врага. Проводник же, увлекаемый в темноте все дальше и дальше от родного дома, был скорее пленником, чем единомышленником герильи, которая еще ничем не заслужила его сочувствия. Этот «тупой гуахиرو» наверняка ничего не слышал о борьбе доктора Кастро против тирании, да и сама тирания для него означала лишь горстку сельских жандармов в желтой униформе, с которыми можно было разговаривать как с кумовьями своих кумовей. Что же касается регулярной армии, то она в этих местах появилась лишь на днях, когда поползли слухи о том, что на берег высадились и шастают по болотам какие-то иностранцы... И вот, подгадала нечистая сила, вся эта орава вышла прямо на него.

Особенность видения Че Гевары заключалась в том, что он был на этом острове чужим и воспринимал всякого гуахиро прежде всего как жертву тирании, который с нетерпением должен ожидать, когда его освободят. Именно поэтому «предательство» проводника его поразило. Если бы он не был настолько отстранен от окружающей его реальности, настолько погружен в свой внутренний идеальный мир, если бы он попытался вникнуть в неоднородность того, что принято именовать словом «народ» (да еще народ, совершенно ему не знакомый), он бы понял, что держать всех ненадежных под надзором не в состоянии даже миллионная армия.

На рассвете 5 декабря отряд дошел до местечка с умильным названием «Алегрия-дель-Пио» («Святая радость»), и, не в силах двигаться дальше, люди стали устраиваться на привал. Место для бивуака было выбрано на редкость неудачное: низкорослый кустарник, в котором решено было дожидаться наступления темноты, со всех сторон окружен был открытым пространством тростниковых плантаций и полян, за которыми темнел густой

лес. Только полное незнание местности и смертельная усталость могли объяснить такой выбор: застигнутые в этой ловушке дневным солнцем, люди повалились на землю как подкошенные. Не были выставлены даже караульные посты.

Вообще с постами и нарядами в кубинской герилье порядка не было до самого конца революционной войны. Эрнесто в своих записях отмечает вечные споры о карауле; никто не хотел дежурить последним, с четырех до пяти тридцати утра, когда сон самый сладкий. «Вечно я! Сколько можно!» Бородатые герильерос обижались и протестовали, как подростки в туристических лагерях. Основываясь на опыте, Че Гевара позднее вычислил, что на каждый десяток спящих бойцов следует выставить двух часовых, которых, естественно, нужно регулярно менять. В кустарниках близ «Святой радости» укрылись восемь десятков бойцов: следовательно, караульных должно было быть полтора десятка. Но все, решительно все хотели спать.

Сон, однако же, оказался недолог. Брошенная на мели яхта стала для батистовцев надежным ориентиром.

К середине дня над плантацией появились военные самолеты «байбер» и авиетки, принадлежащие частным лицам: скорее всего, владельцы окрестных сахарных «центральных», люди состоятельные и от герильи не ждавшие ничего доброго, решили подсобить армии и заодно развлечься охотой на людей. На небольшой высоте самолеты кружили над зоной привала, все ближе подбираясь к цели, и, пролетая над кустарниками, покачивали крыльями, это был знак солдатам, двигавшимся цепью по земле: «Здесь они, вот они, здесь». По всей видимости, повстанцы считали, что они хорошо затаились, и с редким самообладанием принялись за завтрак: в неприкосновенном запасе у них имелось по одной копченой сосиске на двоих и по две раскисших галеты на каждого. И тут со всех сторон загрели пулеметные очереди.

«Мы были захвачены врасплох — и разлетелись, как голуби».

Описание первого боя в «Эпизодах революционной войны» — образец неплохой батальной прозы. Ощущение растерянности Че Гевара передает калейдоскопическим мельканием не связанных между собой эпизодов. Вот Хуан Альмейда, будущий команданте и начальник генштаба, допытывается: «Какой приказ был отдан? Какой приказ?» Никто ему не отвечает. Кто-то среди кустов

под грохот очередей во все горло кричит: «Тише! Тише!» Вот безымянный боец, настигнутый пулей, кровь течет у него из носа и рта, он кричит что-то вроде «Я умираю!» и стреляет, как безумный, в ту сторону, где нет никаких солдат... Вот еще один — бросил ящик с патронами и скрылся в тростнике. Пуля достала и самого Че Гевару: он почувствовал сильный толчок в грудь — и не смог удержаться на ногах.

«Лежа на земле, я окликнул Фаустино и сказал ему, что мне пришел конец (в действительности слова были крепче). «Это пустяки», — отозвался Фаустино, стреляя с колена из автомата на меже».

Фаустино оказался прав: пуля попала в патронный ящик на груди у Эрнесто и рикошетом задела его по шее. Но удар ошеломил аргентинца, и, упав, он никак не мог заставить себя подняться. Очень достоверно то, что в эту минуту ему вспомнился рассказ Джека Лондона о человеке, замерзающем в ледяной Арктике: это на Кубе, в середине солнечного дня. Рядом оказался еще один боец, с пробитыми пулей легкими, судя по прерывистому хриплому дыханию.

«Я ранен», — сказал он доктору Геваре.

«С полным безразличием я ответил ему, что тоже ранен».

Так написать о себе мог только честный человек. Вообще, рассказывая о себе, о своем поведении, Че Гевара никогда не унижается до патетических слов.

«Единственное, что я сделал в этой стычке, так это стратегическое отступление на полной скорости».

«Те немногие выстрелы, которые враг сделал по мне, я встретил не грудью, а совсем наоборот».

Наконец подошел Альмейда и уговорил Че Гевару подняться и двигаться дальше. Хуан Альмейда, низкорослый негр с широким носом и какими-то монгольскими усами, сочинитель романсов, имевший чрезвычайный успех у женщин, оказался надежным товарищем и отличным воином. Впрочем, о том, что нет лучше пехотинцев, чем негры и мулаты, говорил еще Сан-Мартин: в его Андской армии негры составляли почти треть, вот почему после Войны за независимость в Аргентине их почти не осталось.

Вместе с Альмейдой Че Гевара побежал в глубь тростника, где Фидель Кастро тщетно пытался собрать уцелевших людей. Сахарный тростник был довольно высок, и увидеть укрывшихся в нем можно было только с воздуха.

Самолеты, пролетая низко над плантацией, обстреливали бегущих из пулеметов, местами тростник уже полыхал, казалось, что со всех сторон подступают клубы дыма и языки пламени. Добежали до спасительного леса и долго шли между деревьями по странной красной земле, перемежавшейся каменистыми участками. Наконец беглецам стало ясно, что их никто не преследует. У одного из присоединившихся к ним бойцов в заднем кармане штанов была вскрытая банка сгущенного молока, липкая белая жидкость потекла по штанам, и это вызвало у всех приступ нервного смеха. Шли наугад, придерживаясь простой логики: если море справа, то идем на восток, в сторону Сьерра-Маэстры.

Наступил вечер, тучи москитов кружились над головами. Когда стало совсем темно, Эрнесто отыскал Полярную звезду, которая, как позже выяснилось, оказалась совсем не Полярной, и неожиданно для себя беглецы вновь очутились на открытом берегу моря. Очень хотелось пить, а пресной воды было мало. Эрнесто где-то читал, что если питьевую воду на треть разбавить морской, то она будет пригодна для употребления. Так и сделали — и в результате лишились питья, превратив его в мерзкое пойло. Тогда был пущен в ход ингалятор, с помощью которого пытались всасывать ночную росу из углублений в камнях. Наконец, измученные усталостью, голодом и жаждой, забрались в лесную чащу и легли спать, сгрудившись в кучу и не думая о безопасности.

Как стало известно впоследствии, итоги боя были печальны: из восьмидесяти двух участников экспедиции уцелели двенадцать, два десятка попали в плен. Это был настоящий разгром. К чести уцелевших, надо сказать, что ни один из них и не помышлял о капитуляции. Те пятеро, среди которых были Гевара и Альмейда, добравшись до Сьерры и укрывшись в пещере, дали друг другу клятву сражаться до смерти. А когда наконец все двенадцать собрались вместе («Такова была наша воссоединившаяся революционная армия», — пишет Че Гевара), Фидель Кастро сказал:

«Считайте, что мы уже выиграли эту войну».

Скитальческая жизнь отряда, без единой стычки с солдатами, продолжалась почти полтора месяца. Ночные походы по скользким от обильной росы тропинкам чередовались с тяжелым сном в дневную жару... На одном месте больше нескольких часов не задерживались: благо, что в зеленых горах Сьерра-Маэстры было множество укромных ущелий.

Че Гевара переживал тяжелые времена. Положение его в отряде оказалось совсем не таким, на какое он рассчитывал. Астма все не отпускала его, адреналин кончился, на марше он шел в самом хвосте, и отряду приходилось к нему подлаживаться.

Товарищи рассказывали:

«Когда у Че Гевары приступ начинался, он не жаловался, просто останавливался и садился на вещмешок... Когда у него не было ингалятора, он для облегчения выпивал самогонки «майко». Но от этого у него сильно болела голова».

Имелся еще один способ обмануть астму: по совету местных жителей Эрнесто курил самокрутки из сухих листьев душистого горошка. Но все это было не то: нужно было что-то делать с самим собой, со своими нервами, со своей волей. Ведь, как учит Монтень, «вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наше малодушие или слабость делают их такими...» Хорошо, однако же, рассуждать, не учитывая при этом, что «вещь» (в данном случае врожденный недуг) может быть заключена в тебе самом...

Очень трудно было подыматься в гору во время приступа и еще мучительнее сознавать, что ты — худший в отряде, помеха, обуза, объект раздражения: «Навязался на нашу голову...»

Доходило до того, что его подталкивали в спину, приговаривая с грубоватой снисходительностью, за которой скрывалась досада:

«Иди, архентино де мьерда, дерьмовый аргентинец! Ты будешь идти или тебя надо лупить прикладом?»

Обо всем этом с простой откровенностью Эрнесто пишет в своем дневнике.

«Браня меня, гуахиро Креспо тащил свое тучное тело да и мое впридачу, вместе с вещами, по трудной горной тропе и под проливным дождем...»

А вещей у каждого, причем жизненно необходимых, в вещмешке за плечами было порядочно, до 25 килограммов, и пройти с этим грузом за ночь требовалось 30—40 километров, да не по шоссе, а по горным тропинкам: то вверх, то вниз.

Остановились на ночлег в хижине крестьянина-горца. Че лежал на полу, Фидель Кастро, выдавая себя за офицера правительственной армии («Что за служба, таскаешься по горам, ни тебе помыться, ни побриться!..»), с неподражаемым юмором отвечал на вопросы хозяина.

«Мое физическое состояние не позволило мне насладиться диалогом между Фиделем и хозяином, который давал ему советы и рассуждал по поводу того, почему этот парень, Фидель Кастро, постреливает в горах».

В отличие от Че Гевары, который был убежден, что крестьяне просто обязаны безоговорочно и безусловно поддерживать герилью, «хефе максимо» воспринимал реальность сельской жизни значительно более объективно: это была среда, в которой он вырос и которую хорошо понимал.

«Вначале мы были своеобразным злым духом Сьерра-Маэстры, потому что действительно нас никто не приглашал укрыться в горах и превратить их в поле боя вопреки воле местных жителей. Жители Сьерры — люди добрые и благородные, но на нас они смотрели со страхом, так как ждали, что потом последуют репрессии, а они были совершенно бессильны перед армией... На нас они смотрели как на людей с ружьишками (а нас всего-то было 10—12 человек), говорящих им о земле, а сами думали про себя: «Может быть, люди они и неплохие, но занимаются ерундой».

Обтрепанная одежда повстанцев, разбитая обувь, даже тот специфический неприятный запах, который исходил от их пропотевших лохмотьев и по которому можно было легко отличить их от заблудившихся в горах правительственных солдат (так что оба, доктор Кастро и неграмотный горец, лукавили), — все это вызывало у крестьян Сьерры смешанное чувство страха и сострадания. Крестьяне мирились с тем, что эти «форахидос» (чужаки, пришельцы), проходя через их огороды, рвут грейпфруты, бананы, обламывают кукурузные початки: что поделаешь, и чужакам надо есть. Нередко люди Фиделя, повстречав крестьянина, вручали ему деньги и просили купить в местной лавочке или таверне продукты, и в мемуарах не приводится ни одного случая, когда бы гуахи-ро, прихватив деньги, сбежал, хотя размеры закупок могли вызвать подозрение у самого тупоголового сельского жандарма. Вот один из таких партизанских заказов: шесть фунтов шоколада, двадцать фунтов неочищенного сахара, десять банок сгущенного молока, четыре пары ботинок, изрядное количество сигарет... Тот парень, который выполнял это поручение, несомненно, рисковал головой...

С помощью крестьян удалось достать для Че Гевары немного адреналина. Но и долгожданное лекарство ненадолго принесло облегчение: слишком велики были влаж-

ность и духота, пропитанная запахом цветов. Даже мешковина, из которой был сделан гамак, своим ворсом вызвала аллергическое раздражение, и Эрнесто вынужден был спать на земле, даже не заикаясь о своем особом праве на брезентовый гамак: брезентовых гамаков не хватало.

Стало ясно, что на горный пик Туркино, куда Фидель вел свой отряд, Геваре не подняться. Решено было оставить больного, дав ему в сопровождение одного из бойцов, человека робкого и не слишком сильного физически, носившего прозвище Учитель. Че Гевару не бросали на произвол судьбы, ему было оставлено все, что нужно для выживания в безлюдной местности: соль, растительное масло, консервы, компас.

«И начались мои самые горькие десять дней в Сьерре. Хватаясь за стволы деревьев и опираясь на приклад винтовки, я шел вместе с трусливым бойцом, который вздрагивал всякий раз, когда слышалась стрельба, и испытывал нервный шок, стоило мне не удержаться и кашлянуть».

Может быть, именно во время этого печального восхождения и произошел решающий перелом: осознав до конца, что поддаваться недугу — значит обречь себя на окончательный личный крах, Че Гевара нашел в себе душевные силы и поднялся выше болезни.

«Теперь воля, которую я так любовно отшлифовал, будет понукать мои хилые ноги и усталые легкие. Я заставлю их работать...»

Эти слова из прощального письма родителям, написанного десять лет спустя, свидетельствуют о том, что шлифовка воли не прекращалась до конца дней Че Гевары и в этой битве изнуренного недугом человека с самим собой ни одна победа не могла быть названа окончательной...

Сама по себе бездомная жизнь герильеро совершенно его устраивала.

«Жилище партизана — под открытым небом. Он вешает гамак, а над ним натягивает кусок непромокаемого нейлона; под гамаком он укладывает вещмешок, винтовку и патроны.... Иногда, учитывая возможность внезапного нападения, он спит, не снимая ботинок... Лучше иметь брезентовый мешок, который можно купить на рынке, или рюкзак, изготовленный шорником... Следует также иметь пальто. Сгущенное молоко является вкусным и ценным продуктом в связи с большим содержанием сахара..

Таблетки от болотной лихорадки, средство от расстройства желудка, различные порошки для борьбы с паразитами... В местах, где имеются ядовитые животные, рекомендуются сыворотки... В трубке можно курить и остатки сигар, и табак из окурков... Книги, содержащие жизнеописания героев, история и география данной страны...»

Облик партизана, экипированного подобным образом и закупающего продукты в тавернах, а рюкзаки у ремесленников, несколько отличается от привычного нашему представлению, но именно таким — полностью независимым от внешней среды (за исключением, естественно, магазинов и рынков) и несущим на своих плечах весь свой мир — видел истинного герильеро Эрнесто Че Гевара. Есть два вида глубинной детской радости, ощущения счастья; первый можно выразить словами: «Я в уютном убежище, здесь тепло и все свои, чужой к нам не подберется», а другой — «Я один, и никто мне не нужен, у меня есть все, в чем я нуждаюсь». Счастье Че Гевары — второго вида; погруженный в свой внутренний мир и отчужденный от окружающей его реальности, Че Гевара, по сути дела, нигде не был дома. Идея дома как убежища от внешних опасностей не привлекала его: самая грозная опасность была заключена в нем самом. Он был странником по природе и все свое носил с собой:

«Мой походный дом — на двух лапах...»

Именно поэтому одиночество его не страшило. Испытание крошечным одиночеством на склонах горы Туркино (трусливого учителя в расчет можно было не брать) благоговорно сказалось на душевном состоянии Че Гевары: медленно, нехотя астма стала отступать. Впрочем, здесь сказалось и то, что, чем выше он поднимался, тем легче дышалось. Эрнесто понял, что может преодолеть себя, он вновь обрел уверенность в своих силах...

Письмо его к Ильде, написанное в те дни, искрится юмором и воинственным оптимизмом:

«Дорогая старушка! Здесь, в кубинских джунглях, живой и кровожадный, я сочиняю пламенные строки, вдохновленные Хосе Марти. Как истый солдат (я в грязи и в лохмотьях) пишу тебе это письмо на оловянной тарелке с оружием под боком и (нечто новое) с сигаретой в зубах».

А Ильда в это время была в Аргентине. После первого (и, как выяснилось, ложного) сообщения о гибели мужа она переехала с дочкой в Лиму, и там ее настигло новое известие о разгроме отряда Фиделя Кастро... А затем

родители Эрнесто прислали ей билет на самолет до Буэнос-Айреса. В аэропорту ее встречали дон Эрнесто, донья Селия, младший брат Че Гевары и его сестра.

Сохранилась фотография: донья Селия, держа на руках внучку, одетую в провинциальное пышное платье с оборочками, что-то гневно втолковывает невестке, рядом с нею Ильда, в старообразном демисезонном пальто, выглядит пожилой дамой. За спиной жены — дон Эрнесто, лысоватый, в очках, при галстукке, пытается вставить хоть слово в возбужденный монолог супруги. Первые его слова при встрече были: «Мы получили записку от Чанчо!» Ильда с жадностью вчитывалась в короткий текст на клочке бумаги:

«Я истратил две жизни, осталось пять. Верую, что бог — аргентинец».

Ей не нужно было объяснять, что Эрнесто пишет о своей феноменальной, кошачьей живучести. А у кошки семь жизней, это всем известно в Испаноамерике. Значит, он был ранен дважды — и уцелел...

Ильда прожила в Аргентине месяц. Позволила донье Селии окрестить «китайночку» — в целях укрепления в душе старой сеньоры родственных чувств. Увы, религия в глазах доньи Селии имела лишь процедурный смысл. Предметом ее страстной веры и почти религиозного поклонения был теперь ее старший сын, ее первенец, сражающийся за счастье народов. Вообще в этом доме Че стал культом, все разговоры велись только о нем. Дон Эрнесто готов был бесконечно предаваться воспоминаниям о том, что Чанчо с детских лет проявлял себя вождем, главарем. Любящий отец пылал воинственным азартом и клялся, что если Чанчо попадет в плен, то он сам, хоть и старик, отправится в Гавану на корабле и отобьет своего сына...

В Че Геваре дремал поэт. Он один из первых (если не самый первый) среди участников экспедиции почувствовал, что молодая герилья нуждается в своей легенде: это отвечало его глобально-историческому, эпически цельному видению и пониманию мира. Давно уже отмечено, что мифотворчество как форма познания свойственно людям и народам, находящимся в восторженном состоянии духа и не ведающим противоречия между мыслью и образом. Че Гевара этого противоречия не знал. Сущность события и его облик были в сознании Че Гевары слиты воедино, и потому событие, преломленное через призму его личного восприятия, порой утрачивало объективные

признаки, растягивалось либо сжималось во времени и частность, деталь приобретала определяющий характер.

Так в его «Эпизодах» возникла история предателя Эутимио, несоизмеренная по времени, избыточная величавыми рефренами, символически укрупненными подробностями и трагически завершающаяся под аккомпанемент небесного грома. Проводник Эутимио (что-то вроде нашего русского Ефима), темный деревенский мужичок, получил разрешение покинуть лагерь герильи — якобы для того, чтобы проведать больную мать, но батистовцы схватили его и предложили много денег за согласие убить Фиделя Кастро («Один гуахирос говорил, что ему за это убийство обещали 300 песо и стельную корову»). Действуя по заранее разработанному плану, Эутимио наводил на лагерь вражеские самолеты, всякий раз исчезая перед бомбежкой, и вновь появлялся как ни в чем не бывало, пользуясь безграничным доверием партизан. В самолеторазведчике он, как грозный демон предательства, пролетал над расположением партизан, с непостижимой для крестьянина точностью указывая места нанесения бомбовых ударов, — и снова возвращался в герилью, убедительности ради принося с собою трофеи: как-то раз он притащил даже пятьдесят банок сгущенного молока, с помощью этого излюбленного продукта герильи можно было без шума и бомбометания отравить весь отряд.

«В одну из последних ночей, перед тем как мы узнали о его предательстве, Эутимио заявил, что у него нет одеяла, и попросил Фиделя одолжить ему свое. В апреле того года в горах было холодно. Фидель сказал, что под одним одеялом все равно будет прохладно, и предложил спать вместе, чтобы можно было укрыться двумя одеялами. В ту ночь Эутимио имел при себе пистолет, который дал ему батистовский офицер, и гранаты, чтобы защитить себя во время бегства. Прежде чем лечь спать, предатель спросил меня, как организована охрана, и посоветовал «быть начеку». Мы ответили ему, что будем охранять Фиделя, сменяя друг друга. Всю ночь Эутимио был рядом с вождем революции, выжидая удобного момента, но так и не решился на это. На протяжении всей ночи судьба революции в значительной степени зависела от исхода борьбы в душе предателя, в которой желание иметь деньги и власть, вероятно, наталкивалось на угрызения совести или на страх перед расплатой...»

Попался изменник (как это и полагается в мифе) на совершенном пустяке. Вздумалось ему похвастаться

своим даром предвидения и рассказать в лагере вещей сон о гибели одного дезертира, про которую ему стало известно, когда он был у батистовцев.

«Позднее, когда предатель Эутимио был разоблачен, — пишет Эрнесто Гевара, — нам стало ясно, почему он видел этот сон. Но тогда рассказ Эутимио вызвал настоящую философскую дискуссию о том, сбываются сны или нет. Как отвечающий за культурно-просветительную и политическую работу среди бойцов, я стал объяснять, что это невозможно и что речь может идти о случайных совпадениях... Эутимио часто говорил нам с видом предсказателя: «Сегодня будут обстреливать Лома-дель-Бурро». И самолеты действительно обстреливали Лома-дель-Бурро, а он прыгал от радости, что угадал».

И наступила трагическая развязка.

«При обыске у Эутимио нашли пистолет, три гранаты и пропуск, выданный Касильясом... Упав на колени перед Фиделем, он сам стал просить заслуженной смерти. Этот человек как-то сразу постарел, на висках стала заметной седина, которой раньше не было видно. Эта сцена была чрезвычайно напряженной. Фидель гневно осудил его предательство. Эутимио признавал свою вину и просил лишь скорейшей смерти... Когда предателя спросили, есть ли у него какие-нибудь пожелания, он стал просить нас позаботиться о его детях. Мы исполнили свое обещание. Имя Эутимио упоминается лишь в этих воспоминаниях, оно забыто всеми, даже и его детьми. Под другой фамилией они ходят в одну из многочисленных школ, к ним относятся как и ко всем детям народа страны и готовят их для лучшей жизни, но придет день, и они узнают, что их отец был казнен революционной властью за предательство... Перед расстрелом предателя разразилась очень сильная гроза, пошел ливень и стало совсем темно. И в момент, когда блеснула молния и прогремел раскат грома, закончилась бесславная жизнь Эутимио Герры. Даже близко стоявшие от места казни товарищи не слышали выстрела».

«Придет день, и они узнают...» Это тоже характерно для мифа: возмездие, неумолимо преследующее детей за грехи отцов. Право, жаль становится бедного простака Эутимио, единственной уликой против которого, по сути дела, был выданный властями пропуск.

Великой легендой кубинской герильи стала сама фигура Фиделя Кастро, мудрого вождя, знающего, куда вести свой народ, и наделенного высшей провидческой силой.

Именно так, «рулевым и гениальным провидцем», называл своего брата Рауль. Такая легенда необходима была герилье, движению, ограниченному по составу и по возможностям, сильному именно тем священным трепетом, который оно внушает и друзьям, и врагам.

«Случилось все так, как и предполагал Фидель, — читаем мы у Че Гевары. — Предсказания Фиделя сбылись... Именно его умению предвидеть ход событий мы обязаны нашей высадкой, нашей борьбой, нашей победой».

Конечно же, эта легенда не была плодом усилий одного Че Гевары, это было коллективное мифотворчество. Интересно письмо группы командиров герильи, направленное Фиделю Кастро во время одного из боев: в этом письме «лейтенанты» призывают вождя беречь свою жизнь. «Чувство признательности за помощь в руководстве боем и Ваше непосредственное участие в боевых действиях... Нами движет заслуженное чувство любви и уважения к Вам, чувство любви к родине, к нашему делу, к нашим идеалам... Та ответственность, которая лежит на Ваших плечах, и те чаяния и надежды, которые возлагают на Вас вчерашние, сегодняшние и завтрашние поколения... Может быть, это сказано слишком смело и повелительно, но мы делаем это ради Кубы и во имя Кубы...» Говоря по правде, разгар боя — не самое подходящее время для такого пространного изъяснения чувств. Ясно и то, что этот текст, в составлении которого участвовал и Че Гевара, предназначен был для обнародования и никакой, помимо мифотворческой, цели не преследовал. Сам Эрнесто по этому поводу замечает:

«Это письмо, которое выглядит по-детски, не произвело на Фиделя никакого впечатления. Думаю, он вряд ли дочитал его до конца».

Иными словами, пребывая в восторженном состоянии мифотворца, Че Гевара сохранял аргентинскую трезвость и здравый скептицизм. Сама концепция континентальной революции, возросшая в сознании Че на почве испаноамериканского каудильизма, предполагала величественную фигуру вождя. На данном этапе, на этапе «кубинского эпизода», это был стеснительный, уступчивый, с глубоким почтением относящийся к общим теоретическим положениям Фидель Кастро.

«Аси вamos марчандо... Вот так мы и идем вперед. Впереди безмерной колонны — нам не стыдно и не страшно это сказать — идет Фидель, затем лучшие кадры партии,

а следом, так близко, что ощущается огромная сила. идет народ во всем его единстве...»

Поэтически восторженное состояние духа было характерно для всех убежденных участников революционной войны. Сознание, что ты подвергаешь свою единственную жизнь каждодневному риску во имя свержения тирании и торжества справедливости, окрыляло и настраивало на эпический лад. Воспоминания ветеранов Сьерры изобилуют эпизодами, которые напоминают притчи Нового завета. Так, Луис Креспо, тот самый гуахи́ро Креспо, который толкал Че Гевару в спину и называл его «архенти́но де мьерда», рассказывает, как однажды он сварил необыкновенный суп из фасоли и овощей и понес ведро то-варищам. «Каково же было мое удивление, когда этот суп Фидель приказал отдать пленным. Я бы не поверил этому, но Фидель сказал мне: «Луис, они нуждаются в этом больше, чем мы. Ведь мы уже привыкли к голоду». Подставьте вместо «Фидель» иное, вечное имя — и состояние духа гери́льи будет яснее...

И все же главным летописцем и мифотворцем гери́льи был Эрнесто Че Гевара. Именно его перу принадлежит выдержанная в житийном стиле новелла о двух девушках — связанных гери́льи, Клодомире и Лидии, принявших мученическую смерть: эти две прозрачные бестелесные фигуры, невесомо ступая по кубинским дорогам, продолжают свое литературное шествие уже много десятков лет. В пантеоне партизанской войны не могло, конечно, обойтись без простодушного, отчаянно храброго Пастушка, любимца всего отряда: поскольку сама гери́лья, и в дневниках Эрнесто не устает это повторять, есть живая легенда, законы жанра, общие для всех стран и народов, скорее всего, существуют и тут. Правда, этот кубинский Пастушок не очень похож на нашего белоголового псковского или витебского подростка: судя по фотографиям, Пастушок Сьерры был широколиц, редкое, несколько даже полноват и имел внешность деревенского хитроуана. Че Гевара, не слишком хорошо знавший психологию простонародья (в этом он заметно уступал Фиделю), тщательно записывал рассказы Пастушка о его невероятных приключениях, пока не обнаружил, что они противоречат элементарным фактам и простой хронологии: то-то потешался про себя, должно быть, неистощимый выдумщик над доверчивым «архенти́но». В отряде Пастушок командовал «группой смертников» и действительно проявлял чудеса храбрости, так что выдумывал он исключи-

тельно ради собственного удовольствия. Рассказывают, что в конце войны Пастушок явился в казарму городка Кайбарьен с предложением к солдатам сложить оружие. Командант гарнизона наотрез отказался капитулировать, и тогда Пастушок сказал ему: «Ладно, потолкуйте со своими солдатами, а я пока тут подремлю».

Отдельные страницы «Эпизодов» написаны в суровом и ироничном хемингуэевском ключе, другие дышат эпическим благородством. Некоторые записи Че Гевара при последующей обработке превратил в законченные новеллы, выпадающие из общего хода повествования и свидетельствующие о несомненных литературных задатках автора. Такова новелла об убитом щенке, своеобразная проба пера, даже зачин ее говорит о том, что Эрнесто не чурался творческих радостей:

«Был ясный день, что не так уж часто случается в горах Сьерра-Маэстры...»

В дневнике такая запись появиться никак не могла. Сюжет новеллы заключается в следующем: за отрядом, шедшим по следам карателя Санчеса Москеры, увязался кормившийся при кухне добродушный щенок, его отгоняли прочь, он жалобно скулил, а нужно было соблюдать тишину, и Че Гевара приказал одному из бойцов, по имени Феликс, задушить проклятую животину... Преследование противника закончилось, тем не менее, безуспешно: оставив после себя еще одно пепелище, Санчес Москера ушел. Отряд остановился в уцелевшей хижине на привал...

«Вскоре был готов ужин: вареная свинина и немного юки. Кто-то затянул песню, подыгрывая себе на гитаре...»

Рядом вертелась хозяйская собака — в ожидании, когда ей кинут кость. Феликс погладил ее по голове и бросил взгляд на Че Гевару.

«Казалось, что на нас смотрел кроткими глазами... убитый щенок».

Но это, пожалуй, единственное в «Эпизодах» отступление подобного рода: возможно, набросок к ненаписанной повести или просто след сентиментального порыва...

В середине марта 1957 года в жизни герильи произошло знаменательное событие: в отряд пришло первое крупное пополнение. Новобранцев привез на своих грузовиках местный рисовод Уберт Матос, пути которого позднее, после аграрной реформы, решительно разошлись с революцией. Подкрепление составляло пятьдесят человек. Доставлено было и оружие:

«Перед жадными глазами бойцов, как на выставке, расположились орудия смерти. Три станковых пулемета, три ручных пулемета «маузер», девять карабинов М-1, десять автоматических винтовок «джонсон» и шесть тысяч патронов... Мне достался новенький ручной пулемет системы Браунинга. Свою старую винтовку «томпсон», которая никогда не выстреливала в нужный момент, я выбросил...»

Привезено было и белье с инициалами, заботливо вышитыми девушками Мансанильо: это обстоятельство приятно взволновало истосковавшихся по женской ласке мужчин.

Помимо нравственного облегчения («Мы не одиноки!»), у герильи появилась возможность подумать о серьезных наступательных операциях. Но прежде нужно было натаскать новобранцев.

«Новички, — добродушно пишет Че Гевара, — пока еще болеют детской болезнью — не привыкли есть один раз в день... В вещмешках у них много ненужных вещей. Когда же мешок натирает новичку плечи, то он предпочитает выбросить из него банку сгущенного молока, чем расстаться с полотенцем».

Отряд пополнения, под командованием капитана Хорхе Сотуса, был разбит на пять отделений, каждым командовал лейтенант. Это вовсе не означает, что в составе пополнения было пять кадровых офицеров: офицерские звания были присвоены равнинной организацией «Движения-26». Чтобы подчеркнуть отличие Повстанческой армии от вооруженных сил диктатора, решено было не присваивать младшим командирам скомпрометированные в глазах народа воинские звания сержанта и капрала (из сержантов вышел сам Батиста) и производить командиров наименьших самостоятельных подразделений в лейтенанты, отрядов — в капитаны, крупных соединений — в майоры (команданте), причем звание команданте принято было как высшее воинское звание Повстанческой армии. Так что товарищи с равнины поступили в этом вопросе строго по правилам, однако командование Сьерра-Маэстры считало, что офицерские звания новичков еще подлежат утверждению здесь, в горах. Это стало зародышем серьезной проблемы, поскольку у прибывших имелось, естественно, иное мнение.

«Командир Хорхе Сотус, — пишет Че, — двигался в походе медленнее всех и постоянно плелся в хвосте, подавая дурной пример своим людям...»

Эта запись свидетельствует прежде всего о том, что восхождение на пик Туркино не прошло бесследно и что «архентино де мьерда» отступил в безвозвратное прошлое. Че сумел преодолеть не только себя, но и предубеждение гериллы, репутация его восстановилась, и именно ему, специалисту по кадровой работе, было поручено принять новобранцев под свое командование. Однако Хорхе Сотус категорически отказался уступить свое место, аргументируя свой отказ простейшим и оттого очень убедительным способом: не вы меня назначали — не вам и смещать. Он соглашался передать свой отряд только лично Фиделю Кастро, которого в те дни в лагере не было. Че Гевара оказался в сложном и щекотливом положении: пусть и не в прямой форме, но почти открыто, дерзко смеясь в глаза, Хорхе Сотус давал понять, что не к лицу кубинцам ходить под началом какого-то там пришельца.

«В то время я, как иностранец, был еще обременен комплексом неполноценности и не захотел идти на крайние меры, хотя и видел большое недовольство в отряде... Мы были вынуждены принять меры предосторожности и поставить Рене Рамоса во главе пулеметного расчета на выходе из нашего лагеря, чтобы иметь гарантию — на всякий случай».

Ночью 24 марта в лагерь вместе с группой ветеранов Сьерра-Маэстры вернулся «хефе максимо». Появление при свете факелов вождя произвело впечатление не только на новичков, но и на самого Че Гевару: за время отсутствия Фидель и его товарищи договорились отпустить бороды — и явились в отряд великолепными грозными «барбудос».

«Большой была разница между бородатыми бойцами и новичками, одетыми пока еще в чистую униформу, с одинаковыми аккуратными вещмешками, с выбритыми лицами...»

И Хорхе Сотус дрогнул. Его отряд был разделен на три взвода, лишь один остался под его командованием, а два других перешли к Раулю и Альмейде. Таким образом, неуступчивый посланец равнины из капитанов был фактически разжалован в лейтенанты — и принял это безропотно: настолько внушителен был приход группы бородачей. В этом есть что-то непосредственное и мальчишеское: Фидель и его свита как будто специально находились в отлучке, отращивая бороды и поощряя друг друга («А тебе идет, тебе тоже!»), чтобы поразить



FIDEL CASTRO

Comandante en Jefe
del Ejército Revolucionario
de Cuba



RAMÓN FERRER

del Comité
Central

"Villalencos"

Estos son los dos hombres que tienen
más influencia política a la muerte y
"el mal" se "rejuvenece".

Escucha más (abajo) y te das

¡RECHAZAMOS COMRA KASTRO!

¡SENTID CIVICA CUBAN!



воображение новичков. Что же касается Че Гевары, то вместо капитанского звания он получил суровый выговор от вождя: за проявление нерешительности в конфликтной ситуации.

С этого дня все повстанцы, по примеру Фиделя, стали в меру своих возможностей обзаводиться бородами. К великому огорчению Че Гевары, у него никак не росла настоящая борода (впрочем, и у Рауля тоже), да и на груди растительности было маловато: таких, безволосых, на Кубе называют «лампино».

«Смотри, негро, — с обидой говорил Че своему другу Альмейде, — у меня на теле мало волос, но зато вот — два шрама, на шее и на груди. Разве это не мужская примета?»

Дело было, однако, не только и не столько в бороде. Величественное явление Фиделя с его «барбудос» еще раз подтвердило, что короля играет свита, безграничное почтение, которым был окружен Фидель, собственно, и делало его вождем. А Че Гевара был, в сущности, безроден и беспросветно одинок. Как ему нужны были люди, которые бы свято ему верили!

Чтобы подвергнуть новых бойцов испытанию, Че предлагал немедленно совершить нападение на какой-либо крупный военный объект, однако Фидель предпочел менее воинственный и менее рискованный способ: он повел свою армию в тренировочный поход по горным кручам. Скрепя сердце Че был вынужден признать, что такой метод проверки на выносливость тоже эффективен, и позднее, повторяя прошлое (таков был ретроспективный склад его души), применил этот метод в Боливии.

8

В конце мая 1957 года произошло самое крупное и самое кровопролитное сражение за два года революционной войны: бой под Уверо. В этом бою с обеих сторон участвовали 133 человека, общие потери (убитыми и ранеными) составили 48 человек. Любителю военных мемуаров, претерпевшемуся к счету на тысячи (как будто только тысячи убитых и изувеченных придают историческим деяниям величие), можно лишь порекомендовать внести поправку на разницу в народонаселении наших стран и тем самым перевести эти данные в привычный масштаб.

Военный лагерь Уверо, с гарнизоном в 53 солдата, находился на берегу моря и с трех сторон окружен был кустарником, очень пригодным для окружения.

«Мы знали, — пишет Че, — что вокруг казармы нет особых укреплений, если не считать сваленных в разных местах бревен».

Из глубины Сьерры к лагерю вела извилистая горная дорога, по которой на ближнюю лесопилку возили лес. Лагерь Уверо очень мешал герилье: он прикрывал выход в долины провинции Орьенте, куда рано или поздно нужно было спускаться.

Бой продолжался три часа. Это была первая дневная атака Повстанческой армии — именно фронтальная атака, а не засада с поспешным отходом.

«О степени плотности нашего огня свидетельствует и то, что три из пяти попугайчиков, которых солдаты держали в казарме, были убиты».

Это обстоятельство настолько поразило воображение Че Гевары, что он включил критерий плотности огня (не обязательно прицельного) в перечень условий, необходимых для успеха фронтальных партизанских атак. Одна из пуль угодила в телефонный аппарат, и это тоже сработало на успех операции: гарнизон Уверо не смог вызвать подкрепления и самолеты. Четырнадцать солдат были взяты в плен, шестеро спаслись бегством.

Че Гевара, мысливший континентальными категориями, понимал скромность и ограниченность этого успеха, однако в его личной судьбе победа под Уверо сыграла кардинальную, поворотную роль. Комплекс иностранца, связавший его в действиях во время первого конфликта с равниной, вновь отбросил его на второстепенные позиции, и, уходя из Уверо, «хефе максимо» предписал ему остаться с ранеными — в качестве, естественно, врача. Раненых было семеро, из них четверо не могли передвигаться самостоятельно, еще двоих, совсем тяжелых, пришлось оставить в Уверо вместе с ранеными батистовцами. Когда в Уверо прибыли правительственные войска, оставленных герильерос не уничтожили, как это нередко случалось, один скончался в военном госпитале, другой вышел из тюрьмы на острове Пинос после свержения диктатуры. Этот урок обоюдного великодушия Че Гевара усвоил на всю свою оставшуюся жизнь — и впредь с ранеными и пленными поступал точно так же, как и Фидель: раненым оказывал первую помощь и оставлял их на месте боя, пленных же, после надлежащей

беседы и конфискации обуви, отпускал. Что любопытно: к местным крестьянам, пытающимся уклониться от сотрудничества с герильей, Че рекомендовал относиться куда строже, чем к пленным врагам, и не выпускать «предателей, доносчиков и изменников» из-под надзора.

Маленький отряд Че Гевары не мог уйти от места сражения далеко: неходячих раненых приходилось нести в гамаках, а местами просто перекачивать вниз по склону — от дерева к дереву. Вдобавок начались проливные дожди, и идти стало совсем сложно: даже крестьяне, согласившиеся за определенную плату выполнять роль носильщиков, не могли ускорить передвижение. Были такие дни, когда километр удавалось пройти лишь за три часа.

К счастью, батистовцы, напуганные атакой на Уверо, не рискнули углубиться в горы, и через несколько дней, решив, что его походный лазарет вне опасности, Че разбил лагерь и энергично занялся выхаживанием бойцов. Целью его было, не потеряв ни одного человека (а по возможности и пополнив состав), привести к Фиделю боеспособный отряд лично преданных ему людей. О своей хвори Че Гевара заставил себя забыть: раненые смотрели на него как на спасителя, как на свою единственную надежду, поддаваться приступам он просто не имел права.

Внизу, у побережья, гулял со своим отрядом Санчес Москера: под предлогом кары за укрывательство и пособничество он грабил крестьянские усадьбы, забирая все подчистую, от кухонной утвари до скота. Это, естественно, усилило приток новобранцев: молодые деревенские парни, озлобленные грабежами, уходили в горы и, поскольку до главной базы Повстанческой армии добраться было нелегко, оказывались в расположении лагеря Че Гевары. С каждым новичком аргентинец проводил политическую беседу, прощупывая степень решимости и раскрывая, в меру необходимости, цели повстанческой борьбы.

«Герильеро — это своего рода ангел-хранитель, спустившийся в данный район, чтобы всегда оказывать помощь бедняку и — в начальный период развития герильи — по возможности не трогать богатого... Идеал герильеро прост, бесхитростен и вместе с тем настолько ясен, что за него не колеблясь отдают жизнь. Почти для каждого крестьянина этот идеал — собственный клочок земли, возможность его обрабатывать и социальная справедливость».

Очень скоро Че обнаружил для себя, что попытки выйти за пределы этого идеала если не опасны, то невероятно трудны. Был такой день, когда в лагерь-лазарет явились сразу одиннадцать добровольцев. Среди них Че запомнил одного, звали его Бандерас. За недисциплинированность, проявленную буквально в первые же дни, и в порядке назидания остальным, не привыкшим к воинским порядкам, Че лишил Бандераса звания полноправного бойца и объявил сочувствующим, то есть лицом, которое имеет право оставаться в лагере, но без оружия. Че провел немало времени в беседах с этим строптивым гуахино, который казался ему сообразительным и любопытным, но на редкость наивным.

«До войны Бандерас обрабатывал небольшой, отвоеванный у леса участок земли, повисший почти на самой вершине горы, и его небогатое хозяйство состояло из землянки, нескольких поросят и собаки. Он страстно любил лес и крестьянский труд... Я говорил с ним о кооперативах, но он не очень меня понимал. Он хотел обрабатывать собственную землю своими собственными силами. Однако постепенно я стал убеждать своего бойца, что лучше работать на земле совместно и что применение машин может облегчить его труд и улучшить результаты. Вне всякого сомнения, Бандерас был бы сегодня передовым тружеником... Он погиб, так и не увидев нашей победы...»

Ох, вряд ли аргентинцу удалось убедить этого крестьянина, познавшего нехитрую радость работы на собственной земле: могучие машины и коллективный труд на крохотном участке, прилепившемся к склону горы, должны были представляться ему неумной фантазией горожанина. Че прощупывал психологию одиночника и, убеждаясь в том, насколько прочен инстинкт собственника, одновременно укреплялся в уверенности, что этот инстинкт может и должен быть преодолен путем бесед, воспитательной работы или, если потребуется, насилия. Здесь нет противоречия: многие революционеры столетия исходили — и исходят — из убеждения, что истинные цели революции могут существенно отличаться от тех, за которые человек поднимается на борьбу, и в этом вроде бы нет ничего предосудительного. Бандерас не подозревал о «тайной доктрине» герильи, а Эрнесто Гевара постоянно держал эту доктрину в уме и работал на будущее. Ему казалось, что Бандерас поддается гипнотическому воздействию революционной логики, между

тем как скорее всего хитрый гуахиро только поддакивал говоруну.

Лечение раненых и обучение новобранцев продолжалось около месяца. Че самозабвенно отдавался работе с живым человеческим материалом, он был и пропагандистом, и военным инструктором, и хирургом, и терапевтом, и даже зубодером (при этом вместо анестезии он прибегал к крепким словам, которые помогали его жертвам претерпеть адскую боль). Когда наконец пришло время выступить на соединение с Фиделем, в распоряжении Че Гевары было уже тридцать пять вооруженных бойцов. Обобщая свой личный опыт, он рекомендует такое «отпочкование» как вернейший способ выполнения герильи:

«Это похоже на пчелиный улей, который в определенный момент выпускает новую матку, и та с частью роя отправляется на новое место. Партизанский улей во главе с наиболее способным командиром остается в менее опасных местах, в то время как новая партизанская группа проникает на вражескую территорию, повторяя описанный уже цикл».

Право, есть что-то беззащитное, детское, трогательное в таком абсолютном доверии к личному опыту. Трогательное — и таящее обещание трагического конца...

На марше к отряду присоединялись все новые и новые добровольцы, и в основной лагерь Че Гевара привел уже 75 человек. Это была внушительная колонна, разделенная на три взвода, каждый во главе со своим капитаном. Сам Че Гевара мог также рассчитывать на капитанское звание, поскольку команданте в Повстанческой армии командовали более крупными соединениями, состоявшими из 100—150 бойцов. Однако появление Че Гевары с целым отрядом произвело на «хефе максимо» такое впечатление, что он присвоил аргентинцу майорское звание. Это произошло 26 июля 1957 года, когда командование Повстанческой армии составляло текст поздравительного письма товарищам из «Движения-26» на равнине. Когда дошла очередь до подписи Че Гевары и писарь обратился к Фиделю с вопросом, какое проставить звание, Фидель сказал ему:

«Пиши — команданте».

Друзья поздравили Че Гевару, а связная с равнины, ангел-хранитель Фиделя Селия Санчес, прикрепила к его черному берету майорскую звездочку...

Это был триумф иностранца, совсем недавно считавшегося в отряде «тормозом» и обузой: своими собственными руками Че вылепил свой крестьянский отряд, подобрал человека к человеку, отделил злаки от плевел и сумел внушить своим бойцам безграничную веру в свое верховенство. Если смотреть объективно, то не военными успехами (их пока еще не было), не пропагандистским гением (крестьяне уследить за логикой его не могли) и не талантом наставника аргентинец расположил сердца людей, а своим усердием медика, искренним и страстным желанием поставить на ноги раненых бойцов. Бывшие раненые составляли ядро его отряда, пусть небольшое, но свято ему преданное, и все остальные прониклись верой, что Че не бросит, не даст пропасть... Именно в тот период, когда в нем проснулся профессионал (а не идеолог-любитель), Эрнесто Гевара переломил свою судьбу — уже навсегда...

Отряд Че Гевары базировался у подножия горы, которую партизаны называли «Эль-Омбрито» («Человечек»): два камня на ее вершине напоминали маленькую человеческую фигурку. В задачу отряда входило «атаковать любую колонну противника, которая попытается вторгнуться в районы Сьерры». Речь шла, разумеется, не о лобовой атаке, а о засадах и разного рода обходных и отвлекающих маневрах — на выигрыш времени до подхода (или, напротив, отступления) основных сил Повстанческой армии.

«Можно провести аналогию между этой войной и известным танцем — менуэтом, — пишет Че Гевара, не умевший сделать в танце ни одного верного па. — Отряд-приманка втягивает врага в бой, а крупные силы все это полностью окружают по пять или шесть человек с каждой стороны...»

Удивительна склонность людей к теоретизированию в тех областях, где у них нет специальной подготовки: надо полагать, любому военному специалисту рассуждения Че о стратегии и тактике покажутся дилетантскими и ребяческими. Это не относится, впрочем, к чисто практическим советам, которых в книге «Партизанская война» множество.

«Одним выстрелом из ружья 16-мм калибра, заряженного картечью, можно поразить цель на площади до 10 кв. м. Например, можно уничтожить и ранить оккупантов, едущих в грузовой машине, и вызвать, таким образом, общее замешательство... Надо наносить

удар по головной машине, тогда среди солдат станут распространяться слухи об имеющихся там огромных потерях».

Горя желанием ввязаться в бой внизу, на равнине, Че Гевара тем не менее усердно налаживал оседлую жизнь в своей зоне и проявлял при этом незаурядные администраторские способности. Одной из главных его забот было обеспечение продовольствием. Окрестные горы, кишевшие птицами и буквально гудевшие от обилия диких пчел (Куба экспортировала мед в Соединенные Штаты), давали возможность разнообразить рацион отряда, однако охота и собирательство не могли служить основным источником пропитания. Надежные крестьяне, оставшиеся в зоне «Эль-Омбрито», выращивали для герильи рис, бобы, маис. Кофе в Сьерра-Маэстре имелся всегда, а вот соли временами не доставало. Мясо получали, конфискуя скот у «предателей» и крупных ското-промышленников.

«В зонах латифундий, — простодушно прибавляет Че, — скот держат обыкновенно в огромных количествах... Частная собственность в военных зонах должна служить общественным интересам. Следует сказать, что излишки земли и скот, не являющийся необходимым для богатой семьи, должны перейти в руки народа и подвергнуться пропорциональному и справедливому разделу».

Так, нигде не апеллируя к нашему советскому опыту, Че Гевара нащупывал общие положения, из которых вывел концепцию перестройки кубинского хозяйства уже после войны.

В «Эль-Омбрито» имелось все необходимое для партизанской жизни: медпункт, оружейная мастерская, пошивочный цех, табачная фабрика, в конце 1957 года начал работать радиопередатчик. Подумывали даже о строительстве собственной ГЭС: проектом занимался студент инженерного факультета из Гаваны. Правда, Че скромно признавал, что сигареты в «Эль-Омбрито» весьма низкого качества, первая кепка, считая специально для Фиделя, была поднята на смех (оказалось, что такие в Гаване носят «гуагуэрос» — водители автобусов), самодельные мины на пружинках и гвоздях, расставленные на подходе к лагерю, не срабатывали... Но зато громкоговорители у дороги при появлении автоколонны врага начинали говорить из зеленых зарослей звучными голосами: «Сдавайся, каскито! Ну, что ты ищешь в этих горах? Подумай о жене и детях!»

Стараниями Че Гевары в «Эль-Омбрито» появилась своя газета. Печаталась она на мимеографе, называлась «Эль Кубано либре» и замечательна тем, что в ней появилась первая политическая статья Че Гевары, новый набросок сформировавшейся в его сознании картины мира.

«Итак, мы читаем и слышим о волнениях и убийствах на Кипре, в Алжире, Ифни и Малайзии... Как весь мир похож на Кубу! Всюду происходит одно и то же... Коммунистами называют всех тех, кто берется за оружие, ибо они устали от нищеты, в какой бы стране это ни происходило... Демократами называют себя все те, кто убивает простых людей: мужчин, женщин, детей. Как весь мир похож на Кубу!»

Безусловно, это было пропагандистское упрощение, рассчитанное на огрубевшего от тягот герильи бойца: «Тебе тяжело? Но иной жизни нет сейчас на нашей планете». Однако ни одно упрощение не проходит бесследно — во всяком случае, для человека, который не привык отрекаться от собственных убеждений и слов... Превыше всего на свете Че Гевара ценил свою цельность: ради ее сохранения он готов был пожертвовать своей головой. Другие, быть может, относятся к декларациям проще. У этого человека любая из его деклараций становилась фактом его души. Отныне Че Гевара был обречен повсюду искать подтверждения принципиальной однородности мира. Искать — и находить.

В июле 1957 года для переговоров с командованием Повстанческой армии в Сьерра-Маэстру прибыли представители Ортодоксальной партии: Рауль Чибас и Фелипе Пасос. Первый держался отчужденно, загадочно и, как предполагает Че, тяготился пребыванием в партизанском лагере (а может быть, на него падала трагическая тень его брата, покончившего с собой на трибуне, и он не мог нащупать подобающей линии поведения), что же касается второго — то этот видный экономист с безупречной репутацией стал объектом пристального и ревнивого внимания Че Гевары, как будто предчувствовавшего, что не за горами то время, когда ему и Фелипе Пасосу придется отстаивать свои права на один и тот же государственный пост.

В результате переговоров был подписан «Манифест Сьерры», содержащий призыв к созданию широкого Революционно-патриотического фронта. Этот лозунг находился в полном соответствии с тогдашними убеждениями Фиделя Кастро, не противоречили взглядам

вождя и другие программные установки «Манифеста»: отделение армии от политики, проведение в течение года демократических выборов, освобождение политзаключенных, гарантии свободы информации, восстановление устойчивости национальной валюты.

Че Гевара отнесся к «Манифесту» отрицательно. Особое возмущение у него вызвала содержащаяся в тексте оговорка, что впредь для обсуждения любых вопросов чибасам и пасосам нет необходимости приезжать в Сьерра-Маэстру: можно встречаться в Мехико, в Каракасе, где угодно. А чего стоил туманный абзац о главе будущего правительства? «Это должен быть лидер, который соединит в себе беспристрастность, цельность, решительность и скромность, он должен быть назначен всеми патриотическими организациями страны, стоящими вне политики, поддержка которых освободит Временное правительство от любого партийного обязательства. Людей, способных выполнять эту роль, на Кубе имеется в избытке».

«Конечно,— саркастически замечает Че Гевара,— кто-кто, а Фелипе Пасос прекрасно понимал, что избытка в таких людях нет и что в этой конкретной обстановке самым подходящим человеком для этой роли является только он».

Дальнейшие события развивались таким образом, что у Че Гевары появились основания доказать вождю, что он стал жертвой мошенничества: ты сиди здесь, в горах, а они будут действовать на свободе от твоего имени, но в своих целях.

В начале ноября того же 1957 года в Майами состоялось совещание семи кубинских политических организаций, находившихся в оппозиции к режиму Батисты. На этом совещании Фелипе Пасос по собственной инициативе представлял «Движение 26 июля» и, не имея от Фиделя на то полномочий, подписал от имени «Движения» так называемый «Пакт единства», в котором объявлялось о создании Хунты кубинского освобождения. Хунта наделялась правом одобрять состав правительства, на пост временного президента предлагалась кандидатура Фелипе Пасоса, что же касается Повстанческой армии, то она должна влиться в регулярные вооруженные силы республики.

Че Гевара назвал это совещание «отвратительным актом мужеложества», а Фидель Кастро направил всем его участникам гневное письмо:

«Одни сидят за границей, в уютном городе, расположенном за пределами нашей страны, другие находятся на Кубе и сражаются за реальную революцию... все это представляет собой гнусную ловушку».

Верховный вождь торжественно заявил, что «Движение-26» не намерено участвовать во Временном правительстве и отказывается от каких бы то ни было бюрократических постов, но «никогда не откажется вести народ и руководить им из подполья, из Сьерра-Маэстры или из могил, откуда нам шлют свои заветы погибшие товарищи... Чтобы умереть с честью, компания не нужна».

Че Гевара был очень доволен тем, что верховный вождь герильи так четко отреагировал на «Пакт Майами» и спутал карты «предателей дела революции» (которых сам же Че определял как «цвет кубинской олигархии», что предполагало, что никакого дела революции они не предадут, а, напротив, оперативно делают собственное дело... впрочем, этого противоречия запальчивый аргентинец никогда не замечал). Авторитет теоретика возрос настолько, что он уже мог себе позволить открытое противопоставление своей позиции и взглядов вождя.

«По своей идеологии, это знает и Фидель, я принадлежу к тем, кто считает, что спасение мира находится за так называемым «железным занавесом», и рассматриваю наше «Движение» как одно из многих, вызванных стремлением буржуазии освободиться от цепей империализма. Я всегда рассматривал Фиделя Кастро как подлинного лидера левой буржуазии, хотя по своим личным качествам он столь блестящая фигура, что стоит намного выше своего класса... Чего я никогда не ожидал, так это столь радикального поворота в его высказываниях по поводу «Пакта Майами».

Зоркий взгляд непримиримого помог Че Геваре заметить и другую опасность, которая угрожала монолитности герильи — теперь уже не со стороны попутчиков и всяческих «друзей народа», а со стороны равнинных организаций «Движения 26 июля». Впервые Че столкнулся с оппозицией «равнинных товарищей», когда принимал под свое командование отряд Хорхе Сотуса. С тех пор противоречия углубились, и на то были серьезные основания. Равнинные организации вели свою борьбу с диктатурой в условиях глубокого подполья, они вербовали сторонников среди городской бедноты, интеллигенции,

среди сельскохозяйственных рабочих, занятых на сахарных плантациях и заводах.

«Революционеры из равнинных районов стояли на позиции организации во всех городах массовых выступлений трудящихся, которые со временем выльются во всеобщую забастовку и приведут к свержению батистовской диктатуры. На первый взгляд эта позиция казалась даже более революционной, чем наша; но это лишь на первый взгляд. В действительности же политическое сознание сторонников этой точки зрения было недостаточно высоким, и всеобщая забастовка в том виде, как они ее понимали, не соответствовала требованиям момента».

Надо сказать, что возражения Че Гевары против стратегии равнины не представляются особенно внушительными. Че исходил из убеждения, что герилья есть движение исключительно крестьянское, психология наемных рабочих была ему незнакома, он недостаточно ясно представлял себе, какие интересы могут подвигнуть горожанина на борьбу с тиранией, — и медленно, но неуклонно шел к прямому противопоставлению деревни и города, к войне всемирной деревни против всемирного города. Это смещение не было заметно ему самому, но началось оно именно в Сьерра-Маэстре.

И вновь развитие событий подтвердило его правоту. На 9 апреля 1958 года была назначена всеобщая забастовка. В тот день ровно в одиннадцать часов утра три кубинских радиостанции одновременно начали передавать песенку «Марселино, хлеб и вино». Это было сигналом к прекращению работы. Однако парализовать жизнь страны и нанести таким образом удар по режиму не удалось. Значительная часть кубинских трудящихся в те годы занята была на полукустарных предприятиях, подпольщики «Движения 26 июля» не сумели провести подготовительную работу на каждом из них, а всеобщая забастовка — это грозное оружие лишь тогда, когда она становится именно всеобщей. Иными словами, равнина себя не оправдала, и как только стало ясно, что забастовка провалилась, руководители равнинных организаций были вызваны в Сьерра-Маэстру к верховному вождю.

В совещании Национального руководства «Движения-26», состоявшемся третьего мая, впервые участвовал иностранец — гражданин Аргентины Эрнесто Че Гевара, непримиримое отношение которого к стратегии равнины было известно всем. Командующий равнинной

милицией, считавший, что его отряды в состоянии занять Гавану, был обвинен в авантюризме, в недооценке сил тирании и отстранен от руководства. Такая же участь постигла товарища, отвечающего за связь с городскими рабочими: ему было предъявлено обвинение в сектантстве, субъективизме и путчистских тенденциях. Смещен был и командующий боевыми дружинами, которые должны были выступить в том случае, если Повстанческая армия спустилась с гор: с ним Че Гевара незадолго до забастовки вел ожесточенную переписку, упрекая его в узости кругозора и в прочих профессиональных болезнях подпольщика. Короче, равнина была полностью разгромлена и общее руководство «Движением» перешло к Сьерра-Маэстре.

Вскоре после этого совещания, которое Че Гевара в своих «Эпизодах» назвал решающим, Батиста начал генеральное наступление на Сьерра-Маэстру. Против Повстанческой армии, насчитывающей не больше тысячи бойцов, двинулись четырнадцать батальонов и семь отдельных рот специального назначения. С самолетов разбрасывались листовки с предложением прекратить сопротивление: «Соотечественник! Если ты оказался замешанным в антиправительственном заговоре и в настоящее время продолжаешь находиться в горах, у тебя еще есть возможность одуматься и вернуться в лоно своей семьи, приходи к командиру ближайшего воинского подразделения с винтовкой на плече и с поднятыми руками». Ниже помещались фотографии добровольно сдавшихся в плен, чаще всего это была грубая фальсификация. В других листовках за голову Фиделя Кастро предлагалось сто тысяч песо — в сочетании с гарантией, что имя гражданина, получившего эту сумму, навсегда останется в тайне. В ход пошли и напалмовые бомбы: диктатор взялся за дело всерьез. Однако наступательный азарт его генералов был в значительной мере напускным: за спиной Батисты военные переговаривались с Фиделем по радио, предупреждали Сьерра-Маэстру о начале боевых операций, предлагали совершить совместный военный переворот. Даже секретный шифр армии кто-то передал в Сьерра-Маэстру. В числе потенциальных союзников герильи оказались генерал Кантильо (он планировал генеральное наступление на Сьерру) и полковник Нейгарт, начальник юридического управления вооруженных сил. Все это было превосходно, но Эрнесто Гевара бдительно следил за ситуацией: как бы

не случилось так, что «хефе максимо» пойдет на соглашение с этими кандидатами в гориллы и они уведут у него из-под носа победу в самый последний момент.

9

Еще в феврале 1958 года через комитет поддержки «Движения-26» в Нью-Йорке Ильда переслала мужу письмо, в котором попросила разрешить ей приехать на Кубу: она хотела быть со своим любимым в горах и помогать ему всем, что в ее силах. А что касается дочки, то Ильда Беатрис уже подросла и может жить со стариками, неважно — в Буэнос-Айресе или в Лиме.

Как раз в те дни, когда это письмо дошло до лагеря «Эль-Омбрито», Че Гевара израсходовал еще одну из своих кошачьих жизней: в перестрелке, стоя за недостаточно толстым стволом дерева (так он сам об этом рассказывает), он был ранен в левую ногу, и боец Мачадито, позже ставший министром здравоохранения Кубы, с помощью обыкновенной бритвы извлек карабинную пулю. Сообщение об этом событии появилось в газетах Латинской Америки, но кубинская правительственная печать по своим соображениям его опровергла: «Что касается ранения известного аргентинского коммуниста Че Гевары, то сведений, подтверждающих это, не имеется. Информация об участии в боевых действиях главарей повстанцев не соответствует действительности. Известно, что они скрываются в труднодоступных горных пещерах».

Ответ Эрнесто на просьбу жены (письмо от него, тоже через Нью-Йорк, она получила только в июле) был отрицательным: нет, писал он Ильде, сейчас ты приехать на Кубу не можешь, борьба вступает в опасную стадию, и скоро начнется наше наступление, так что оседлая жизнь подходит к концу. В самом деле, батистовские планы окружения Сьерра-Маэстры к тому времени отошли в прошлое (для того чтобы сомкнуть кольцо, диктатору не хватило каких-нибудь семи километров), и упускать инициативу Повстанческая армия не могла. Пора было спускаться с гор и выходить на равнину.

21 августа 1958 года команданте Эрнесто Че Гевара получил от Фиделя Кастро приказ встать во главе Восьмой колонны, спуститься со Сьерра-Маэстры и пройти по равнине в провинцию Лас-Вильяс, к горам Эскамбрай.

Главкомандующий уполномочил Гевару создать военную администрацию на территории, которая окажется под его контролем, и вступить в контакт с вооруженными отрядами оппозиционеров, действующих в Эскамбрае. Уже сама мысль о том, что там действует другая герилья, настораживала Че Гевару: он предчувствовал осложнения при контакте — и не ошибся.

Время для спуска с гор было не самое подходящее: начинался сезон дождей. В распоряжении Восьмой колонны имелись четыре грузовика, и Че Гевара надеялся проехать по равнинным дорогам на большой скорости, с ветерком. Удалось же это Раулю Кастро: по Центральной автомагистраде, находившейся под круглосуточным контролем армии, команданте Рауль мчался десять часов — без единого выстрела. Однако повторить успех Шестой колонны Че Геваре не удалось: машина с горючим и амуницией была перехвачена батистовцами, а без запаса бензина марш-бросок, рассчитанный на четверо суток, был невозможен, и бесполезные грузовики пришлось сжечь.

Выступили в ночь на 31 августа, часть поклажи везли на лошадях: гранатомет, ящики с патронами, палатки и вообще все необходимое для бивуака. Дождь, непролазная грязь, когда циклон утихал — налетали тучи москитов. До первого привала удалось пройти всего десять километров. На отдых расположились в пальмовой роще, к стволам пальм привязывали веревки гамаков. Однако отдых был непродолжителен: со словами «Идти надо, а не спать!» команданте обрубил веревки, и марш продолжался.

Равнина казалась огромной, по обе стороны от дороги тянулись залитые водой рисовые чеки, и с наступлением дня колонна оказалась вся на виду, словно цепочка муравьев, ползущих по большому блюду.

«Когда пролетает в высоте самолет, кажешься себе маленьким и беззащитным».

Это строка из письменного донесения Че Гевары Фиделю. Невозможно даже вообразить, чтобы подобное написал маршал Жуков, например, обращаясь в Ставку.

Много позже на основе равнинного опыта Че Гевара разработал тактику марш-бросков по открытым дорогам.

«Авангард движется в ста—двухстах метрах впереди колонны. Арьергард — на некотором удалении от остальной части отряда, наблюдая за дорогой и по возмож-

ности уничтожая следы. На боковых дорогах должны быть расставлены дозоры, которые снимаются, когда проходит последний боец».

Некоторые рекомендации, которые Че Гевара дает в своем пособии, дышат мальчишеской наивностью. Так, он рекомендует подпалить по пути телеграфные столбы, «затем легким толчком валият один, и он потащит за собой остальные, что приведет к нарушению телефонно-телеграфной связи на огромных расстояниях». Быть может, этот совет позаимствован из фантастических рассказов Пастушка, равно как и рекомендация разрезать металлические мосты по ночам с помощью автогенного аппарата:

«Подрезаются главные прогоны и верхние балки, поддерживающие все сооружение. Затем проделывают такую же работу на другом конце моста. После этого мост падает и разрушается. Таков наиболее эффективный способ уничтожения металлических мостов без динамита».

Все очень просто, особенно в ночной темноте, когда работать с автогенным аппаратом никто не мешает... Право, это какая-то другая война, ее подобает вести играючи и с удовольствием. А может быть, это мы относимся к военной страде по-азиатски угрюмо.

Да, густонаселенная равнина, безлесная, изрезанная проселочными дорогами, опутанная сетью телефонных проводов, была не самым благоприятным местом для ведения партизанской войны. Позднее Че Гевара, со свойственной ему математической резкостью мышления, сформулировал следующий закон:

«Для партизана возможность оседлого образа жизни обратно пропорциональна степени промышленного развития данной местности. Чем больше благоприятных условий, облегчающих жизнь человека, тем более кочевой и беспокойной будет жизнь партизана».

В одном из донесений Че Гевара с гордостью сообщает Фиделю, что в местечке Леонеро, центре рисоводчества, ему удалось заложить основу профсоюза сельскохозяйственных рабочих: это был первый опыт непосредственного вмешательства Че в дела пролетариата. Впрочем он тут же честно признает, что опыт оказался не слишком удачным:

«Когда я повел с рабочими разговор о взносах, они не дали мне говорить. Похоже, размеры взносов оказались для них слишком высоки...»

Классовое самосознание равнинных крестьян его также разочаровало («Причина заключается в том, что в силу условий жизни эти люди превратились в рабов»), хотя отбоя от желающих примкнуть к колонне не было:

«Нас буквально осаждали толпы безоружных людей, просящих принять их в отряд. Среди них я обнаружил даже одного душевнобольного, страдавшего сильным приступом военного психоза».

Единственной асфальтированной дорогой в этих местах было Центральное шоссе, но идти по шоссе было слишком рискованно, а проселочные дороги развезло от дождей, мелкие речушки, порою даже не обозначенные на карте, вышли из берегов и превратились в бурные потоки, переправа через один такой ручеек заняла восемь часов. Некоторые бойцы пробовали идти босиком, но трава на равнине была жесткая, как осока, с режущими краями, а кроме того, местные жители предупреждали, что здесь свирепствует страшная болезнь босых ног, так называемая «масаморра», превращающая человека в калеку.

Естественно, продвижение отряда из ста пятидесяти человек не могло остаться незамеченным: за Восьмой колонной следили с воздуха, батраки сообщали о ее появлении своим хозяевам, а все поместья имели телефонную связь с городом. Однако первая неделя похода прошла сравнительно спокойно: сельские жандармы в желтой униформе, появляясь у дороги, тут же уходили прочь, а регулярные войска не обнаруживали своего присутствия вовсе.

Параллельно Восьмой колонне в сторону Эскамбрая двигалась колонна Камило Сьенфуэгоса, значительно лучше вооруженная и подготовленная к походу, между обоими отрядами было что-то вроде соперничества, отголоски которого то и дело встречаются в воспоминаниях бойцов Камило:

«Наконец подошла колонна Че Гевары... Восьмая колонна снова нарвалась на засаду...»

Именно соседство Камило Сьенфуэгоса и подвело однажды ночью Че Гевару: на вопрос из темноты «Кто идет?» бойцы головного дозора ответили: «Двадцать шестое июля», и началась стрельба. От неожиданности бойцы побросали вещмешки и, отступая, оказались окруженными в зловонном болоте, лишь чудом удалось уйти от разгрома.

«Едва только мы пришли в себя, как пошел сильный дождь, это несчастье нашего климата...»

Захваченные вещмешки с документами, записными книжками и списками личного состава позволили генералу Табернилье сообщить по радио, что «орды Че Гевары разгромлены»: в качестве доказательства правительственное радио называло фамилии — подлинные вперемешку с вымышленными. Впрочем, Камило Сьенфуэгос тоже не избежал засады, и его дневник, который он вел с самого начала кампании, попал в руки врага. Неосторожность в обращении с записями сыграла в Боливии роковую роль в судьбе самого Че Гевары.

«Однако, когда обстановка стала совсем критической, когда измученных людей можно было заставить двигаться только бранью, оскорблениями, мольбой и всякого рода ухищрениями, вдали на западе засверкало голубое пятно горного массива... При виде горной цепи люди оживились, у них откуда-то появились новые силы... Горы синели вдали, притягивая нас к себе, как магнит. Но раньше, чем мы достигли гор, нам пришлось проделать нелегкий путь через болота, рисовые плантации, поля сахарного тростника, переправиться через реку Саса, которая является, пожалуй, одной из самых широких рек на Кубе, и 15 октября, ночью, пробиться сквозь последний вражеский заслон...»

Там, в предгорьях Эскамбрая, в селении Эль-Педреро, личная жизнь команданте Гевары претерпела крутой поворот: в его судьбу вошла Алеида Марч. Юная кубинка с прелестными, безукоризненно правильными чертами лица, совершенно не похожая на «китайнку» Ильдуну, пришла в отряд добровольцем и вскоре завоевала сердце грозного командира Восьмой колонны. Вообще-то Че Гевара, высоко ценивший мужское партизанское братство, недоверчиво относился к присутствию в герилье женщин:

«Диктаторы пытаются засылать в партизанское подполье агентов-женщин. Иногда связи женщин со своими начальниками приобретают открытый и почти бесстыдный характер, но бывает и так, что раскрыть подобную связь вообще невозможно. Вот почему необходимо вообще запретить связь с женщинами. В условиях подполья, когда революционер готовится к войне, он должен стать аскетом».

Такая позиция нам достаточно хорошо известна, и в ней имеется суровая и заслуживающая уважения логика, которая, как это исстари водится, приходит в неизбежное столкновение с живой жизнью. Однако Че Гевара,

писавший эти строки уже после того, как его союз с Алеидой стал свершившимся фактом, вовсе не кривил душой: к этому он был решительно неспособен. Если вчитаться в приведенную цитату из его наставления будущим герильерос, можно заметить, что речь идет о подполье, готовящемся к партизанской войне. Что же касается отрядной, походной, лагерной жизни, то присутствие в ней женщины не кажется ему неуместным:

«Женщина может участвовать в самых тяжелых работах, идти в бой плечом к плечу с мужчинами и вопреки утверждениям некоторых морально не разлагает армию своим присутствием... Женщины могут заниматься тем, чем они занимаются в мирное время: вкусно готовить пищу, учить грамоте крестьян данной зоны. При соблюдении законов партизанской жизни людям, которые ничем себя не скомпрометировали, можно разрешить вступить в брак, если они любят друг друга».

Не исключено, однако, что такое разграничение подполья и герильи не входило в первоначальные планы книги «Партизанская война»: сама жизнь заставила Че Гевару отступить с позиции строгого аскетизма. Рядом с Фиделем Кастро в горах Сьерра-Маэстра неотлучно находилась Селия Санчес. Девушка из богатой семьи, она примкнула к подполью, позже перебралась в горы, стала личным секретарем главкома, научилась обращаться с оружием. Вот как добродушно рассказывает о ней в своих воспоминаниях ветеран герильи команданте Луис Креспо:

«Среди самых храбрых хочется отметить нашего замечательного стрелка — девушку по имени Селия Санчес. Заняв удобную позицию на самом высоком месте, она вела оттуда меткий огонь по противнику».

К этому можно только добавить, что имя Селии Санчес, известное всей Кубе (бульварные газеты изображали ее «демонической личностью», имеющей огромное влияние на Фиделя), вряд ли нуждалось в такой лестной рекомендации.

В Сьерра-де-Кристалль верной спутницей Рауля Кастро была Вильма Эспин. Миловидная молодая женщина, дочь управляющего знаменитыми заводами Баккарди (после революции, кстати, вступившего в ряды народной милиции), она бросила университет и ушла в горы, чтобы вместе с «двумя сумасшедшими» («дос локос», так называли братьев Кастро в ее семейном кругу) сражаться против диктатуры.

Присутствие этих женщин, несомненно, только украсило герилью, делало ее более человеческой и привлекательной в глазах кубинцев. Суровое морализаторство, к которому был склонен Че Гевара, постоянно, в целях экономии времени, упрощавший живую жизнь, вряд ли могло найти положительный отклик в душах его бойцов. И герилья с пониманием и сочувствием отнеслась к тому, что судьба в лице Алеиды Марч настигла непримиримого идеолога. Впрочем, положение, в котором оказался Че Гевара, было достаточно сложным и щекотливым, и, надо полагать, это стоило ему немалых душевных терзаний.

Горы Эскамбрая оказались не слишком гостеприимны. Эту зону считал своей вотчиной Второй революционный фронт, вождь которого, команданте Каррера, неприязненно отнесся к появлению в предгорьях чужаков.

«Когда после длившегося 45 дней тяжелейшего марша бойцы моей колонны вторжения, выбившиеся из сил, с окровавленными и изъеденными язвами ногами, достигли наконец Эскамбрая, мне было передано необычное по содержанию, пространное и оскорбительное письмо, подписанное майором Каррерой...»

Вкратце содержание письма сводилось к тому, что Восьмая колонна не должна подниматься в горы до тех пор, пока не будут даны убедительные разъяснения, для чего, собственно, она прибыла. В этой связи командир колонны должен немедленно явиться к майору Каррере.

«Остановиться среди болот? — возмутился Че. — Это уж слишком!»

Он привел свой отряд к подножью горы Дель-Обиспо и, разбив там свой первый за полтора месяца лагерь, отправил разведгруппу в условленное место, где должна была храниться амуниция и, главное, обувь, в которой бойцы особенно нуждались. Однако тайник был уже опустошен людьми команданте Карреры. А в провинциальном комитете «Движения-26» на просьбу о помощи ответили так: «Если Че пришлет просьбу в письменной форме, мы ему поможем; если нет, то пусть он катится на все четыре стороны».

Недружелюбный прием, оказанный Че Геваре в горах Эскамбрая, был, в общем-то, объясним: приближался конец тирании, и, в предвидении новой борьбы за власть, различные группировки вооруженных оппозиционеров стремились застолбить за собою хотя бы те зоны, в которых они воевали. Любая насильственная революция

тяготеет к монополии на власть, единовластие заложено в самой природе вооруженной борьбы, и на определенном этапе ожесточение начинает вызывать не враг, дни которого сочтены, а самонадеянный союзник с его претензиями, попутчик, примазавшийся к революции в предвидении дележа добычи... хотя, казалось бы, нет ничего преступного и даже порочного в том, что по мере приближения победы в борьбе за общенародный демократический идеал к революции начинают тянуться все те, кто колебался и просто робел.

Начался долгий и изнурительный торг: «Этот населенный пункт вы не имеете права атаковать, поскольку он находится в зоне наших боевых действий. А в этом районе вы можете, так и быть, проводить перераспределение земли, но лишь при том условии, что право собирать подати с крестьян остается за нами».

«Так и было заявлено: собирать подати!» — возмутился Че Гевара, хоть сам призывал облагать местное население налогами, заботясь лишь о том, чтобы это не приводило к полному хозяйственному истощению.

В те дни его впервые увидел член руководства «Движения-26» в провинции Лас-Вильяс Энрике Олтуски. Вот как он описывает грозного пришельца из Сьерра-Маэстры:

«Это был коренастый человек в берете, из-под которого ниспадали очень длинные волосы. Редкая борода. На плечах — черный плащ, рубашка с открытым воротом. Пламя костра и усы делали его похожим на китайца. Я подумал о Чингисхане. Блики, отбрасываемые костром, плясали на его лице, придавая ему самое неожиданное фантастическое выражение».

Это, пожалуй, самый выразительный словесный портрет героя революционной войны: другие мемуаристы склонны замечать лишь романтическую бледность команданте Че Гевары, его расширенные, как у большинства астматиков, глаза и обезоруживающую улыбку.

Надо полагать, Энрике Олтуски застал Че Гевару в недобрый час. Зашел разговор об аграрной реформе, на эту тему в те дни не мог спокойно рассуждать никто: у каждого имелась своя программа, каждый считал, что знает точный ответ на вопрос, как следует поступить с землей.

«Необходимо обложить большими налогами латифундистов, чтобы выкупить землю их же деньгами, — так считал Олтуски. — А потом эту землю следует продать

гуахиرو по ее реальной стоимости, если нужно — в рас-срочку».

Эта программа, не лишенная разумной основы, привела Че Гевару в исступление: он считал, что земля должна быть передана крестьянам безвозмездно, и не принимал доводы, согласно которым бесплатно полученная земля предполагает беспечное отношение к ней гуахиро, который будет обрабатывать лишь ту ее часть, что необходима для пропитания его семьи, что приведет к падению сельскохозяйственного производства, как это случилось в Мексике при Карденасе (и много позже в Чили при Альенде). Че Гевара не желал ничего слушать.

«Вот какой ты сукин сын! — кричал он своему оппоненту. — Ты такой же, как и все с равнины! Какое же ты дерьмо!..»

По мере расширения зон, где власть осуществляла герилья, на первый план выступил очень болезненный вопрос о неизбежности столкновений с североамериканцами. Трудно сказать, как справился бы с этой сложностью Че Гевара, но его этот вопрос касался значительно меньше, чем Рауля Кастро, территория которого имела границу с военной базой США в Гуантанамо (или, как говорят местные жители, в Кайманере). Предчувствуя близкий конец, Фульхенсио Батиста отчаянно пытался спровоцировать столкновения между герильей и морской пехотой США, чтобы вынудить Вашингтон на открытое военное вмешательство, к которому североамериканцы не были склонны, поскольку не видели в герилье непосредственной угрозы своим интересам. Разумеется, Вашингтон знал, что в руководстве герильи имеются люди, непримиримо настроенные по отношению к империализму янки («Куба — лишь мелкий инцидент, — заявил корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Че Гевара. — Вы проиграете во всех концах света!»), однако считалось, что Фидель Кастро связан обязательствами перед своими состоятельными соотечественниками, живущими в США, от которых он получал серьезную финансовую и материальную помощь, а кроме того, в программе «Движения 26 июля» не было никаких радикальных антиимпериалистических установок, да и сам Фидель был осторожен и рассудителен в своих действиях и высказываниях. Так, он отдал Повстанческой армии приказ уклоняться от соприкосновения с морской пехотой, находящейся в Кайманере, не причинять ущерба имуществу США на Кубе и не чинить насилия по отно-

шению к североамериканским гражданским специалистам.

Со своей стороны, правительство США еще в марте 1958 года, до начала генерального наступления на Сьерра-Маэстру, наложило эмбарго на поставки оружия батистовскому режиму. Впрочем, напалмовые бомбы и ракеты «воздух—земля» продолжали поступать в Гавану и военные самолеты Батисты заправлялись в Гуантанамо до конца войны.

Стремясь вовлечь североамериканцев в военные действия, Батиста пускался на всевозможные уловки: то демонстративно выводил свои войска из района водонапорной станции, снабжавшей водой Кайманеру, и объявлял, что теперь-то водопровод будет перерезан повстанцами, то завязывал бессмысленные с военной точки зрения бои в Никаро, где находились американские никелевые заводы, а потом инсценировал паническое отступление. Фиделю Кастро приходилось проявлять немало изобретательности, чтобы убедить Вашингтон (в том числе и по дипломатическим каналам), что на интересы США герилья не посягает.

Разумеется, не все инциденты удавалось предотвратить. Каждое воскресенье морские пехотинцы США отправлялись на автобусах в увольнение в город Гуантанамо, находившийся за пределами базы. И вот 27 июня бойцы Рауля Кастро перехватили один такой автобус, в котором находилось 29 североамериканских солдат. Соединив их с двадцатью гражданскими специалистами США, задержанными на никелевых заводах и в конторе «Юнайтед фрут», Рауль составил из них группу «международных свидетелей» (этот остроумный термин предложила его жена Вильма Эспин, поскольку ни пленными, ни заложниками этих людей назвать было нельзя), чтобы они подтвердили факт использования батистовцами вопреки эмбарго североамериканских бомб и ракет. В «противосамолетную операцию» вмешался консул США, потребовавший немедленного освобождения соотечественников, и тогда Рауль (по его собственным словам) не выдержал и взорвался:

«А что мне за дело до вашего правительства? Мне все равно, понравится это вашему правительству или нет. Для меня важнее мой народ».

Что характерно для подобных ситуаций, сами «международные свидетели» набросились на консула с упреками и обвинениями в адрес собственного правительства, не соблюдающего эмбарго:

«Мы не для этого платим налоги!»

Консул показал команданте Раулю экземпляр «Нью-Йорк таймс» с сообщением о том, что главнокомандующий приказал освободить всех задержанных. Рауль отвечал ему, что такого приказа он еще не получал. И только когда приказ передали по «Радио Ребельде», «международные свидетели» были освобождены и вывезены из зоны герильи на вертолете. На прощание они заявили представителям прессы, что с ними обращались хорошо.

Но такие инциденты были скорее исключением, чем правилом: обе стороны, и герилья, и США, проявили достаточную рассудительность, а в некоторых районах Кубы было налажено что-то вроде сотрудничества. Так, североамериканские компании исправно платили введенные герильей налоги — в обмен на гарантию сохранности имущества и жизней граждан США, а «Моа Бэй Майнинг Компани» предоставляла своих людей и бульдозеры, чтобы прокладывать для герильи дороги.

В декабре 1958 года Повстанческая армия приступила к взятию городов. Диктатура была парализована: сельские районы острова находились под контролем герильи, основные магистрали перерезаны, городские гарнизоны в большинстве случаев не могли рассчитывать на подкрепления, их командование зачастую помышляло лишь о том, как бы сохранить лицо при капитуляции. Превосходство герильи было более психологическим, чем военным: вся страна связывала свои надежды на окончание войны только со свержением диктатуры.

16 декабря, взорвав мост через реку Фалькон и перекрыв таким образом движение по Центральному шоссе в самой середине острова, Восьмая колонна подошла к городу Фоменто. Этот город лежал в стороне от автостреды, однако гарнизон его насчитывал полтораста солдат, и оставлять такое крупное соединение противника у себя за спиной Че Гевара не мог: ведь ему предстояло двигаться на запад, к городу Санта-Клара, где сходятся все транспортные пути острова. Занять Санта-Клару означало перерезать остров надвое и открыть себе прямой путь на Гавану. Не дождавшись подмоги, гарнизон Фоменто выкинул белый флаг. 21 декабря Восьмая колонна вошла в Кабайгуан. Здесь во время уличного боя Че Гевара неудачно спрыгнул с крыши дома и сломал предплечье левой руки. Так, с рукой на черной перевязи, команданте и вышел на финишную прямую революционной войны. На фотографиях тех дней за его плечами то

и дело видишь стройную красавицу в оливковой униформе с оружием в руках — Алейду Марч.

Оформляя в книге «Партизанская война» свой опыт взятия городов, Че Гевара пишет:

«Борьба в пригородах почти полностью парализует торговую и промышленную жизнь в данном секторе, порождает среди населения беспокойство, тревогу и до известной степени даже примиряет городских жителей с мыслью о необходимости принятия решительных мер, способных положить конец тревожному состоянию неопределенности... Нужно оставить город без света, воды, средств сообщения, с тем чтобы жители осмеливались выходить на улицу лишь в определенные часы. Если все это будет достигнуто, моральный дух противника упадет, а благодаря этому скорее созреет плод, который можно будет сорвать в нужный момент».

Проскальзывающая в этих рекомендациях склонность отождествлять город с противником отражает, по-видимому, не конкретную практику декабрьских боев, а линейную логику противопоставления сельской герильи городу как носителю антинародной административной власти — логику, выкристаллизовавшуюся при последующей обработке дневниковых записей и отбрасыванию деталей и подробностей, с точки зрения этой логики несущественных. Практика же тех дней была такова, что городское население если не с восторгом и ликованием встречало повстанцев, то, во всяком случае, не пыталось им противостоять, а во многих случаях даже содействовало (ну, скажем, владельцы личных автомобилей ставили свои машины поперек узких улиц, препятствуя при этом, разумеется, не повстанцам, у которых не было ни танков, ни броневиков): тирания вызывала у горожан неприязнь и презрение уже тем, что так жалко и бессмысленно цеплялась за жизнь, продлевая и свои конвульсии, и то самое «тягостное состояние неопределенности», о котором говорит Че Гевара. Сохранилась любопытная фотография декабрьских дней: по неширокой, скверно заасфальтированной улочке провинциального городка проходит нестройная цепочка бойцов Повстанческой армии, увешанных оружием, с вещмешками за спиной, а рядом, по обочине, оживленно беседуя о чем-то своем, идут не спеша две толстушки-горожанки...

Санта-Клара была орешком покрепче, чем какой-нибудь Фоменто, гарнизон которого не рискнул принять бой. В Санта-Кларе было не меньше дюжины танков

(точнее, танкеток на колесном ходу), у подножия горы Капиро стоял бронепоезд, а в распоряжении Че Гевары имелся лишь один гранатомет без гранат.

С бронепоездом пришлось потрудиться: в нем укрылись 400 батистовцев во главе с командующим инженерными войсками Батисты полковником Лейвой. Когда укрепленные позиции на горе были взяты, бронепоезд отошел в глубь города. Видимо, полковник хотел увести машину на железнодорожную магистраль, но повстанцы бульдозером разворотили пути, и, маневрируя, бронепоезд в конце концов завалился набок, словно выброшенный на берег кит. Тогда его стали забрасывать бутылками с горючей смесью, и офицеры полковника Лейвы запросили пощады с условием, что их невредимыми доставят в Кайбарьен. Так и было сделано.

Долго любовались повстанцы поверженным левиафаном, извлекая из его утробы военные трофеи и фотографирруя со всех сторон бронированный локомотив с мощным прожектором в покато лбу и с прижмуренными бойницами...

Между тем, как это и ожидалось, генералитет начал отступать на заранее подготовленные позиции. 24 декабря состоялась тайная встреча Фиделя Кастро и генерала Кантильо: генерал заверил вождя герильи, что 31 декабря Батиста будет арестован, а армия получит приказ немедленно прекратить сопротивление.

«Он сам, будучи офицером, пошел на контакт с нами,— пишет Че Гевара,— и мы поверили ему, считая его честным человеком».

Однако в первый день Нового года Гавана объявила, что Фульхенсио Батиста покинул страну и в настоящее время находится уже в столице Доминиканской Республики. Вместе с ним беспрепятственно выехали за границу все видные деятели его режима. Объявлено было также, что всю полноту власти и ответственность за судьбу страны берет на себя военная хунта из двух генералов и двух полковников во главе с генералом Кантильо.

Естественно, «хефе максимо» был возмущен: случилось именно то, от чего его предостерегал Че Гевара. Выступая по «Радио Ребельде», Фидель категорически отказался признать новую власть и призвал кубинцев к всеобщей забастовке. Своим командирам он отдал приказ немедленно начать наступление на Гавану.

«Майор Эрнесто Че Гевара,— говорилось в этом приказе,— назначается комендантом крепости «Ла Кабанья»

и, вследствие этого, должен выступить с вверенными ему войсками на Гавану. По пути ему вменяется в обязанность принудить к сдаче крепость Матансас».

«Это было результатом гениального расчета Фиделя Кастро», — пишет газета «Бастион» в юбилейной статье, посвященной тридцатилетию победы в революционной войне.

Согласно тому же приказу под командование Эрнесто Че Гевары передавались также все боевые формирования Второго Революционного фронта Эскамбрая. Однако приказ запоздал: оппозиционеры Эскамбрая уже выступили в поход и первыми оказались в столице, заняв там самые шикарные номера в богатых отелях. Об этом стало известно, когда пошли счета, которые некому было оплачивать...

Че Гевара двинулся на Гавану в голове внушительной автоколонны. Капитаны и лейтенанты его ехали в легковых машинах, рядовые — в кузовах грузовиков, сам команданте с Алеидой Марч — в «шевроле», который еще два дня назад принадлежал военной разведке. Время от времени Че приказывал шоферу притормозить и пропускать свое ликующее войско вперед. Замыкали колонну три захваченных в Санта-Кларе танкетки: партизаны не очень-то разбирались в этой технике, но завести моторы удалось. Двигались медленно, подбирая по пути бойцов народной милиции: с четырехсот человек отряд Че Гевары увеличился до тысячи.

И на рассвете третьего января, прежде чем небо стало светлеть на востоке, с западной стороны над глухой провинциальной тьмой засияло электрическое зарево Гаваны. Город ночных притонов, казино, рэкета, дешевого секса и игральных автоматов, рай мошенников и врачей-венерологов, не знавший ни затемнений, ни перебоев с энергией, гнездилище зла, залитое бесстыдным светом, — в то время как девяносто процентов селян не знали, как выглядит электрическая лампа...

Крепость-тюрьма «Кабанья», мощное укрепление старинной испанской постройки, прикрывала вход в столичную гавань. В ней квартировался артиллерийский полк, которым командовал генерал Фернандес, шурин Фульхенсио Батисты. Впрочем, первого января Фернандес уступил командование подполковнику Вареле, принадлежавшему к группе оппозиционно настроенных офицеров. Комендант Варела и не помышлял сопротивляться: автоколонна Че Гевары без единого выстрела

въехала в ворота «Кабаньи», аргентинец по-хозяйски прошел в комендатуру и после короткого разговора наедине с Варелой принял от него командование. Вслед за этим обездороженные солдаты и офицеры были собраны в крепостном дворе, и Че Гевара выступил перед ними с короткой речью.

«Мы, партизаны, должны научиться у вас дисциплине, а вы, солдаты регулярной армии, научитесь у нас, как выигрывать войны».

Угрюмо и настороженно прислушивались побежденные к непривычному акценту нового коменданта, говорившего жестко и даже резко, с какими-то странными придыханиями, как будто он едва сдерживал клокотавшую в нем ярость. Они не могли, конечно, знать, что сырость, пропитавшая каждый камень приморской крепости, вызвала у Че Гевары приступ удушья, и он едва сдерживал рвущийся из груди кашель.

«Нельзя одним ударом покончить с механическим послушанием, с устаревшими понятиями о воинском долге, дисциплине и морали,— писал он впоследствии, вспоминая, должно быть, эту первую свою, инаугурационную речь.— Однако нельзя допустить и того, чтобы существовали победители — смелые, благородные, добродушные, но, как правило, не имеющие образования,— и побежденные, кичащиеся своими военными знаниями, имеющие специальную подготовку в области математики, инженерного дела, но всеми силами души ненавидящие необразованного партизана...»

Речь здесь идет, разумеется, о кадровом офицерстве, именно к этой аудитории обращен был его саркастический призыв научиться выигрывать войны. С юных лет Эрнесто Гевара неприязненно относился к военным-профессионалам — из-за их кастовой спеси, из-за их почти религиозной убежденности, что именно они олицетворяют волю и мощь нации... И вот они стоят перед ним, дилетантом, выигравшим у них сто сражений подряд, за две недели разгромившим четырнадцать их гарнизонов. Что, кроме ненависти, он может в их сердцах вызывать? А скольких его товарищей они хладнокровно истребили, пользуясь партизанской неопытностью и своим техническим превосходством в воздухе и на земле? Пользуясь своей безнаказанностью, так будет вернее. И вот час расплаты пришел. Смешно даже предположить, что эти выкорышши элитарных военных училищ примут новые революционные истины и признают справедливость и правоту

каждого революционного акта. В разъяснительную работу среди классовых врагов Че Гевара не верил. Нет, ни о каком сосуществовании здесь не может быть и речи. Существования нельзя допустить.

10

Через два дня в Гавану прибыл временный президент республики доктор Мануэль Уррутиа, и было сформировано гражданское правительство во главе с известным адвокатом Хосе Миро Кардоной. Ни один из командиров Повстанческой армии в кабинет министров не был включен. Фидель Кастро в те дни находился на другом конце острова, в Сантьяго. Команданте Камило Сьенфуэгос, вместе с Че Геварой вступивший в Гавану и занявший военный лагерь столичного гарнизона «Колумбия», по указу нового правительства стал командующим сухопутными силами страны, а его бывший командир Эрнесто Гевара был назначен на пост коменданта крепости «Кабанья»: как иностранец он, видимо, на большее не мог и рассчитывать.

Кандидатуру временного президента подобрал сам Фидель Кастро. Доктор Уррутиа стал широко известен на Кубе, после того как на суде над захваченными в плен двадцатью участниками высадки бригады Фиделя Кастро он, будучи одним из судей, заявил о своем особом мнении:

«Создание вооруженного формирования для борьбы против данного режима не противоречит духу и букве закона и конституции».

В те дни, когда никто на Кубе не сомневался, что экспедиция Кастро закончилась полным разгромом, особое мнение судьи Уррутиа имело большой резонанс. Выдвигая его кандидатуру, Фидель исходил из того, что доктор Уррутиа не принадлежит ни к одной из партий и «обладает достаточной подготовкой и личными качествами, чтобы уравнивать все законные интересы». Не последнюю роль при этом играло и то соображение, что доктор Уррутиа являлся судьей, то есть, согласно конституции, высшим должностным лицом, и передача ему узурпированной Батистой власти соответствовала принципу конституционной преемственности.

С таким подходом к кандидатуре на пост президента Че Гевара был категорически не согласен. Не вдаваясь в тонкости преемственности власти (и, видимо, считая,

что этот принцип к революции никакого отношения не имеет), Че Гевара полагал, что Фидель, называя имя Уррутиа, находился во власти эмоций.

«Мнение одного судьи в тот момент большого значения не имело, это был лишь благородный жест со стороны Уррутиа, однако следствием всего этого было появление плохого президента, неспособного... воспринять глубину революции, которая вышла за рамки его закостенелого мышления».

В эти смутные дни Че Гевара страдал от жестокого приступа астмы. Теплая вода столичной гавани плескалась совсем рядом, за стенами бастионов, наполняя воздух густым запахом гниющих водорослей и рыбы и вызывая тоскливое чувство неодолимого застоя. Босой, в солдатских штанах и белой безрукавке, Че неподвижно лежал на железной койке, не выпуская из рук ингалятор, бледное лицо его было покрыто потом, взгляд неестественно расширенных глаз обращен вовнутрь... Время от времени его щуплое тело начинало сотрясаться от кашля, и в дверях с безмолвным вопросом на лице появлялась Алеида, он делал ей знак, чтобы она ушла. Небольшая комната со сводчатым потолком, с зеркалом и старинным комодом производила впечатление кельи, принадлежащей странствующему монаху какого-то воинственного ордена: на гвозде, вбитом в стену, висел автомат, на комодe лежал пистолет...

Утром 8 января, триумфальным маршем пройдя через всю страну, в Гавану во главе Первой колонны вступил Фидель Кастро. Улицы, по которым проезжал торжественный кортеж, были заполнены людьми, церковные колокола непрерывно звонили. Перекрывая крики толпы, гудели стоявшие в гавани корабли. Фрегаты «Максимо Гомес» и «Хосе Марти» встречали главкома орудийным салютом. Девушки в красных блузках и черных юбках (цвета «Движения-26»), специально сшитых к этому дню, ликующими криками приветствовали верховного вождя. Фидель Кастро, напряженный и как будто скованный, сидел в открытом джипе рядом со своим сыном, десятилетним Фиделито, и Камило Сьенфуэгосом. Рауль Кастро в это время находился в Сантьяго, в казарме «Монкада». Камило, длиннобородый, как Робинзон, в широкополой шляпе, с автоматом наизготове и в куртке с меховым воротником, был как будто во власти темного ветра судьбы (жить ему оставалось недолго), а Фиделя озарял жгучий солнечный свет.

С балконов на них сыпались цветы. Какой-то энтузиаст установил возле госпиталя бюст главкома, накрытый белым покрывалом. Фиделя окликнули: «Смотри сюда!» — и сдернули покрывало. Он недовольно поморщился и попросил немедленно убрать эту пошлость...

А Че Гевара наблюдал за процессией в бинокль, стоя на крепостной стене «Кабаньи». Вот как описывает его восторженный летописец первых лет революции капитан Нуньес:

«Че Гевара, одетый в свою обычную скромную форму оливкового цвета и черный берет, опоясан патронташем, с пистолетом 45-го калибра на боку. Над правым глазом у него след раны, одна рука на перевязи в гипсе — память о кампании в Лас-Вильяс. Бледное усталое лицо, но при виде того, как въезжает в город Фидель, в глазах его сверкает радость победы».

По Авенида-де-лас-Мисьонес колонна подъехала к президентскому дворцу; главнокомандующий вышел из машины, чтобы засвидетельствовать уважение президенту республики. Короткая речь с балкона — и кортеж направляется в военный городок «Колумбия». Ворота «Колумбии» распахнуты настежь, народ внес туда Фиделя на руках. На территории городка состоялся массовый митинг — прообраз будущих народных ассамблей, на которых теперь будут единодушно одобряться важнейшие правительственные решения.

Речь Фиделя Кастро продолжалась до темноты. По трибуне перед микрофоном прохаживался белый голубь, на плечо Фиделя то и дело садился другой, и тогда толпа кричала от восторга. Время от времени «хефе максимо» прерывал свою речь и, как бы желая подчеркнуть, кто здесь, в «Колумбии», хозяин, обращался к Камило Сьенфуэгосу: «Правильно я говорю, Камило?» «Вива Камило!» — шумела толпа. Для жителей Гаваны Сьенфуэгос был первым бородачом, которого они увидели вживе (бог-громовержец, спустившийся со Сьерры с автоматом в руках), и Фидель Кастро как будто проверял, не слишком ли гулко эхо этого имени... Об Эрнесто Геваре «хефе максимо» сказал несколько лестных слов, назвав его подлинным героем революции. Впрочем, самого Че Гевары на митинге не было: он приехал в «Колумбию» вечером.

«Я сопровождал Че Гевару от «Ла Кабаньи» до бывшей главной казармы тирании, — рассказывает капитан Нуньес. — Героический партизан хотел приветствовать

своего главнокомандующего. Их встреча произошла спустя несколько месяцев после прощания в Сьерра-Маэстре, когда Че начал свой поход к центру страны. Че консультируется с Фиделем о своих обязанностях на новом посту».

Пост коменданта крепости-тюрьмы вовсе не был таким уж незначительным. Помимо важного стратегического положения в столице (недаром Фульхенсио Батиста вверил ключи от «Кабаньи» своему родичу), крепость была подходящим местом для того, чтобы там без помех могло вершиться революционное правосудие. Надежный гарнизон «из серьезных парней», внушительные стены, полная недосягаемость для прессы и вообще любых наблюдателей извне... нужен был негибачаемый, твердокаменный революционер, который сумел бы оградить революционные трибуналы от всякого вмешательства в их работу.

А работа предстояла немалая. Еще в горах был разработан «Закон о военных контрреволюционных преступлениях», согласно которому перед трибуналом должны были предстать те военнослужащие, которые совершали злодеяния во время войны. И армии было прекрасно известно содержание этого закона: недаром генералы, шедшие на контакт с герильей, требовали гарантий для военных, которые не запятнали свой мундир зверствами против партизан и мирного населения. Их это волновало уже тогда.

Однако об этой новой роли, которую согласился взять на себя главный идеолог герильи, известно было лишь тем, кому об этом положено знать. Гавана с любопытством присматривалась к молодым триумфаторам. Романтическая бледность загадочного аргентинца и его рука на черной перевязи — это выделяло его среди смуглых бородачей, навевало мысль о какой-то загадочной тайне. Девушки находили, что Че Гевара очень красив: у него такой странный, завораживающий взгляд, а когда он улыбается, то становится просто неотразимым. Телевидение и пресса, с азартом принявшие осваивать свежий материал, за несколько дней сделали Че Гевару человеком Латинской Америки. Познакомиться со странствующим рыцарем революции считал за честь сенатор из Чили Сальвадор Альенде, назвавший своего аргентинского коллегу «одним из великих борцов Америки». Посыпались письма от людей, знавших Эрнесто Гевару прежде и желавших теперь удостовериться, тот Гевара или не тот.

«Дорогой Фернандо! Знаю, что у тебя были сомнения в отношении меня, я это или не я, хотя действительно я уже не тот, каким ты меня знал. Много воды утекло с тех пор под моими мостами, и от прежнего астматика и индивидуалиста осталась только астма... Я продолжаю оставаться любителем приключений, хотя теперь мои приключения преследуют правильную цель... Прими братские объятия от Че, ибо таково мое новое имя».

Время славы... Право сказать о себе: «Я это или не я», «я уже не тот», — и рассчитывать не просто на внимание, но на жадный интерес собеседника. Неприличным считается даже намекать на то, что великим людям не чужды подобные побуждения, между тем как великими становятся не оттого, что родились под вифлеемской звездой: великими становятся оттого, что безошибочно выбрали время и место для приложения своих усилий. До Тулона Наполеон руководствовался ординарными соображениями, это открытие завораживает обывателя, не подозревающего о том, что, подобно Наполеону, он тоже носит на плечах вселенную, только в этом тускло освещенном мирке не вибрирует, не пульсирует белый карлик честолюбия: взрыв сверхновой, происшедший на подступах к Тулону, не отменил ординарных соображений, просто они были возведены в степень величия. И еще к ним прибавилось убеждение, что все идет правильно, что воистину «преследуется правильная цель». Счастливое и опасное заблуждение, ибо осознанная цель никогда не бывает правильной — во всяком случае, настолько правильной, чтобы об этом стоило хоть кому-нибудь сообщать.

«Мог ли ты вообразить, что известный тебе любитель поболтать и попить мате превратится в человека, без усталости трудящегося на пользу делу?»

Это из письма Альберто Гранадосу, который все эти годы, надо полагать, тоже не сидел сложа руки: Эрнесто пригласил его поселиться на Кубе, равно как и своего гватемальского друга Патохо, который все еще фотографировал североамериканских туристов в Мехико-сити. И оба они откликнулись на это приглашение.

Желая сделать сюрприз своему бывшему командиру, командующий сухопутными войсками республики послал в Буэнос-Айрес специальный самолет за родителями Эрнесто Гевары: страна, избавившаяся от тирании, могла позволить себе небольшое излишество. Как уже говорилось выше, дон Эрнесто разволновался, а может быть,



и слегка оробел: лететь на остров, опаленный огнем революционной войны, — это ведь не то, что планировать десантную операцию по освобождению сына из плена. И храбрая донья Селия отправилась в Гавану одна: вот неопровержимое доказательство биологической связи матери с сыном, которым не мог не воспользоваться испанский психоаналитик. А ведь по-человечески все было очень просто и ни в каких толкованиях не нуждалось: «старая дама» (так шутливо называл ее в разговорах с Ильдой Эрнесто) умирала от гордости за своего первенца и счастлива была, что в час своего триумфа он про нее не забыл. Она везла сыну вырезки из аргентинских газет, в которых упоминалось его имя: «Эрнесто Гевара, аргентинский врач, романтический герой борьбы за свободу Кубы, рядом с легендарным Фиделем Кастро, как фигура из иных веков, сияет в сердцах и душах свободных народов».

«Из иных веков» — это должно было понравиться Эрнестино; о его особом отношении к временному странству, о его ревности к вечности донья Селия, наверное, догадывалась: матери чувствуют подобные вещи, хотя и не всегда умеют выразить их словами. О, как она смотрела на своего неузнаваемого, бородатого, возмужалого сына, когда, обнимая ее за плечи, он говорил ей:

«Эту страну придется переделать, старушка. Она плохо сделана».

И донья Селия верила, что ее Чанчо под силу переделать страну, да что там страну — весь континент, и знала, что отныне и до последнего вздоха она будет его верной и ревностной помощницей. Она даже похорошела в этот час: глаза ее горели молодым огнем, движения стали быстры и сухи, сестрой — вот кем она хотела стать своему Эрнестино, революционной сестрой. И ярко красила губы.

Большое любопытство, должно быть, появилось на лице доньи Селии, когда она знакомилась с очаровательной хозяйкой казематов «Кабаньи» — Алеидой Марч.

«Юная, прелестная и храбрая! — так, если верить нашей житийной литературе, отозвалась о новой подружке сына любящая мать. — А как же Ильда?»

«Ильде я сообщил, она отнеслась с пониманием к случившемуся, согласилась оставить нам Ильдиту...»

И одной фразой автор подводит под этой беспокойной темой благостную черту:

«У нее (то есть у Ильды Гадеа) были свои интересы и друзья».

Увы, все это разрешилось не так легко и просто: никаких интересов, помимо Эрнесто, у Ильды не было. Женщина по латиноамериканским меркам уже немолодая, она не могла и не хотела начинать новую жизнь — и, естественно, прилетела с дочкой к своему мужу. Случилось это 21 января...

Сальгадо тоже отмахивается от мелких житейских проблем, совершенно не интересных для правоверного фрейдиста: «Ильда и Ильдита приехали на Кубу. Че устроил их судьбу». И весь разговор, очень по-европейски.

Но Ильда совсем не за этим приехала к мужу. Чтобы все понять, ей достаточно было бросить взгляд на молодую секретаршу Эрнесто: Алеида была в положении и очень этого стеснялась. Между Ильдой и Эрнесто состоялся тяжелый разговор, о содержании которого нетрудно догадаться.

«Лучше бы меня убили в бою», — видя мое горе, сказал Эрнесто. Я быстро взглянула на него и ничего не ответила».

Возможно, ей вспомнился давний разговор в Гватемале, когда на митинге они с Эрнесто увидели важного правительственного чиновника, которого нежно держала под руку молоденькая красотка.

«Почему это он гуляет с другой женщиной?» — возмутился Эрнесто.

«Ну, может быть, у него проблемы с женой», — лукаво ответила ему Ильда.

Эрнесто пожал плечами:

«Я понимаю, если бы он оставил жену ради думающей женщины вроде тебя. Но менять одну смазливую мордашку на другую — для политика это несерьезно».

Можно, конечно, предположить, что Ильда этот разговор не то что выдумала, но представила себе очень живо, такие вещи с авторами воспоминаний случаются. Но нужно знать Эрнесто с его настойчивой требовательностью к жизни. Как верно заметил один из мучеников боливийской герильи, «Че любил жизнь такую, какой, по его мнению, она должна была быть». И вряд ли Ильда стала бы набирать очки («думающая женщина») таким простым способом: она любила Эрнесто, была ему верной женой и эту свою репутацию не променяла бы ни на какую другую.

Законы революционного времени позволяли быстро решать и не такие запутанные дела, как развод, однако

Че Геваре пришлось ждать четыре месяца: Ильда своих прав уступать не хотела.

Есть хорошая фотография, сделанная 15 февраля того же, 1959 года на дне рождения маленькой Ильды Беатрис: мать, держа на коленях дочку, с горестным укором смотрит на Че Гевару, дочка тоже глядит на него — пытливо и недоверчиво: этого бородатого солдата, даже за столом не снимающего черный берет, она воспринимает как отца только с материнских слов. Че Гевара чувствует себя неловко: взгляд его уклончив, губы сложены так, как будто он что-то беззаботно насвистывает, поза случайно забежавшего гостя. А женщины, толпящиеся вокруг, смогли на него с затаенным любопытством и притворным весельем...

До конца мая Ильда не теряла надежды. Как, должно быть, встрепенулось ее сердце, когда, давая интервью перед телекамерой, Эрнесто сказал:

«В Гватемале меня преследовали, арестовали мою жену, выслали ее на границу с Мексикой...»

Да никто его не преследовал в Гватемале, он сам себя преследовал всю жизнь. Но дело было не в этом: Эрнесто назвал ее женой, значит, не все еще потеряно...

Че Гевара действительно устроил судьбу Ильды на Кубе: она получила работу в престижном и весьма влиятельном Институте аграрной реформы (ИНРА), в том же здании, где работал и сам Эрнесто, только его кабинет находился на восьмом этаже, а ее жилищная комиссия — на четвертом. Иногда Ильда брала с собой на работу Беатрис — и приводила на восьмой этаж, поиграть у отца в приемной. Надо отдать должное Че Геваре: к девочке он относился с отцовской нежностью, и она тоже к нему привязалась. Свадьба его с Алеидой состоялась лишь второго июня, на церемонии присутствовали команданте Рауль Кастро и его жена Вильма Эспин. Брак оказался счастливым: за пять лет супружеской жизни Алеида подарила своему мужу двух дочек и двух сыновей.

Комендантская служба в «Ла Кабанье» не приносила Че Геваре особых радостей: в течение трех месяцев в крепости непрерывно заседали революционные трибуналы, рассматривавшие дела о военных контрреволюционных преступлениях, и ему как коменданту приходилось подписывать смертные приговоры. Приводил их в исполнение Умберто Родригес, выполнивший эти печальные обязанности в отряде Че со времен «Эль Омбрито». Позднее, впрочем, этот надежный человек совершил

загадочный поступок, которому Че не дает объяснения: Умберто по собственной инициативе застрелил одного заключенного и, прихватив с собой второго, бежал в Майами.

«Революционный суд над палачами народа,— убежденно пишет Фунг Талия,— ликвидировал буржуазные кодексы и буржуазное судопроизводство, имея в виду пресловутую «автономия судебной власти», основанную на так называемом разделении властей по Локку-Монтескье. Судебная власть как вершитель правосудия превратилась в орган революционной власти, потеряв функцию поддержки и воспроизведения буржуазной системы». Нам, рассматривающим разделение властей как прекрасную цель, пока еще не достигнутую, этот логический пассаж покажется, по меньшей мере, сомнительным, и это естественно: век нетерпимости на исходе, а тогда, в пятьдесят девятом, он приближался к своей кульминации.

В нашей тогдашней литературе отмечалось, что революционные трибуналы в «Кабанье» заседают с приглашением адвокатов и свидетелей, в присутствии журналистов, иногда даже шла прямая трансляция по телевидению.

«Почти все обвиняемые признавали себя виновными».

Рассказывает Рауль Кастро:

«Впервые в истории Кубы стали расстреливать преступников — тех, кто убивал и пытал людей. И практически весь народ был согласен с этим. Ведь такой справедливости на Кубе не видели за всю ее историю, включая войну за независимость».

Введение высшей меры, слияние судебной и исполнительной властей представлялись тогда факторами правового прогресса, из этого исходил и Че Гевара, исполнивший свой суровый революционный долг.

Вряд ли соответствует истине утверждение Дэниэля Джеймса, что Че Гевара по собственной инициативе «методично уничтожил предреволюционную кубинскую армию в кровавой бане, которую он начал после триумфа повстанцев Кастро в 1959 году»: не мог иностранец начать на Кубе «кровавую баню», кубинское гражданство Гевара получил лишь в феврале, а о том, что латиноамериканцы, и в частности кубинцы, относятся к гражданству серьезно, свидетельствует тот факт, что за всю историю Кубы до Че Гевары такой чести был удостоен лишь один человек, доминиканец, один из вождей войны за независимость Кубы.

Разумеется, в том, что угрюмое дело поручено иностранцу, не имеющему на Кубе родовых корней, была своя логика, однако Че Гевара вовсе не горел желанием войти в историю в качестве «черного человека герильи», он предпочел бы не превращать живую плоть в мертвую, а переделывать ее, перекраивать, чтобы она быстрее жила. Но таково было поручение революции, и Че Гевара выполнял его истово и усердно, с полной уверенностью в своей правоте.

«Расстрелы? Да, мы расстреливали, расстреливаем и будем расстреливать, пока это нужно, — скажет он через шесть лет на Генеральной Ассамблее ООН. — Наша борьба — это борьба не на жизнь, а на смерть. Мы знаем, каков был бы результат проигранной нами битвы, теперь и они должны узнать, каков результат битвы, проигранной ими на Кубе».

Рикардо Рохо, посетивший Гавану в те первые месяцы, навестил своего приятеля в «Кабанье» — и опять, в который раз, застал его новым, неожиданным: буржуазная пресса изображала его злобным, пышущим лютой ненавистью убийцей, а команданте Че оказался спокойным, трезвым, рассудительным и даже — вот чудо! — научившимся сочувственно выслушивать оппонента. Какие только речи не звучали под сводами «Кабаньи»! А потом человека уводили в дальний бастион — и наступала тишина.

Беседа двух приятелей была продолжительной: забралась в глубины истории, поговорили о сегодняшнем дне Латинской Америки, о корнях варварства и нищеты. Для Че Гевары все зло крылось в империализме янки: щупальца, присосавшиеся к телу Трех Америк, нужно было обрубить. На спор он идти не хотел, а возражения слушал молча, с терпеливой улыбкой, словно лепет ребенка или больного...

В Майами, который до триумфа революции был центром поддержки герильи, а теперь стал местом, где собирались антикастровские беглецы, рассказывали, что Че Гевара очень неохотно подписывает смертные приговоры и сердится, когда ему дают понять, что подпись неразборчива. И будто бы однажды, после утверждения смертного приговора капитану Кастиньо, Че Гевара приказал погасить в кабинете свет, выставил на стол бутылку «Кьянти» и, пригласив одного из своих подчиненных составить компанию, сделался вдруг необыкновенно словоохотливым.

«Я знаю, что мне не жить в этой стране: когда начнется бунт, с меня же первого сдерут шкуру. Фидель, если дадут ему говорить, их убедит, Рауля зарежут без промедления, потому что он невыносим, и Альмейду уложат сами же негры. А меня — ясно, что меня провезут в клетке по Прадо и кинут акулам. Нет, в самом деле, я выходил сегодня на скалы и видел внизу одну, огромную, она как будто меня поджидала. Ненавижу военных с тех пор, как меня объявили негодным...»

Концовка подвела рассказчика: никак, ни при каких условиях Эрнесто Гевара не мог произнести такую фразу, переводящую его претензии к военному сословию из идеального в личный ряд. А значит, сомнительно и все остальное: этот анекдот служит лишь доказательством того, что люди в Майами питали к Че Геваре особую, сосредоточенную ненависть и, лелея планы сладкой мести, действительно готовили для него особую казнь.

Печать и телевидение, находившиеся на Кубе в те времена в частных руках, называли Че Гевару агентом Москвы и требовали, чтобы он прекратил проливать кубинскую кровь. Доставалось и Раулю, который, подобно Геваре, вершил революционный суд на другом конце острова, в крепости «Монкада». Кампания против Рауля и Че носила такой яростный характер, что как-то раз на пресс-конференции Фидель Кастро в сердцах сказал журналистам:

«Если бы вы так воевали против Батисты... хоть один месяц!»

21 января у Президентского дворца состоялся массовый митинг поддержки революционного правосудия. Жители Гаваны пришли на этот митинг с заранее подготовленными плакатами. «Потряси ветку, Фидель!» — такова была подпись под рисунком, изображающим дерево с раскидистой кроной, из которой на землю сыплются мелкие, как гусеницы, контрреволюционеры. Фидель Кастро произнес страстную речь, начинавшуюся словами:

«Я не обязан отдавать отчет...»

В ней говорилось о том, что не имеют морального права на протест против казней военных преступников те, кто виновен в Хиросиме. По свидетельству Нуньеса, во время речи из толпы слышались одобрительные выкрики:

«Потряси дерево, Фидель, и оставь ветку для Рауля!»

Когда Фидель Кастро обратился к собравшимся с вопросом, согласны ли они с тем, чтобы Рауль стал его заместителем в руководстве «Движения-26», толпа ответила единодушным «Да!». Так родился феномен народного голосования: в дальнейшем Фидель Кастро неоднократно прибегал к этому методу одобрения наиболее важных решений революционного руководства страны. Именно в этот день, видимо, под впечатлением единодушного народного голосования, премьер Хосе Миро Кардона заявил о том, что подает в отставку.

7 февраля в статью XII отмененной Батистой конституции 1940 года было внесено дополнение о том, что гражданами Кубы становятся «те иностранные граждане, которые сражались против диктатуры в рядах Повстанческой армии в течение двух или более лет и при этом по крайней мере год носили звание команданте». На Кубе был лишь один иностранец, чья биография соответствовала этим требованиям. И через два дня в специальном декрете президент Уррутиа провозгласил Эрнесто Че Гевару гражданином республики со всеми правами коренного кубинца. Выступая по гаванскому телевидению, Че Гевара поблагодарил кубинский народ за оказанную ему высокую честь и изложил свои взгляды на будущее, ожидающее его новую родину.

«На Кубе мы являемся рабами сахарного тростника, который, подобно пуповине, привязывает нас к североамериканскому рынку»...

Надо думать, не одно сердце вздрогнуло, когда бледнолицый команданте с чужеземным акцентом произнес это слово: «Мы». Даже самые проникательные люди, которым все заранее ясно, вряд ли могли догадаться, почему выступление нового гражданина Кубы носит глубоко экономический характер: именно Эрнесто Че Геваре будет доверено социалистическое переустройство экономики страны.

Впрочем, слова «социализм, социалистический» были тогда на Кубе еще не в ходу: в обращении к нации ветераны Монкады заявили о том, что целью «Движения 26 июля» является «всеобщая и окончательная социальная справедливость», основанная на экономических и промышленных достижениях, путем осуществления согласованного и совершенного плана, который явится плодом трудолюбивого и продуманного изучения».

Нам, с высоты нашего горького опыта, в самом сочетании слов «окончательная справедливость» видится

что-то тревожное, но молодым ветеранам Монкады такого рода тревога была еще не знакома. Мало смущало их и то, что план переустройства экономики еще не разработан, его созданию должно предшествовать «трудолюбивое и продуманное изучение» того, что имеется. Зачем же медлить, когда все ясно? Перераспределение земли, капитала, вообще собственности — вот столбовая дорога к полной и окончательной справедливости.

И мы, тогдашние мы, с пониманием и живейшим сочувствием относились к нетерпению кубинских бородачей. «Теперь они стали старше, теперь они пришли к власти, — писал о новых кубинских лидерах один из наших журналистов. — И логика борьбы, логика революции обязывает их действовать сейчас же, сразу, не дожидаясь, пока будет разработан «согласованный и совершенный план».

И самым активным, самым запальчивым сторонником обязывающей логики революции», принуждающей к немедленной ломке старого механизма, принципы действия и устройство которого ясны лишь в общих чертах, самым нетерпеливым из бородачей был Че Гевара. Когда по поручению премьер-министра Фиделя Кастро Фелипе Пасос, президент Национального банка, и Рехино Боти, министр экономики, разработали программу хозяйственного развития Кубы, рассчитанную на десять лет, Че Гевара пришел в исступление:

«На десять лет? Невозможно, Фидель! Мы не успеем. Они умрут, Фидель! Поверь мне, что все они умрут. Пойми, я медик и разбираюсь в этом. Из истощенных детей Сьерра-Маэстры не останется ни одного!»

Отчаяние его было настолько велико и искренне, что нельзя было ему не поверить: детям Сьерра-Маэстры угрожает страшная участь, и поэтому нужно спешить. Все революции мира идут под аккомпанемент взволнованных возгласов: «Скорее! Сейчас же! Немедля! В кратчайшие сроки!» Неистребимо стремление смертного уместить всю историю человечества в рамки собственной жизни.

16 февраля Фидель Кастро приступил к выполнению обязанностей главы правительства. В своей первой речи он призвал министров к личной скромности и к самоограничению:

«Революционер сумеет быть счастлив в коммунальной квартире, ложась спать на кушетку с ящиком для постельного белья. Ему достаточно одного блюда из ма-ланги или картошки: он их находит изысканнее манны

небесной. Он может роскошно жить на сорок сентаво в день».

Первые декреты правительства Кастро были направлены на улучшение материального положения горожан: снижены были тарифы на электроэнергию, плата за пользование телефоном, вдвое уменьшена квартплата для городской бедноты, снижены цены на медикаменты. Цель этих мероприятий была ясна: горожане, основные участники уличных митингов и народных ассамблей, должны были почувствовать реальные изменения к лучшему. Ради этого стоило даже пойти на конфликт с северным соседом: «Кубан электрик компани» осталась очень недовольна таким ходом событий.

Были и другие неприятные последствия этих решений, проявившиеся не сразу: начался отлив капиталов из сферы коммунального обслуживания, что привело к массовым увольнениям.

Новое правительство закрыло публичные дома и игорные притоны, что, естественно, сократило приток туристов и валютные поступления, но такого рода издержки были конечно же неизбежны.

«Подобно артиллерийской батарее, огонь которой направлен на устаревшие буржуазные привычки и капиталистические структуры, — с энтузиазмом пишет Антонио Нуньес Хименес, — Совет министров, возглавляемый главнокомандующим, начал выстреливать законы, декреты и указы, выбивающие почву из-под ног у эксплуататоров, которые стремились выжить, рядясь порой в революционные одежды...»

Че Гевара не участвовал во всей этой деятельности нового правительства. Не было его даже на первом расширенном заседании Совета министров с участием командиров Повстанческой армии: Че Гевару представлял капитан Нуньес. Отсутствие коменданта «Кабаньи» не ускользнуло от внимания газетчиков: в печати появились предположения, что Че Гевара сам стал жертвой чистки, что его держат в изоляции. Ходили слухи, что Че Гевара крайне неприязненно отнесся к намерению Фиделя Кастро посетить США и открыто заявил, что эта поездка компрометирует «Движение 26 июля».

О том, что по отношению к Фиделю Че Гевара находился в оппозиции слева, мы уже говорили выше, равно как и о ревнивом его внимании к североамериканским контактам верховного вождя. Фидель не мог не считаться с этой критикой слева, но отвечать тем же ему мешало

правило, согласно которому у революции не может быть противников с левого фланга (только союзники): следовательно, для ответной критики Че Гевара был недосягаем. На эту особенность революционных движений XX века приходилось наталкиваться и нам. Что же касается исчезновения Че с политической арены в такой ответственный момент, то оно было связано с состоянием его здоровья.

«25 месяцев войны в Сьерре, месяцы голода и лишений, недосып, трудности похода по равнине Лас-Вильяс не могли не сказаться, — пишет Ильда Гадеа. — У Эрнесто в одном легком развился туберкулезный процесс».

В день присяги правительства Кастро Эрнесто находился в госпитале. Он исхудал настолько, что, по его собственным словам, похож был на мексиканского комика Кантинфласа. К туберкулезу добавлялись непрекращающиеся приступы астмы и итошение нервной системы, одной из причин которого была запутанность его семейных дел.

По рекомендации врачей Че перебрался из «Ла Кабаны» в небольшой коттедж в фешенебельном пригороде Гаваны, известном под названием Тарара. Коттедж принадлежал раньше какому-то сановнику Батисты и был не самым роскошным среди дворцов, выстроившихся вдоль просторного пляжа Тарары и носивших имена сиятельных содержанок: «Лолита», «Росита», «Карменсита» и так далее. Все эти виллы и особняки отличались бесстыдной пышностью, даже стены ванных комнат в них были обиты плюшем, на пляже перед их окнами были разбиты посреди песка цветущие лужайки, выстроены бассейны с морской водой...

Когда газетчики узнали, где находится грозный комендант «Кабаны», радости их не было предела: вот оно, лицемерие новых вождей, вот чего стоят их призывы жить в коммуналке на сорок сентаво в день. Прочитав одно из сообщений на эту тему. Че сделал письменное разъяснение:

«Тарара, 10 марта 1959 года.
Товарищу Карлосу Франки,
директору газеты «Революсьон»,
Гавана.

Товарищ Франки!

В журнале «Картелес», в разделе «Следом за сообщением», который ведет Антонио Льяно Монтеc, я уви-

дел заметку, которая меня заинтересовала, поскольку затрагивает мою революционную честь следующей, внешне безобидной, фразой: «Команданте Гевара выбрал себе резиденцию в Тараре...»

Разъясняю читателям «Революсьон», что я болен и что свою болезнь я приобрел не в игорных домах и не в ночных кабаре, а работая на пределе своих физических возможностей во имя революции.

Врачи рекомендовали мне уединение для восстановления сил, и, поскольку мое жалование офицера Повстанческой армии, составляющее 125 песо в месяц, не позволяет снять помещение, достаточно просторное, чтобы разместить всех людей, которые должны со мной находиться, мне был предоставлен дом, принадлежавший ранее одному из деятелей бывшего режима.

Эта вилла, при том что я выбрал наиболее скромную, действительно роскошна, и это может задевать общественность. Обещаю сеньору Льяно Монтесу и всему народу Кубы, что освобожу ее, как только поправлюсь».

Письмо написано в сдержанной манере, с достоинством, без гнева и возмущения, о которых свидетельствует капитан Нуньес:

«Как же разгневан был Че, когда один реакционный писака опубликовал лживое сообщение о том, что он якобы отдыхал на такой вилле!»

«Якобы отдыхал...» Благородное стремление капитана Нуньеса к улучшению фактов, к их очистке от нежелательных обертонов понятно, однако именно с таких крохотных «якобы» и начинается порою долгий путь, ведущий к печальному тупику.

11

Именно в Тараре в обстановке строгой секретности небольшая группа особо доверенных лиц, в которую входили Че Гевара, Вильма Эспин и Антонио Нуньес Хименес, по поручению премьер-министра готовила проект закона об аграрной реформе. Сам Фидель Кастро в этой работе не участвовал. Когда проект был готов, его передали на отшлифовку в министерство революционного законодательства, и 17 мая 1959 года в Сьерра-Маэстре состоялось торжественное заседание Совета министров, на котором закон был принят, и «Радио Ребельде» оповестило об этом страну.

Кубинские крестьяне, еще во время герильи привыкшие к мысли о том, что вслед за победой начнется перераспределение земли, с нетерпением ждали этого часа. Кое-где, в зонах, достаточно долго находившихся под контролем Повстанческой армии, перераспределение уже свершилось, и крестьяне давали отпор всем попыткам вернуть землю прежним владельцам. Из-за этого и произошли первые серьезные столкновения между премьер-министром и президентом: доктор Уррутиа считал, что любой передел земли до принятия соответствующего закона есть произвол, а командиры Повстанческой армии, которые сами этот передел проводили, не желали и слышать о восстановлении прежнего порядка и апеллировали к «хефе мáксимо».

В законе от 17 мая были воплощены основные идеи, которые отстаивал Че Гевара. Все поместья свыше четырехсот гектаров подлежали экспроприации; изъятые земли безвозмездно распределялись среди безземельных и малоземельных крестьян, их бывшие владельцы получали возмещение государственными бонами — по расценкам 1936 года, поскольку именно с этой объявленной стоимости землевладельцы платили налоги вот уже двадцать три года. Боны обеспечивали держателям 4,5 процента годовых и погашаться должны были в течение двадцати лет. Именно так, по утверждению Че Гевары, решил земельный вопрос в Японии генерал Дуглас Макартур, когда возглавлял там оккупационную администрацию США.

«Эти гринго — не дураки. Они покончили в Японии с латифундиями, перевели туда капиталы — и теперь получают прибыли. Нет, они не дураки».

Собственно, наш, советский Декрет о земле, предусматривавший немедленную конфискацию помещичьих имений целиком, со всем инвентарем и без всякого выкупа, был куда радикальнее. Но апеллировать к советскому опыту в то время на Кубе не было принято. Впрочем, для Че Гевары закон от 17 мая был лишь первым шагом к окончательному решению земельного вопроса.

«На первых порах надо удовлетворить минимальные требования крестьян, выражающиеся в вековой тоске по земле, которую они хотят обрабатывать. А далее, используя духовный подъем военного времени, когда братство людей получает наиболее полное выражение, следует стимулировать все формы кооперирования, насколько позволяет уровень сознательности...»

Помимо духовного подъема военного времени, который не успел еще миновать, Че рассчитывал также и на то, что чувство собственности у кубинских батраков и арендаторов (а их на острове было больше, чем крестьян, владевших землей) не слишком развито, а потому их легко убедить, что объединение выгоднее. Правда, о перспективе коллективизации в тексте закона упоминалось лишь единожды — в форме пожелания. Да и это пожелание, как рассказывает капитан Нуньес, было вписано Фиделем Кастро в последнюю минуту, когда вертолет уже вез его в Сьерра-Маэстру на торжественное заседание правительства.

Но даже на первом этапе проведение реформы обещало сложности. И дело было не только в том, что владельцы латифундий не могли смириться с тем, что вместо земель им раздадут долгосрочные облигации. В списке подлежащих экспроприации латифундий первое место занимали два десятка сентралей, обеспечивавших 82 процента экспорта сахара, а значит, и солидную часть валютных поступлений страны. Причем одиннадцать из них, далеко не самые мелкие, принадлежали североамериканским компаниям. Фидель Кастро предупредал:

«Когда мы возьмем под контроль сахарные сентралы, североамериканцы завопят во весь голос, контрреволюционная кампания достигнет своего апогея, возмущение прессы и радио поднимется до стратосферных высот, к их услугам будут все трусы, все дезертиры. Следует знать об этом, чтобы события никого не застали врасплох».

Потому решено было до конца 1959 года не трогать плантации сахарного тростника. Первый удар приняли на себя скотоводы: под экспроприацию попадали восемь тысяч ферм, на лугах которых разгуливали три миллиона голов крупного рогатого скота (все поголовье составляло тогда пять миллионов, стадо не бедное, и это давало Фиделю Кастро основания надеяться, что со временем Куба станет солидным экспортером мяса).

С детским изумлением описывает капитан Нуньес богатое скотоводческое поместье, куда он прибыл как директор Национального института аграрной реформы (ИНРА) с целью обследования и подготовки к экспроприации:

«Удивительная по красоте каменная стена, напоминающая бастионы средневековых испанских крепостей...

Огромный сад, освещенный старинными бронзовыми фонарями... Залы, наполненные драгоценностями древних династий Поднебесной империи... На стенах — росписи, свидетельствующие о феодальной мании величия их владельца, в то время как живущие рядом несчастные гуахирос влчат жалкое существование в хижинах, крытых пальмовым листом...»

Капитан Антонио Нуньес Хименес — видный ученый, автор классической «Географии Кубы», которая из-за ее антиимпериалистической направленности так и не была издана во времена Батисты, и тем не менее в том, что касается сокровищ Поднебесной империи, он, должно быть, увлекся, немного преувеличил: скотоводы Кубы были и в самом деле не бедняками, но их богатство имело свои пределы.

Реакция обитателей «дворянских гнезд» не заставила себя ждать. Ассоциация скотоводов провинции Камагуэй опубликовала предостерегающее заявление: «Резкое изменение экономической системы страны повлечет за собой остановку всего хозяйственного механизма с неизбежными последствиями голода и нищеты. Подобная остановка ни в коей мере не явится результатом действий экономически состоятельных классов, а будет очевидным следствием принятого закона...» Скрытую в этом тексте угрозу нетрудно было расшифровать.

Крестьяне встречали уполномоченных ИНРА с энтузиазмом: для них это были вестники справедливости. По всей Кубе деревенская молодежь распевала частушки: «Вот пришел команданте — и приказал их прикрыть...» На дверях крестьянских хижин можно было увидеть надпись: «Это твой дом, Фидель!» К слову сказать, премьер-министр вел в те времена кочевую жизнь, не ночуя дважды на одном и том же месте, никто не мог в точности знать, где он в данный момент находится, а связь с ним можно было поддерживать через усадьбу Кохимар.

Для ускорения аграрной реформы страна была разделена на зоны сельскохозяйственного развития, во главе которых стояли инспектора ИНРА.

«Руководители зон, — учил президент ИНРА Фидель Кастро, — это должны быть люди, умеющие даже воевать. У них больше власти, чем у военных комиссаров. Эта практически безграничная власть требует, чтобы ее умели применять, и применять хорошо».

Видимо, не всегда и не у всех это получалось, потому что Фидель Кастро предостерегал: нельзя выселять

хозяев из поместий, нельзя их оскорблять и запугивать; недопустимо, когда уполномоченный ИНРА, попав в поместье, располагается в спальне хозяина и ведет себя при этом, как властелин мира.

Первоначально Институт аграрной реформы занимался лишь инспекцией поместий и разбором конфликтов, неизбежно возникавших при переделе земли. Однако постепенно сфера действий ИНРА расширялась: пришлось заняться строительством домов для переселенцев, переработкой сельскохозяйственной продукции, производством инвентаря и, естественно, планированием и финансами. Так ИНРА, к огромной радости директора Нуњеса, стал подменять собою правительство. И Фидель Кастро, которому все труднее было находить общий язык с президентом Уррутиа и с умеренными министрами своего кабинета, всячески содействовал такому развитию событий. Газеты «Авансе» и «Диарио де ла Марина», выражавшие интересы землевладельцев, убеждали своих читателей, что ИНРА берет на себя слишком много и что страной фактически руководят два человека: команданте Кастро и капитан Нуњес.

Че Гевара, по-прежнему числившийся комендантом крепости Кабанья и не занимавший никаких правительственных постов, был неизменным участником совещаний ИНРА, проходивших, как правило, за закрытыми дверями. Такая «революция в революции», уплотнявшая время и позволявшая одним и тем же людям принимать решения и распоряжаться их исполнением, ему очень нравилась:

«На этого резвого и трудного ребенка, чье имя сокращенно обозначалось ИНРА, авторы социальных доктрин и почтенных теорий о народных финансах, недоступных невежественным партизанам, вначале смотрели по-отечески ласково и нежно. Но ИНРА двигался вперед, подобно трактору или танку (он являлся одновременно и тем и другим), сметая на своем пути ограды латифундий, утверждая новые принципы замлепользования».

Спротивление землевладельцев все чаще принимало вооруженную форму. В горах Эскамбрая (где сам воздух, должно быть, располагал к мятежу) появился отряд «альсадос», бунтовщиков, этот отряд, состоявший из помещичьих сыновей, насчитывал около пятисот человек, число для Кубы нешуточное: почти половина Повстанческой армии времен выхода на равнину. И тон выступ-

лений Фиделя Кастро на совещаниях ИНРА все более ужесточался. Если вначале «хефе максимо» колебался, не оставить ли, в отступление от закона, в некоторых поместьях по тысяче гектаров земли, то вскоре эти сомнения были отброшены:

«Те, кому мы великодушно оставили шестьсот га, не заслуживают, как я полагаю, даже шестидесяти. Думаю, что эти прожженные реакционеры заслуживают лишь того, чтобы их посадили в тюрьму и кормили».

Посол США Бонсал, сделавший запрос, не предвидится ли замедление хода аграрной реформы, получил от Фиделя Кастро отрицательный ответ и был отозван с Кубы. Тем самым Вашингтон давал понять, что судьба сахарных централей «Кьюбан Эмерикен Шугар» и «Атлантико дель Гольфо», час которых приближался, беспокоит Соединенные Штаты, и обещал Фиделю Кастро серьезные осложнения.

В то время полки магазинов Гаваны были еще завалены товарами североамериканского производства: продавая Соединенным Штатам сахар, патоку, мед и табак, Куба ввозила из США практически все, от бритвенных лезвий до автомобилей, любой предмет обихода можно было выписать из Штатов по каталогу с картинками, и нетрудно было предвидеть, что конфронтация подведет под этим изобилием черту. Необходимо было искать новых торговых партнеров, а времени до конца года, до урочного часа сахарных централей оставалось все меньше. В первые полгода революции ходили слухи, что Куба сосредоточится на укреплении торговых связей с братскими латиноамериканскими странами и все необходимое будет получать от них. Действительно, во время визита на Кубу экс-президента Мексики Карденаса шел разговор о «треугольнике Мексика — Куба — Венесуэла», который мог бы стать ядром будущего общего рынка Испаноамерики: благоприятные кредиты, справедливые цены, совместные экономические проекты... Все это так и осталось на уровне благих намерений: Мексика и Венесуэла не имели представления, какой курс возьмет новая Куба, и не решились в такой неясной обстановке связать себя обязательствами. Оставалось три пути: партнерство с Западной Европой, с социалистическим блоком и со странами афро-азиатского региона. Первый вариант был сочтен малоперспективным: сомнительно, чтобы западноевропейские страны пошли на широкое развитие связей с

Кубой — в пику Соединенным Штатам, игра в данном случае для них не стоила свеч. Второй, социалистический вариант далеко не всем в окружении Кастро казался тогда очевидным, он мог привести к отчуждению латиноамериканских соседей...

Че Гевара предлагал афро-азиатский путь: его убежденность в том, что весь мир похож на Кубу, основывалась главным образом на событиях и процессах, происходивших в третьем мире. Египет, совсем недавно с честью вышедший из Суэцкого кризиса, Алжир, ведущий революционную войну, вообще вся Африка, находящаяся на пороге деколонизации, — таков был фон, в который новая Куба вписывалась, по его мнению, самым естественным образом. Так и случилось, что именно он, Че Гевара, комендант столичной крепости, взялся за налаживание первых внешнеэкономических контактов своей новой родины. Кроме того, Че Гевара хотел лично познакомиться с радикальными вождями третьего мира и найти подтверждение своему предположению, что во всемирной деревне назревает глобальная герилья.

Высказывались, впрочем, догадки, что в дальнейшем и длительное путешествие с миссией доброй воли Че Гевара отправился не по доброй воле, а по настоянию умеренных руководителей «Движения-26», которых раздражали идеологические претензии аргентинца.

Как бы то ни было, 12 июня, оставив молодую жену через десять дней после свадьбы, команданте Гевара отбыл в Старый Свет с поручением предъявить миру новый облик кубинской революции и найти серьезных торговых партнеров. Он посетил Египет, Судан, Марокко, Пакистан, Индию, Бирму, Индонезию, Цейлон, Японию, Югославию и из Испании вернулся на Кубу, побыв в отъезде почти три месяца.

Своей пестротой третий мир несколько разочаровал Че Гевару. Насеровский Египет, королевское Марокко, Бирма, еще не дожившая до социалистической программы генерала Не Вина, конфликтующий с Индией Пакистан, Япония, вышедшая на взлетную полосу неудержимого экономического роста, — необходимо было мощное усилие воображения, чтобы вписать эти страны в какой-то общемировой процесс. К перспективам развития торговли с далекой Кубой руководители этих стран относились сочувственно, однако традиционные статьи кубинского экспорта — сахар и табак — большого интереса у них не вызывали, и вообще они были большей

частью озабочены своими собственными проблемами. Че Гевара настойчиво искал следы аграрной герильи, напоминающей Сьерра-Маэстру, в его сердце живой отклик находили воспоминания индонезийского министра обороны Субандрио и президента Югославии Тито. Борьба индонезийцев против голландцев казалась ему более похожей на кубинскую революционную войну, а партизанская эпопея Югославии поразила его своим размахом, и он не мог не отметить, что жестокость гитлеровцев многократно превосходила ту, за которую ныне расплачивались офицеры Батисты.

Из Югославии, на которую многие в окружении Кастро возлагали большие надежды (причем не только как на потенциального торгового партнера, но и как на эталон развития), Че Гевара привез следующий доклад:

«Все коллективы Югославии, будь то крестьянские или индустриальные, управляются по принципу так называемого самоуправления. Внутри общего плана, достаточно определенного в своей итоговой части, но не по линии конкретного развития, предприятия борются между собой за национальный рынок в точности как капиталистические предприятия... В общих чертах можно сказать, что югославское общество представляет собой общество капиталистического предпринимательства при социалистическом распределении благ... Ставить окончательный диагноз, высказывать мнение об этом общественном укладе с моей стороны было бы рискованно, особенно потому, что я не знаком лично с ортодоксальными положениями коммунизма, принятого в странах Варшавского пакта, в котором Югославия не участвует... Однако думаю, что этот путь для нас опасен, поскольку конкуренция между предприятиями, производящими одинаковые товары, приводит к искажению того, что, возможно, и является духом социализма».

В обсуждении своих внутрисююзных дел мы часто склоняемся к тому, что наша позднефеодальная система управления хозяйством явилась плодом если не злого умысла, то, во всяком случае, серии тяжелых ошибок и просчетов недобросовестных людей. Но вот перед нами честный, искренний революционер, он не совершил еще никаких промахов, привязывающих его к административно-командной модели (это у Че Гевары еще впереди), и тем не менее делает выбор в пользу тотальной централизации и тотального планирования. Чем же не приглянулась идеологу герильи югославская модель?

Да тем, что она не отличалась, по его разумению, от капитализма, а потому не могла служить основой для революционной переделки жизни, для кардинального ускорения прогресса. Даже внешние приметы жизни в Югославии были сходны с теми, которые он помнил, скажем, по Мексике: те же витрины, та же реклама, те же одежды, та же разноголосица вкусов и мнений... Нет, это не революционная быстрина, это не главное течение истории: конкуренция — тот же естественный отбор, он может длиться столетиями, не предусматривая скачка эпох. Че Гевара искал для своей новой родины иную модель — такую, которая с р а з у и р е з к о ускорила бы ее развитие. Сразу и резко — значит, на протяжении жизни одного поколения (как у нас принято было до недавнего времени говорить), а для Че Гевары это означало — на протяжении его собственной жизни. Да только ли для него одного? «Клячу истории загоним!» — не заключен ли в этом некий (весьма широко распространенный) мировоззренческий изъян? Ведь, если вдуматься, это какой-то апокалипсический бред, паранойя, мания величия смертного, вообразившего, что он сумел — всего-навсего! — оседлать Время. Все Робеспьеры мира на вершине жизни своей вступают в конфликт с Временем, они воображают, что перешли в особое, уплотненное, искривленное Время, им начинает казаться, что не минуты, а эпохи несутся вскачь: одна эпоха кончилась вчера, вторая начинается завтра, сегодня — переходный период, имеющий, разумеется, непреходящее, универсальное историческое значение, а то, что происходило месяц назад, — это уже глубокое прошлое. Все это было бы даже трогательно, если бы этот их внутренний и сугубо личный конфликт не приводил к насилию над в н е ш н е й ж и з н ь ю. Почему непременно к насилию? Да потому, что внешняя (настоящая, не мнимая) жизнь непрерывна, а Робеспьеры желают командовать ею, как в детской игре: «Замри! Беги!» Настоящая жизнь замешена, как на дрожжах, на множественном выборе, а Робеспьеры стремятся навязать ей единственно верный, по их убеждению, вариант. И с ожесточением отсекают все другие: с тем бóльшим ожесточением, чем ближе иной вариант к их собственному. Жизнь неспешна, даже медлительна и, если хотите, величаво ленива, ей незачем и некуда торопиться, она пребывает в абсолютной гармонии с Временем, она сама и есть Время, а Робеспьеры постоянно спешат, неповоротливость жизни,

ее лежебокость приводит их в исступление, кажется им нарочитой и злонамеренной. Югославская модель была отвергнута Че Геварой не потому, что он отыскал в ней какие-то отступления от святых для себя канонов: возможно ли настолько разобраться в чужой жизни за шесть дней, рассматривая лишь то, что тебе желают показать, и выслушивая любезные разъяснения хозяев? Конечно, Че Гевара был знаком с ортодоксальной оценкой югославского опыта, изложенной в брошюрах на испанском языке, которые в изобилии имелись в советском посольстве в Мехико. Однако оценки, представлявшиеся верными в 1955 году, к 1959-му порядочно устарели, и не так уж безоглядно Че Гевара им доверял, иначе он вообще не искал бы в Югославии ни образца, ни даже социализма. Нет; югославский социализм был забракован им потому, что показался ему слишком неспешным.

За месяцы отсутствия Че Гевары на Кубе произошли важные события, чрезвычайно уплотнившие революционное время. Шесть членов правительства Фиделя Кастро, не согласные с расширением полномочий ИНРА, подали в отставку: министры финансов, иностранных дел, труда, общественных работ, президент Национального банка Фелипе Пасос и министр сельского хозяйства, ветеран Сьерры Сори Марин (этот упрямец так и не поставил свою подпись под текстом закона от 17 мая). Все шестеро, как пишет капитан Нуньес, «в конце концов стали на путь предательства и спрятались под крылышком дяди Сэма». Почти одновременно с этой коллективной отставкой в Соединенные Штаты бежал командующий военно-воздушными силами республики команданте Диас Ланс. Выступая в сенате США, Ланс рассказал много таких вещей, которые, по его представлениям, должны были сенаторов заинтересовать. В частности, он доложил, что на воротах военных лагерей Повстанческой армии нарисована красная звезда. Надо сказать, эта новость произвела на североамериканцев потрясающее впечатление: Куба уик-эндов, рыбалок и легкомысленных приключений вдруг озарилась отблеском преисподней. Капитана Нуньеса, прибывшего в Штаты с разъяснительной миссией, буквально засыпали вопросами о красной звезде.

«Ну посудите сами,— отбивался Нуньес,— как может быть советским символом звезда, придуманная более ста лет назад, когда еще и не существовало Советского Союза?»

Если верить Нуньесу, такое объяснение североамериканцев устроило: в «Коломбиа Бродкастинг Систем» ему сказали, что с красной звездой теперь все стало ясно.

«Я не хочу сказать, — пишет Нуньес, — что они изменили свое мнение, но их доводы были разрушены».

Начался массовый отъезд состоятельных кубинцев за границу. У посольства США с утра до вечера стояла длинная очередь желающих получить визу. Уезжало не менее полтораста человек в день. Им никто не чинил препятствий: достаточно было только заблаговременно, за три месяца, подать заявление о выезде, чтобы дать властям возможность проверить, как податель сего вел себя в годы правления Батисты...

Однако главный «тормоз» революционного процесса доктор Мануэль Уррутиа, оставался на своем посту, в президентском дворце. И вот 16 июля премьер-министр республики Фидель Кастро вручил президенту Уррутиа прошение об отставке.

«В течение последних недель, — рассказывает капитан Нуньес. — Уррутиа открыто проводил реакционную кампанию, подпевая коварной пропаганде империалистов и врагов революции, направленной на то, чтобы запугать и разобщить народ. Фидель был против использования силы в отношении престарелого президента... Это могло бы бросить тень на образ революции, сложившийся за границей... Он предпочел подать в отставку с поста премьер-министра — это был очень серьезный шаг, — но остаться верным идеалам революции и своим обязательствам перед ней. Фидель Кастро показал истинный пример демократизма и бескорыстия... Наверно, он даже не ожидал той реакции, которую вызвал его шаг в народных массах».

Утренняя «Революсьон» вышла с заголовком на первой полосе: «Фидель подает в отставку». И к середине дня вся Гавана была увешана плакатами: «С Фиделем — до конца! Куба нуждается в Фиделе! Выкинуть старичка из дворца!»

«Так была открыта новая страница в истории Латинской Америки и всего мира, — продолжает Нуньес. — Человек, в руках которого находилась вся реальная власть и сила, вместо того чтобы воспользоваться ими, подает в отставку, стремясь ни в чем не походить на традиционных горилл».

Вечером Фидель Кастро выступал по телевидению, объясняя гражданам свой поступок, а у президентского

дворца бушевала толпа: «Прочь, Уррутиа! Нам нужен Фидель!»

«Незадачливому президенту,— завершает свой рассказ капитан Нуньес,— ничего не оставалось, как самому подать в отставку. В последний момент он решил было выступить по телевидению с ответом Фиделю, но тут же отказался от этой мысли».

Однако Фидель своего решения не отменил.

«Было бы лучше,— заявил он,— решить этот вопрос не сегодня. Вынесем его на решение всего народа, всех гуахирос, всех жителей Гаваны, которые соберутся 26 июля на Гражданской площади. Пусть крестьяне придут в столицу в простых крестьянских рубахах-гуаяберас и в сомбреро, сплетенных из пальмовых листьев в стиле мамби, с мачете в руках, и пусть у каждого на тулье шляпы будет маленький кубинский флажок. Это будет гигантское шествие крестьян в поддержку аграрной реформы, в поддержку нашего единства».

И вот 26 июля 1959 года под непрерывный звон колоколов гаванских соборов, под аккомпанемент гудков автомобилей и фабрик над шестисоттысячной толпой гуахирос и горожан проплывает вертолет «хефе максимо»: Фидель Кастро летит на военные учения, где сам из башни танка «шерман» лично поражает одну из целей. А в четыре часа дня он уже стоит на трибуне, установленной на крыше Национальной библиотеки напротив памятника Хосе Марти. Огромная толпа внизу, на площади, просит главкома вернуться на пост главы правительства, и Фидель дает согласие...

Эта церемония произвела впечатление на многих, в том числе и на безутешную Ильдуну Гадеа:

«Так обновлялась моя вера, что сильный, хорошо руководимый авангард приведет народную борьбу к победе...»

Несколько позже, отвечая на вопрос французской журналистки, куда же на Кубе исчезли оппозиционные партии, ведь никто их не запрещал, Фидель Кастро сказал так:

«Это любопытное явление. Руководители всех партий, выступавших против Батисты, в первые дни после победы революции поддерживали с нами очень хорошие отношения. Все они вернулись на Кубу, радостные и счастливые... Буржуазные лидеры сами стали отходить в сторону, когда началась радикализация революционного процесса. После победы революции мы восстановили конституцию. А по конституции следовало провести

выборы. Помнится, как три или четыре месяца спустя, выступая на массовом митинге, я затронул тему выборов. А участники митинга стали скандировать: «Зачем нам выборы? Зачем нам выборы?» То есть сам народ, который к тому времени радикализировался, сказал нам, что он не нуждается в формальном восстановлении механизмов, существовавших до победы революции. Сами массы указали на то, что выборы не нужны... Сейчас на Кубе происходит революция, которая ведет к созданию нового строя, к новой общественной жизни... А пока что у нас подобие афинской демократии, только без рабов: когда нужно, мы собираем миллион граждан на площади. Не это ли самое прямое и демократичное голосование?»

12

Че Гевара был счастлив, вернувшись домой: то, что оппозиция оказалась за пределами страны, представлялось ему благотворным самоочищением революции.

«В Майами теперь собрались все, кто подвергает нас яростным нападкам: фелипе насосы, торгующие за звонкую монету своей совестью, чтобы поставить ее на службу, как они заявляют, «серьезным» организациям; руфо лопесы и хусто каррильо, единственная цель которых состоит в том, чтобы получше приспособиться и ухватить кусок пожирней; «вечные оптимисты» типа Миро Кардоны, закоренелые преступники, причастные к убийству людей из народа; горе-герои из Второго фронта Эскамбрая, «подвиги» которых состоят в убийствах крестьян и в терроре... Своим присутствием они постоянно напоминали нам о нашей ошибке — терпимости по отношению к отступникам от революционной совести и морали... Так обнимитесь же в едином порыве, грызущиеся между собой вентурасы и тони варонасы, прио и батисты, гутьеррасы менойо и санчесы москеры — преступники, которые убивали людей ради удовлетворения своих мимолетных прихотей и корыстных целей. Подобралась неплохая компания — воры и торговцы совестью, оппортунисты всех мастей, кандидаты на президентское кресло и так далее и тому подобное. Вы нас многому научили. Большое спасибо».

Прекрасный образчик революционного памфлета, свидетельствующий и о темпераменте автора, и о блеске его пера. Текст кажется привязанным к кубинской

специфике, но достаточно ворох креольских имен заменить на славянские или африканские — и костер непримиримости вспыхнет новым огнем...

За время отсутствия Че Гевары аграрная реформа шагнула далеко вперед. С рисоводческими плантациями, по которым всего лишь год назад проходила Восьмая колонна, было покончено, скотоводам, по выражению Фиделя Кастро, давно уже свернули шею.

«Там, где раньше были гектары и гектары земли, на которых работало лишь двенадцать человек, — говорил, выступая в ИНРА, премьер-министр, — сейчас создан крупный центр сельскохозяйственного производства, где в течение всего года занято триста семей, где будут построены жилые дома, где дети будут иметь свои школы, свои спортплощадки...»

Ликвидировано было частное посредничество между крестьянами и рынком: нечего позволять перекупщику обогащаться за счет производителя и потребителя. Взамен был создан торговый отдел ИНРА, по всей стране стали открываться народные магазины ИНРА, на их витринах громоздились штабеля консервов с этикеткой «ИНРА». А в воздухе над Гаваной вертолеты ИНРА рассыпали порошок «ИНРА», предназначенный для борьбы с комарами: североамериканские репелленты из продажи исчезли.

Приближалось время тростниковых плантаций: экспроприацию сахарных централей было решено завершить к первомайским праздникам 1960 года.

«Среди нас — осведомитель землевладельцев, — сказал на одном из совещаний ИНРА Фидель Кастро. — Кто-то из нас пробалтывается».

В зале на верхнем этаже института присутствовали только самые доверенные люди... После минутной паузы Че Гевара неторопливо, со своим характерным лаплатским акцентом проговорил:

«Ну что ж, давайте проведем визуальное расследование — и выявим доносчика».

Этот маленький инцидент, не получивший, впрочем, развития, свидетельствовал о всеобщей настроенности.

В каждом городском квартале были созданы Комитеты защиты революции, охватывавшие всех жителей, работающих, безработных, домохозяек и учащихся старше четырнадцати лет. В задачи комитетов входило поддержание порядка в масштабах квартала и обеспечение ре-

волюционной бдительности. Комитеты защиты революции очень скоро проявили свою способность сотрудничать с властями при проведении массовых мероприятий, требовавших стопроцентного участия, научились выявлять нелояльных и вовлекать в политику всех и каждого, в особенности тех, кто не работает и не учится. Кубинцы считают, что идея КЗР является ценным вкладом в теорию и практику международного рабочего движения и особенно полезна для развивающихся стран, где высок процент безработных, неучащейся молодежи и неработающих женщин, объединенных лишь соседством и знающих всех обитателей квартала в лицо. Именно эти люди, через КЗР подключенные к активной общественной жизни, и становятся добровольными стражами революции. В критических ситуациях (в случае угрозы переворота или начала войны) КЗР могут быстро и эффективно изолировать антиправительственные элементы.

Из поездки по третьему миру Че привез убеждение, что Куба не хуже других и способна ускорить свое экономическое развитие, опираясь главным образом на собственные силы и на активную торговую политику. Он предложил политическому руководству страны объявить о принадлежности Кубы к движению неприсоединения и начать строить социализм на кубинский манер. Расчет был и на то, что Соединенные Штаты, от грозной близости которых деваться некуда, станут относиться к Кубе точно так же, как и к другим неприсоединившимся странам, то есть добродушно и покровительственно. Че не мог и предполагать, что за время его отсутствия отношения между Кубой и США настолько ужесточатся, что будут подчинены лишь линейной логике конфронтации. Конечно, Че знал, что это случится, но не думал, что так скоро: Арбенсу, например, удалось просуществовать почти три года (правда, он не настолько торопился с аграрной реформой), а вялотекущая боливийская революция продолжается вот уже семь лет, и североамериканцев, похоже, она совершенно не тревожит. Как бы то ни было, настаивал Че, надо немедленно приступить к индустриализации: чем скорее у Кубы будет эффективная промышленность, тем раньше с нею начнут считаться.

И Фидель Кастро, сосредоточенно выслушав соображения своего эмиссара, нашел их (как это случалось не раз) убедительными и поручил ему возглавить департамент индустриализации ИНРА — фактически министер-

ство промышленности, если учесть, что кабинет к тому времени уже бездействовал.

«И начинай поскорее,— прибавил «хефе мáксимо».— В добрый час!»

Поскольку совещания ИНРА, как уже говорилось выше, проходили за закрытыми дверьми, это назначение неспециалиста, медика по образованию, на экономическую работу не привлекло особого внимания общественности. Сам Че Гевара рассказывал об этом событии шутливо:

«Однажды Фидель собрал своих товарищей и спросил, кто из нас экономист. Я поднял руку. Фидель удивился: «С каких это пор ты экономист?» Я ответил: «Мне показалось, что ты спросил, кто из нас коммунист».

Все это не более чем милый анекдот: коммунистом Че Гевара никогда не был, а вот знатоком экономики Фидель Кастро считал его с самых первых дней знакомства, иначе не поручил бы ему совместно с географом Нуньесом готовить проект закона об аграрной реформе.

Выступая в ИНРА сразу после своего назначения, Че Гевара честно признал, что конкретные направления политики индустриализации он сейчас изложить не может, однако, если исходить из приоритетов сегодняшнего дня, речь должна, во-первых, идти о создании тех отраслей, которые заменили бы Кубе импорт, во-вторых, о решении проблемы топлива во всех его видах, включая срочные поиски месторождений нефти (поскольку нефть из США в скором времени перестанет поступать), и, в-третьих, о самостоятельной и полной переработке отходов сахарного тростника.

Легко, однако же, сказать: «В добрый час!» Уже первая задача (замена импорта изделиями собственной промышленности) могла привести в замешательство даже матерого экономиста: возможно ли в небольшой стране наладить массовое производство всего, чем сейчас пользуется население, начиная от кока-колы и кончая запчастями для грузовиков? Да и как это сделать, если промышленность находится в частном либо иностранном владении? Строить новые, государственные предприятия? А на какие средства? Национальный банк, где работают люди Фелипе Пасоса, не считает себя обязанным выполнять указания, исходящие из ИНРА...

Что касается нефти, то капитан Нуньес обнадеживал своего бывшего командира. Автор «Географии Кубы» был убежден, что Соединенные Штаты держат Кубу в качестве

запасного нефтяного резервуара — на тот случай, если ближневосточная нефть вдруг перестанет поступать.

«Куба — одна из немногих стран, где бензин выходит из недр земли в естественном виде, и нет необходимости даже пропускать его через очистку. То, что местные называют «нафта», — это чистый бензин, поступающий из геологических источников. А янки, которые уверяют, что на Кубе нет своей нефти, будут морочить нам голову еще 99 лет...»

Но даже если это не романтическая фантазия капитана Нуньеса и кубинские автомобили когда-нибудь будут заправляться прямо из скважин, все равно эти скважины надо еще пробурить, предварительно проведя изыскания: нужны геологи, буровики, нужны средства...

Из своего кабинета на восьмом этаже ИНРА Че Гевара не выходил по пятнадцать часов в сутки, если мог, то не ел и не спал. Праздники и выходные дни для него не существовали.

«Я теперь служащий революции и считаю, что обязан ограничивать себя во всем даже более, чем в военные дни. Образ жизни революционного служащего должен быть почти монашеским».

Среди «мерседесов» и «кадиллаков», подъезжавших к подъезду ИНРА, черный «форд» Че Гевары был самым неприметным. На работу Че приезжал, как правило, к полудню, до конца присутственных часов занимался официальными делами, без какого бы то ни было перерыва, затем до полуночи проводил совещания с подчиненными, участвовал в дискуссиях, которым сотрудники ИНРА в те благословенные дни предавались с особым азартом, а ночью, когда все расходилось и в дверях кабинета оставался лишь караульный «барбудо», открывал книги по экономике и финансовому делу.

Культ великого слова «надо», настойчивое обращение мыслью к аскетизму средневековых монашеских орденов, временное смещение — все это нам уже хорошо знакомо и конечно же не является простым совпадением. Человек, берущийся не за свое дело и притом истово убежденный, что таков его нравственный долг, вынужден работать за пределами своих возможностей, и необходимость постоянного насилия над собственным разумом начинает приобретать некий мистический смысл, упрощенный до символа, знака. «Че не являлся специалистом в экономических вопросах, — пишет наш советский автор, — но одно он знал твердо: финансы страны, Национальный банк

должны служить народу, а не быть инструментом эксплуатации в руках буржуазии».

«Но одно он знал твердо...» Лишь на первый взгляд кажется безобидным этот довод запальчивых дилетантов: «Я, возможно, ничего не понимаю в нотной грамоте, но одно знаю твердо...» Самые тяжкие просчеты, самые мрачные преступления в этом мире совершались и совершаются под развернутым знаменем твердого знания одного.

Видимо, Че Геваре удалось убедить Фиделя Кастро, что без контроля над финансами страны индустриализация невозможна, и 26 ноября в Гаване было объявлено, что Эрнесто Че Гевара назначается председателем Национального банка.

«Это был меткий удар кубинской революции по реакционерам», — утверждает Антонио Нуньес.

Далеко не все, однако, разделяли это мнение. Даже Ильда Гадеа оговаривается, что это назначение для многих оказалось неожиданным и странным. Американский журналист Герберт Мэтьюз, первым открывший для мировой общественности кубинскую герилью и относившийся к ней доброжелательно, оценивает это событие скептически: «Поразительным и где-то смешным было назначение Че Гевары председателем банка — в качестве преемника Фелипе Пасоса, компетентного экономиста, пользующегося международным признанием. Однако это назначение не лишено было логики. Че ничего не понимал в банковском деле, но Фиделю на этом посту нужен был революционер, а где взять революционных банкиров?» В самом деле: история дает бесчисленное множество подтверждений этого противоречия. Профессионалы с большой неохотой берутся за выполнение квазирешений, на которые так щедр революционный процесс, и за это революция платит им недоверием. Разъясняя журналистам мотивы назначения Че Гевары, Фидель Кастро говорил именно о доверии:

«В годы войны этому человеку доверялось выполнение самых трудных задач. Сейчас, в мирное время, мы призвали его дать самый жаркий бой — бой иностранной валюте».

Валютные ресурсы страны составляли в то время около 75 миллионов долларов, но и эта скромная сумма быстро таяла. Чтобы выиграть битву за валюту, Че пошел на крутые меры: он приостановил оплату счетов, резко ограничил обмен песо на доллары для отъезжающих и

выпустил больше бумажных денег. Все эти меры конечно же не способствовали росту его популярности в средних слоях: раньше эмигранты могли увозить с собой в США до десяти тысяч долларов.

И надо сказать, что решительные действия Че оказались небезуспешными: резервы золота и валюты, докатившиеся до самой низкой отметки в 50 миллионов долларов, за несколько месяцев увеличились втрое. Это был грандиозный для начинающего финансиста успех.

«Умный же господин, которого все считали знатоком экономических проблем,— иронизировал Фидель Кастро, имея в виду Пасоса,— бежал из страны... впрочем, его сместили прежде, чем он убежал».

Между тем пробил час тростника. В январе 1960 года в Гаване было объявлено о национализации первых крупных сахарных централей, в том числе и принадлежащих североамериканцам. Вашингтон ответил нотой, требующей быстрой, равноценной и эффективной валютной компенсации. Пока все шло по гватемальскому варианту — с той только разницей, что у Кубы нет сухопутных границ, вдоль которых могли бы разбивать лагеря сумрачные парни в пятнистых комбинезонах.

В начале февраля на открытие советской выставки в Гавану прибыл заместитель премьера Хрущева Анастас Микоян. Первый высокопоставленный коммунист, вышедший на прямой контакт с кубинской герильей, оказался человеком замкнутым, затаенным. Окруженный бородачами в гимнастерках, он похож был на заложника в руках полувоенной группировки. На фотографиях Че стоит рядом с сухоньким Микояном — молодой, красивый, в распахнутой куртке, на отвисшем брючном ремне — кобура с револьвером, имеющим не боевой, а какой-то молодежно-спортивный вид. Лицо у Гевары вежливовнимательное, с хитрой полуулыбочкой уголком рта, глаза, как обычно, напряженно расширенные, и оттого кажется, что Че Гевара с тревогой ждет разоблачающего вопроса: «Ну так кто у вас здесь выдает себя за коммуниста?»

Переговоры Че Гевары с Микояном прошли на удивление гладко. Че напрасно тревожился: он не мог, разумеется, знать, что высокий гость из Москвы ничего самостоятельно не решает, что премьер Никита Хрущев уже решил удочерить кубинскую революцию и утереть таким образом нос американцам, а Микоян имел инструкции идти навстречу пожеланиям кубинцев, насколько

это возможно. Куба получила кредит на 100 миллионов долларов с отсрочкой в выплате на двенадцать лет, гарантию, что Советский Союз будет в течение пяти лет закупать миллион тонн кубинского сахара ежегодно по ценам, превышающим мировые, и обещание начать поставки нефти, которая обойдется Кубе на треть дешевле североамериканской.

Все это убедило Че Гевару, что Советский Союз нуждается в Кубе ничуть не меньше, чем Куба — в кредитах и помощи, а может быть, даже и больше, поскольку, помимо «защиты ракет самой могущественной державы в истории», Куба получала очень нужные ей деньги и нефть, а Советский Союз — только сахар, в котором он, на что прозрачно намекал гость, не так уж остро нуждался. Эта готовность торговать заведомо себе в убыток могла насторожить дельца, но не такого идеалиста, как Че: он увидел в этой готовности математическое (или, что будет точнее, финансово-экономическое) доказательство подавляющего превосходства идеи над материальной выгодой и подтверждение верности линейной концепции мирового развития. Идеология не должна и не может быть выгодна — вот такое убеждение вынес Че Гевара из этой сделки. Более того, идеология всегда, заведомо, априори убыточна: хорош тот дух, который нацелен на денежный прибыль...

«Что означает «взаимная выгода» при продаже сырья, которое стоит отсталым странам пота и невероятных лишений, и покупке по ценам мирового рынка машин, произведенных на автоматизированных заводах?»

Даже если оставить в стороне убежденность Че Гевары (свойственную, кстати, многим в третьем мире), что автоматика не стоит лишений и пота, а возникает непосредственно из пены морской, вопрос о выгоде далеко не так ясен, как нам кажется, когда мы уверенно произносим слова «взаимовыгодные отношения». «Вообще говоря, — читаем мы у Монтеня, — нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других».

Итак, Микоян был щедр и уступчив, напрашивалось даже предположение, что Советская держава баснословно богата, и все утверждения, что народ там прозябает в бедности, — это подлый навет. Пожалуй, это был один из немногих дней триумфа, которые еще оставалось пережить Че Геваре. Он мог себе позволить с усмешкой взглянуть на самого отъявленного скептика среди бордачей и подмигнуть ему: «Ну, видишь? А что я говорил?»

Дальнейшие события 1960 года развивались в строгом соответствии с конфронтационной логикой, которой следуют люди и страны, забывающие в оскорбленном запале, что, в сущности, сама жизнь — это уже компромисс. Соединенные Штаты прекратили ввоз и переработку на Кубе нефти. В ответ правительство Кубы взяло на себя управление заводами «Стандард ойл» и «Тексас компани». Следом за нефтяною началась сахарная война. Североамериканская сторона давно уже грозила, что пересмотрит свое отношение к сахарной квоте, то есть к количеству сахара, которое США покупали на Кубе ежегодно. Че Гевара недооценивал эту угрозу:

«Сахарную квоту невозможно ликвидировать, потому что Куба является самым крупным, эффективным и дешевым поставщиком Соединенных Штатов... Дарованные нам североамериканцами надбавки к мировым ценам говорят лишь об их неспособности производить дешевый сахар».

Действительность показала, что эти расчеты, мягко говоря, неверны. Президент Эйзенхауэр сократил сахарную квоту на 700 тысяч тонн. В ответ правительство Кубы национализировало все находившиеся на острове североамериканские предприятия и банки.

В сущности, этого Че Гевара и добивался. На пути к полному переходу всей кубинской экономики под его контроль оставалось сделать только один шаг. И этот шаг был сделан 13 октября 1960 года, когда правительство экспроприировало всю собственность национального капитала. В тот день Че Гевара смог по достоинству оценить эффективность Комитетов защиты революции, оперативно и четко организовавших массовое шествие через всю Гавану. Участники шествия наклеивали на двери магазинов и на ворота предприятий бумажки с надписью «Национализировано» и, ликуя, с песнями и танцами двигались дальше. Так, в глазах городской бедноты, не зараженной вирусом собственности, торжествовал социалистический идеал: «Пришел команданте — и велел их прикрыть».

В конце октября во главе экономической миссии Кубы Че Гевара отправился в Москву: решение Эйзенхауэра о сахарной квоте требовало симметричного ответа. Че Гевара не был первооткрывателем «социалистического континента»: капитан Нуньес уже совершил поездку в Советский Союз, откуда вернулся переполненный восторженными впечатлениями и так много и

охотно рассказывал об открывшемся ему волшебнo-альтернативном мире, что его в шутку прозвали «Алиса в стране чудес». Роскошная апостольская борода директора ИНРА очень понравилась Никите Хрущеву: «Ха-арошая борода!» — сказал он, глядя на фотографию автора в подаренной ему «Географии Кубы», и этим, надо думать, очень польстил самолюбию романтического капитана, который действительно гордился своей безукоризненно правильной густой бородой. В свою книгу «Освобождение островов» капитан Нуньес вставил целую статью редактора газеты «Ла Палабра», где среди прочих похвальных слов в адрес автора «Географии» была и такая фраза: «Сегодня утром, точно как четыре года назад, Антонио Нуньес Хименес вновь пришел в мой кабинет, правда уже с бородой и в униформе, но с тем же взором мечтателя и с той же скромностью, что и тогда». Это был первый кубинский лидер, появившийся в нашей стране, истинный прототип героического барбудо с пылающего острова Свободы. Предшествовала поездке Гевары и встреча Хрущева и Фиделя Кастро в Нью-Йорке, где оба они находились на Генеральной Ассамблее ООН. Это была та самая Ассамблея, на которой Никита Хрущев в сердцах разбил о стол часы, а на пресс-конференции предупреждал американцев: «Кто сунется, то извините за такое неделикатное, но образное выражение, — тому в морду дадим!» Обнимая «хефе максимо» в нью-йоркском Гарлеме и похлопывая его по спине, Хрущев не лицемерил: для него могучий герильеро был телесным воплощением здравости той идеи, которой он, Председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик, Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, был поставлен служить. Жизненный опыт, можно предположить, не раз подводил Никиту Сергеевича к той черте, за которой начинались угрюмые сомнения, и не с кем было поделиться ими в кругу чадающих человеческих огарков...

Народу нашему, едва очнувшись от тифозного беспомощства, юная, смуглая, музыкальная Куба казалась радостной галлюцинацией, предвестницей выздоровления, сам же Никита Сергеевич, беспомощством не страдавший, инстинктивно чувствовал общественную потребность в революционной инъекции, подобной Испании предвоенных лет.

Ладно, это наши собственные трудности, но что они-то,

бородатые и безбородые, либеральные и радикальные Алисы, что они-то видели такого волшебного в нашей затурканной стране? Роберт Конквест объясняет этот феномен легковерием Запада, что справедливо лишь в том случае, если под легковерием понимать нежелание знать правду. Дело, видимо, в том, что думающий человек органически неспособен примириться с мыслью о безальтернативности развития: само представление о грядущем без вариантов наполняет душу смертной тоской. Потребность в иной реальности настолько биологична, настолько мощна, что западные люди доброй воли готовы были простить нам все наши кровавые лужи — из одной признательности за то, что мы есть. Альтернатива не обязательно имеет форму желаемого: просто для более полного осознания сущности понятия «мы» должны существовать и «не-мы». Может быть, даже так: специфика нашей действительности как раз и помогала достойным людям Запада понять кое-что важное в самих себе. Исчезнет эта альтернатива — явится новая, неизбежно явится, непредсказуемая и, быть может, совершенно чудовищная, но оттого не менее желанная, об этом не мешало бы помнить всем тем, кто радуется нашему возвращению в общечеловеческое стадо. И, независимо от того, примет ли она, новая альтернатива эта, африканский или, скажем, буддийский вариант, ее будут приветствовать от всей души лучшие умы человечества. Рановато заговорили об окончании истории, о наступлении эры однородного человеческого сообщества. Это сообщество лишь тогда согласится на однородность, когда ему будет угрожать непосредственная опасность извне.

Человек действия, а не рассуждения, Че Гевара не нуждался в личном знакомстве с «осуществленной мечтой»: вселенная, заключенная в его замкнутом на себя сознании, не могла быть ни с чем сопоставлена, и нашей стране там отводилась всего-навсего роль постоянно действующего фактора (вроде «красного смещения», в которое так свято верят астрономы). Но обстоятельства настойчиво призывали его в страну чудес. У североамериканцев приближался «первый вторник после первого понедельника ноября», когда усталого марсианина Эйзенхауэра должен будет сменить новый президент, то ли Никсон, то ли Кеннеди: и тот, и другой первым делом постараются расклепать цепь, приковывающую Соединенные Штаты к небольшой, но увесистой кубинской

гире. Нужны были гарантии на случай неожиданности, за ними Гевара и поехал в Москву.

Одновременно с его делегацией в Советском Союзе находились две других: партийная (а точнее, делегация революционных организаций, ибо ни одной партии, в собственном смысле этого слова, на Кубе тогда не было) и медицинская. Иными словами, на Москву был сброшен внушительный десант бородачей.

Никита Хрущев дал интервью директору кубинской газеты «Революсьон», в котором, в частности, сказал: «По нашим расчетам, мы перегоним США по производству основных видов продукции на душу населения в 1970 году, то есть через десять лет. По подсчетам экономистов, в 1980 году мы будем производить продуктов на душу населения в сравнении с США значительно больше, чем они». Кубинского журналиста, принявшего к сведению этот прогноз, интересовало тем не менее другое:

«Империалисты утверждают, что заявление Советского правительства о возможности применения ракетного оружия в случае вооруженной агрессии против Кубы имеет чисто символическое значение...»

На это Никита, прекрасно понявший вопрос, ответил уклончиво:

«Хотел бы, чтобы такое заявление, которое делают враги кубинской революции, было чисто символическим...»

Своеобычная логика этого человека сегодня вызывает некоторую оторопь, но в те времена она воспринималась как нечто естественное: Хрущев успел приучить к ней и свою страну, и весь цивилизованный мир.

Однако кубинец настаивал на определенности:

«Но если... реализация этой угрозы будет иметь свое место, мне кажется, что для этого ракеты достаточно подготовлены?»

Порою говорят, что великий ракетный кризис 1962 года, ставший вершиной века нетерпимости, явился результатом волевого решения Никиты Хрущева «запустить американцам ежа в штаны». Так да не так: ракетная идея была плодом напряженного коллективного творчества...

То, что Хрущев уклонился от прямого ответа на настойчивый вопрос «Революсьон», не осталось незамеченным, и на приеме в кубинском посольстве в Москве Че Гевара многозначительно повторил:

«Никита Сергеевич Хрущев выступил с символическим предупреждением...»

Опущено лишь слово «чисто», которое, если вдуматься, смысловой нагрузки не несет.

Нередко Никиту Хрущева представляют этаким увальнем в политической посудной лавке, человеком норовистым, опрометчивым и неуклюжим. Да, бывало и такое, что, отклоняясь от текста, он увлекался и прибавлял хлопот газетчикам (нашим, отечественным, разумеется: зарубежные не занимались приводить его речи в благопристойный вид), а однажды, в ходе тройственной (англо-франко-израильской) агрессии против Египта, Хрущев зачитал целую речь, немилосердно путая «Египет» с «Европой», и тем его слушателям, кто не тверд в географии, это стоило тяжких раздумий. Но все это лишь огрехи: то, что Хрущев собирался сказать, он знал назубок, и никакие силы не могли заставить его говорить то, чего он сказать не желал.

Отвечая на вопрос директора «Революсьон» («Если реализация этой угрозы будет иметь свое место, мне кажется, что для этого ракеты достаточно подготовлены?» — каков словесный монстр! плод брачного союза политики и газетного дела), Хрущев не пожелал вдаваться в уточнения и коротко сказал:

«Вы правильно понимаете. Хорошо, если бы не было агрессии. А мы делаем все для того, чтобы не запускать боевых ракет».

В те времена эти общие слова имели особый вес: мировая общественность пребывала в заблуждении насчет размеров советского ракетного арсенала: американцы убедили всех (и себя в том числе), что СССР имеет чуть ли не тройное превосходство по межконтинентальным ракетам.

Думается, Никита Сергеевич не слишком присматривался к молодому латиноамериканскому вождю: ранг, в котором тот находился (председатель правления банка и начальник департамента Института аграрной реформы) воспринимался тогдашней официальной Москвой как не слишком высокий, без права на политические решения. Да и встречали Че Гевару без тех космических почестей, которые позднее оказывались Фиделю Кастро. Однако Куба уже стала нашей всенародной любовью: звуки революционного марша «Аделанте, кубанос!» живо откликались в самых опустошенных сердцах, и появление шумных бородачей в солдатских ботинках и оливковой униформе без знаков различия пробуждало горделивые воспоминания о суровом братстве

военного коммунизма, о Гренаде, о несбывшемся «Но пасаран!». Новый смысл приобретала крылатая фраза: «Еще неизвестно, кто кого окружает».

Че Гевара не мог, разумеется, понимать, какая боль лежит в основе этой любви, и приписывал ее сознательности и должной политической подготовке:

«Поражает глубокое понимание насущных проблем человечества и высокий уровень политической подготовки всех без исключения советских граждан. Мы в этом убедились, поскольку повсеместно, на улицах, на фабриках и в колхозах, где мы бывали, нас сразу же узнавали и народ обращался к нам... В течение пятнадцати дней мы буквально купались в море дружбы... Трогательно было видеть, как незнакомые люди узнавали нас по бородам — или по тому, что напоминало бороды...»

«Лампиньо» выступал с этой речью по телевидению Гаваны и не мог, должно быть, удержаться от того, чтобы потрогать свою клочковатую бороду, которая ни у кого на Кубе к тому времени уже не вызывала насмешек: ненависть у одних — и экзальтированную любовь у других. Наша, советская, тогдашняя любовь к Кубе, за которой пряталась тоска по поруганным революционным идеалам, не пережитая им, а потому и не понятная ему тоска («Оказывается, революция может быть праздником!..»), как будто смущала Че Гевару...

Страна Советов жила трудовыми буднями, сообщения о которых, по мере приближения Октябрьских праздников, становились все более мажорными: шел подлинный штурм рубежей семилетки. 6 ноября во Дворце спорта (Кремлевский Дворец съездов не был еще тогда построен, и сама задумка вызывала недовольные шепотки) состоялось торжественное заседание, посвященное сорок третьей годовщине Великого Октября. В президиуме, локоть к локтю, — прежние, нынешние и будущие руководители страны, высший эшелон власть имущих: Хрущев и Фурцева, Шверник и Микоян, Брежнев и Суслов. Среди почетных гостей — будущий «каппурист» Лю Шаоци, албанский вождь Энвер Ходжа. Имя Че Гевары в газетах даже не упомянуто, хотя он конечно же присутствует. В забывчивости прессы нет никакого умысла. Вообще с именем Че Гевары наша журналистика была тогда не в ладах: «Во главе с Эрнесто Гевара... Приняли Эрнесто Гевара... Возглавляемый Че Гевара...»

«Мы были приглашены на доклад зампредсовмина Козлова, это ежегодный традиционный доклад. И как

только мы появились на публике, раздались бурные аплодисменты. Нас усадили в президиуме, и всякий раз, как докладчик упоминал Кубу, вспыхивали овации на несколько минут...»

Последняя искорка мировой революции — вот что была для нас Куба. Прощальная улыбка великой идеи. То, что прощальная, многим стало ясно в октябре 1962 года, когда грозный сполох Карибского кризиса там, за линией горизонта, озарил всю планету мертвым светом Апокалипсиса.

Ежегодный традиционный доклад Козлова содержал действительно традиционные для того времени выкладки: «За шестнадцать послевоенных лет промышленное производство СССР в среднем за год увеличивалось на 10,7 процента, а в США — на 1,8 процента...» Опровергая кандидата в президенты США Никсона, заявившего, что такое сопоставление цифр «подобно сравнению роста детского организма с темпами роста взрослого ума», Фрол Романович Козлов, следуя примеру своего премьера, привел неотразимый довод: «Вот уж действительно, как говорит пословица: «У кого желчь во рту, тому всегда горько». И, как ни странно это звучит сегодня, этого аргумента тогда было совершенно достаточно: мы веровали в свои темпы роста, как в непорочное зачатие. Снисходительно, с улыбкой превосходства выслушивали мы предостережения наших зарубежных друзей, что планирование добычи угля на двадцать лет вперед — это бессмыслица, что «хрущобы» скоро превратятся в трущобы и нам придется ломать голову, как убрать их с лица земли...

«Кубе, кроме того, — продолжает Че Гевара, — оказана была чрезвычайная любезность, которую лично я никогда не забуду: как глава делегации я был приглашен в президиум на параде и демонстрации 7 ноября — туда, где стояли только главы социалистических государств и члены Президиума Верховного Совета, иначе говоря, 20—25 человек. И там, когда люди нас узнавали (потрясающе, что в этой стране столько знают о кубинской революции), раздавались оглушительные крики, славящие Кубу. Возможно, это был один из самых волнующих моментов нашей поездки».

Так рассказывал Че Гевара кубинским телезрителям об Октябрьских праздниках. Что интересно: страноведческие реалии «Красная площадь», «Мавзолей Ленина», «Кремль», без которых, кажется, в данной ситуации

невозможно обойтись, так и не были им упомянуты. Создается даже впечатление, что Че Гевара тщательно их избегает: «Был приглашен туда... Там люди нас узнавали...» Это странное табу имело, по-видимому, политический смысл: аудитория, к которой обращался Че Гевара, просто не была еще готова доброжелательно реагировать на набор советской символики. Ну а то, что привычное нашему уху «руководители партии и правительства» превратилось в «члены Президиума Верховного Совета», свидетельствует не об умысле, а о неведении самого Че Гевары: мы, как правило, сильно переоцениваем осведомленность наших зарубежных друзей... да, в сущности, такие тонкости Че Гевару не слишком интересовали, ему довольно было общего представления, что он находится в цитадели одной из мировых идеологий.

В непривычно плотной, сковывающей движения одежде, ошеломленный глухотою низкого серого неба, стоял он на холодной каменной трибуне мавзолея и, как завороченный, смотрел на громадные серебристые болванки баллистических ракет, медленно ползущие по темной мокрой брусчатке площади. На гостевых трибунах иностранцы многозначительно переглядывались, как бы желая сказать друг другу: «Теперь вам понятно?» И было это оживление, мягко говоря, не совсем адекватным ситуации, как будто за демонстрацией этих чудовищ скрывалась какая-то веселая и в то же время циничная тайна, доступная лишь ценителям, успевшим со вкусом пожить...

Грандиозная демонстрация вряд ли поразила воображение Че Гевары: под громовые раскаты записанного на пленку «ура» по площади, разделенной цепочками линейных, текли параллельно друг другу колонны одетых в темные одежды людей, несущих бесчисленные красные стяги... Даже первомайская Мексика 1955 года в глазах креола выглядела более ярко, празднично и раскованно, и в пестрой толпе там было намного больше улыбающихся лиц. Что говорить о танцующих народных ассамблеях Гаваны!.. Суровый край, суровая история, суровые люди: наверное, так и должно быть под этими темными северными небесами. Они никогда не знали, что такое безудержный карнавал.

«Развитие всех народных сил в этой стране, напориность, которую они проявляют,— все это убедило нас в том, что будущее решительно за теми народами, кото-

рые борются, как и они, за мир во всем мире и за пространенную на всех и каждого справедливость... Это ни в коей мере не означает, что там не видно ничего, кроме чудес. Естественно, имеются вещи, которые для кубинца, живущего в XX веке, со всеми удобствами, которыми империализм обыкновенно окружает нас в городах, могут показаться даже признаками отсутствия цивилизации...»

Вот это неожиданность. Даже сейчас, по прошествии стольких времен, мы досадливо хмуримся, когда не голландец, не финн, а пришелец из третьего мира, замордованный эксплуатацией, деликатно констатирует отсутствие у нас должной цивилизации. Че Гевара, правда, делает принципиальную для него оговорку: «...окружает нас в городах...» — но сути дела это для нас не меняет.

«Мы ставили там такие вопросы, которые нас же самих вводили в настоящий конфуз. Так, например, подняли проблему, что кубинский народ нуждается в сырье для производства дезодорантов, — и встретили непонимание. Они хотят догнать наиболее развитые капиталистические страны в производстве основных товаров и не могут занимать себя такими мелочами... Я знаю, что у нас проблемы с лезвиями, дезодорантами, мылом и другими товарами этого типа, которые имеют обыкновение исчезать, но мы ведь тоже должны заниматься более важными вещами. В конце концов, мыло и тому подобное не едят, а мы должны прежде всего накормить народ...»

«Накормить народ...» Мы, как от знойной мухи, отмахиваемся теперь от этих слов: как будто существует народ-иждивенец, народ, дожидаящийся кормильцев... Но эта формула, оказывается, не наше внутрисоюзное изобретение, она гуляет по планете, бродячий сказочный сюжет. Где взял этот сюжет свое начало? Может быть, в древнем Риме? «Хлеба и зрелищ!» Но тогда это не народ, это люмпенство, это чернь.

Переговоры, на которых советскую сторону снова возглавлял Анастас Микоян, были еще более, чем в прошлый раз, успешными для Кубы, однако Че Гевара честно признает, что этот успех от него не зависел.

«Можно было бы представить дело так, что имели место долгие трудные споры, из которых наша делегация вышла победительницей, договорившись, в частности, о покупке Советским Союзом и другими социалистическими странами четырех миллионов тонн сахара по

четыре сентаво за фунт, то есть по цене, значительно превышающей те, которые установлены на нью-йоркской и лондонской биржах. В действительности же никаких споров не было. Мы, естественно, не могли и просить социалистический мир, чтобы он закупил у нас столько сахара и по такой высокой цене. Советский Союз сам является первым производителем сахара в мире в настоящее время: он перегнал Кубу ровно два года назад. По условиям мировой торговли не было никакого коммерческого резона, чтобы эта сделка вообще состоялась. Она представляет собой чисто политическое решение».

Столь же плодотворными оказались и переговоры в Пекине, хотя в цифровом выражении их результаты скромнее: Китай согласился закупить миллион тонн кубинского сахара и предоставил Кубе долгосрочный кредит на 60 миллионов песо. По этому поводу кубинская сторона предложила включить в совместное коммюнике благодарственную фразу о бескорыстной помощи. Китайская сторона не согласилась с такой формулировкой.

«Это вызвало долгую, почти философскую дискуссию, поскольку китайские товарищи категорически отказались принять слова «бескорыстная помощь». Они сказали, что это ни в коем случае не так, что они оказывают помощь, но помощь заинтересованную (хотя этот интерес и не носит денежного характера), поскольку Куба в настоящее время является одной из стран, находящихся в авангарде борьбы против империализма, а империализм — это общий враг всех народов, и, следовательно, помогать Кубе — в интересах социалистических стран. Нечего и говорить о том, что термин «бескорыстная» был просто снят».

Че Гевара давно мечтал побывать в Китае, он чувствовал влечение к этой стране, отчасти связанное с образом Ильды, но в гораздо большей степени — с близостью его умонастроений к философии маоизма. Тонкая китайская дипломатия, цветистая лесть и хитроумная логика совершенно его очаровали. Маленькая Куба вдруг оказалась в фокусе большой мировой политики, и две великих державы Старого Света наперебой соревновались друг с другом, идя на огромные убытки с единственной целью — завоевать кубинские симпатии.

«Нам объяснили, что все эти ссуды только делаются в форме ссуд, поскольку так предписывает международное право, уважаемое всеми суверенными государствами,

но что Куба не обязана выплачивать их до того момента, когда она сможет платить, а если не сможет, то это не имеет никакого значения».

Мао тоже находился в непростых отношениях с временем и если не верил, что ему действительно отпущены десять тысяч лет, то, во всяком случае, жил в убеждении, что книга старой истории мира будет захлопнута у него на глазах. Эманации, исходившие от всевластного долгожителя, оказались настолько мощными, что во время аудиенции Че Гевара от волнения пережил внезапный приступ астматического удушья, рухнул как подкошенный на пол и его жизнь чуть не сложила свои черные бархатные крылья перед лицом Председателя всех времен.

«Вот так встречали в социалистических странах наши просьбы, которые, будь они изложены Соединенным Штатам (я не говорю «сейчас», я имею в виду нормальные времена), вызвали бы хохот у всех правителей и у всех коммерсантов этой страны...»

Так формировались отношения революционного альтруизма, с одной стороны, и революционной требовательности — с другой, весьма неоднозначные, как на них ни посмотри. Придет время — и Че Гевара публично, на весь мир напомнит Москве и Пекину, что они просто обязаны платить.

Очень понравилась Че Геваре Народно-Демократическая Корея, в которой он увидел если не прообраз идеального государства, то, во всяком случае, образец, на который Кубе следует равняться.

«У них во всей промышленности одна проблема, которую нам бы хотелось иметь (и мы будем ее иметь через два-три года), — проблема нехватки рабочих рук. Корея ускоренно механизует все сельское хозяйство, чтобы высвободить рабочие руки и выполнить с их помощью свои планы, а также готовится поставлять своим братьям на Юге полуострова продукцию текстильных фабрик и прочее, чтобы помочь им преодолеть тяготы североамериканского колониального господства...»

Корейский Ленин на портретах, изготовленных местными художниками, был сухо улыбчив и слегка узкоглаз. Кубинский, надо полагать, будет чернявым и густобровым...

Легкость, с которой были достигнуты все поставленные перед делегацией цели, уступчивость, проявленная социалистическими странами, уважение и симпатия к кубинской революции, которые ощущались в любом

контакте на любом уровне, — все это окрылило Че Гевару, укрепило его в уверенности, что мир воистину глубоко, неистребимо однороден и движется в единственно верном направлении... Та горькая истина, которая нам только теперь открывается и заключается в том, что единственное направление (то, которое мы объявляем единственным) никогда не бывает верным, в те времена не была бы принята, пожалуй, никем и вызвала бы хор возмущения и справа, и слева, из-под земли и с самих небес... Не только Че Гевара, но и тысячи, десятки тысяч других мятежников жили в счастливой уверенности, что в рамки их концепции легко укладывается весь мировой опыт и что в данный, текущий момент они конечно же находятся на вершине истории.

«Да, мы пребываем в состоянии экономической и почти неэкономической войны с огромной державой, поддерживаемые другой огромной державой... но мы не наблюдатели в битве колоссов вокруг Кубы. Мы — важнейшие участники этой борьбы... У нас здесь, если говорить правду, с точки зрения всемирной истории ничего еще, к счастью, не происходило. Мы говорим о 20 тысячах погибших, а там речь идет о 20 миллионах... И тем не менее в этой стране готовы идти на риск атомной войны и невообразимых разрушений, когда цифра погибших во много раз возрастет, — единственно во имя поддержания принципа и защиты Кубы... Мы должны быть достойны такого доверия...»

13

Успех Эрнесто Че Гевары на переговорах в социалистическом мире был настолько бесспорным, что на Кубе теперь никому и в голову бы не пришло сетовать, что финансами и промышленностью страны руководит не тот человек. Как-то стало даже забываться то обстоятельство, что Че Гевара — врач по образованию. Жесткий самоконтроль и иступленная преданность делу являются факторами гипнотическими. Че внушил себе, что нужен революции в настоящее время именно как финансист и экономист, он мыслил, говорил, держал себя, ощущал себя как революционный экономист, и эта уверенность его передавалась окружающим. Для него было бесспорно, что есть просто экономисты и есть экономисты революционные, первые являются профессионалами, пусть даже опытными и добросовестными, но

неспособными работать в условиях уплотненного времени, с уважением к жизни не такой, какова она есть, а такой, какую она должна сделаться в результате революционного ее развития; вторые же, как правило, самоучки либо обученные наспех, в кратчайшие сроки, а потому свободные от груза традиций и опыта, способны на внезапные озарения и, в сущности, пригодны именно для работы на грядущее.

Когда в феврале 1961 года Че Гевара был назначен министром промышленности, все восприняли это как явление совершенно закономерное, и сам он был уверен, что занимает это место по праву, ибо он лучше всяких Фелипе Пасосов знал, куда вести индустриализацию. Почему он не стал министром здравоохранения? Сама мысль об этом показалась бы ему противоестественной: он сам признавался, что не хочет лечить отдельных людей, он хотел лечить народы. Здравоохранение занимается брэнной плотью, которая не поддается идеологической экспансии, экономика — поддается, и, если ее должным образом перестроить, возникнут новые отношения между людьми, очищенные от материальной выгоды, от собственности и денег, на почве этих отношений вырастет новая мораль, что приведет к расцвету высшей духовности и к формированию нового человека.

«Согласно нашей концепции, — писал он, — необходимо со всей решительностью ликвидировать рынок, деньги и, следовательно, рычаг материального интереса — или, лучше сказать, условия, которые вызывают его существование... Личный интерес и личный доход должны исчезнуть из списка психологических побуждений».

Само понятие «новый человек», как бы пронизанное воздухом и светом, избавленное от примитивной телесности, заключало в себе обещание счастья, раскрепощение, освобождение от удушья, освобождение, которого вся фармация, терапия и хирургия планеты не смогли бы достичь. И наикратчайший путь в это счастливое завтра лежал через распахнутые врата социалистической индустриализации.

То, что досталось Че Геваре в наследство от старого мира, — это была не индустрия, это было полупромышленное, полуремесленное крошево, броуново мельтешение мелкобуржуазных частиц: четыре сотни более или менее крупных фабрик и бесчисленное множество мелких мастерских, которые на Кубе называют «чинчалес» (то ли клоповники, то ли лабазы). Чтобы привести в порядок

эту стихию. Че Гевара решил прежде всего укрупнить «чинчалес», свести их в серьезные мастерские, где можно было бы применять технику, наращивать производство и соответственно снижать затраты на единицу продукции. Прежние хозяйчики, изворотливые, но заикленные на личную выгоду, каким-то образом сами себя снабжали и финансировали, вступая в сговор с такими же ловчилами, как они. Национализация с этим разгулом инстинктов покончила, и на смену анархии пришла Система Бюджетного Финансирования и Снабжения.

В своих экономических воззрениях Че Гевара исходил из того, что после перехода средств производства в руки государства закон стоимости и все меркантильные категории, которых требует его применение, автоматически утрачивают управляющую силу. Вообще категории торговли в отношениях между социалистическими предприятиями, являющимися частью огромного предприятия — Государства, не имеют смысла. Понятия «рентабельность», «товар как экономическая единица» и прочие термины буржуазной экономики не только неприменимы к социалистической хозяйственной практике, но и вредны, поскольку, единожды примененные, они начинают существовать сами по себе и диктовать свою волю в отношениях между людьми.

Вряд ли дон Эрнесто, любивший поговорить о бесчеловечности чистогана, мог предвидеть, что его наивный антикапитализм даст такие буйные всходы. Че рассматривал капитал, свободное предпринимательство как главный источник зла на земле и как главное препятствие к переделке человеческой природы. Переделав самого себя, из угрюмого, болезненного, незащищенного юноши вылепив непобедимого вождя, облаченного в цельнолитую броню идеи, Че был уверен, что такой же сознательной, целенаправленной (пускай насильственной) переделке необходимо подвергнуть и каждого человека в отдельности, и человеческую природу в целом. Отмена законов, «данных Адамом и Евой», представлялась ему не только осуществимой, но и осуществимой в кратчайшие сроки. Лечить народы в его понимании означало подвергать их постоянному «прямому воспитанию» через специально созданный воспитательно-пропагандистский аппарат государства.

«Индивидуум подвергается непрерывному воздействию новой власти и осознает, что не вполне соответствует ей...»

Это целенаправленное внушение каждому чувства несоответствия, недостойности, чувства вины перед государственной властью — вещь достаточно хорошо нам знакомая, хотя, надо признать, никто у нас не говорил об этом так прямо, как это сделал Че Гевара в своем письме редактору уругвайского еженедельника «Марча».

«Подвергаясь к тому же давлению со стороны уже перевоспитавшейся массы, индивидуум старается приспособиться к ситуации... и ощущает, что именно его собственные недостатки и дефекты развития мешают ему освоиться в ней до сих пор. Так он начинает уже воспитывать сам себя...»

Вырисовывается достаточно четкая система: воспитательное воздействие власти — давление перевоспитавшейся массы — самовоспитание, преодоление дефектов своей индивидуальности в интересах приспособления. А целью этого процесса является создание устойчивого множества людей, объединенных общей идеей.

«В образе множества людей, движущихся к будущему, заложена и концепция гармоничной системы желобов, запруд, перекатов, пригодных для отбора тех, кому шагать в авангарде, для поощрения старательных и наказания тех, кто пытается помешать...»

Небольшое эстетическое противоречие, заложенное в этой модели (одновременно движущейся и в то же время неподвижной), не мешает нам очень зримо угадать в ней то, что каждому из нас доводилось видеть в действии: гладкие желоба, уносящие счастливых к карьере, запруды, у которых, без всякой надежды выбраться, скапливаются недостойные, и перекаты, проскочив через которые и не свернув себе шею, попадаешь в пожизненное благополучие. Все это было бы похоже на детскую настольную игру с катающимися по наклонной доске шариками, если бы роль шариков не выполняли тут обкатанные человеческие головы...

Впрочем, мысль о пожизненном благополучии и о гарантированной карьере абсолютно чужда бородатому человеку в черном берете со звездочкой, наклонившемуся над гигантским столом и вглядывающемуся в него требовательным взглядом темных расширенных глаз: его идея чиста и благородна, никакие льготы для авангарда не заложены в его идеальную модель.

«Авангард идеологически более развит, чем масса... В нем происходят качественные изменения, которые позволяют ему идти на жертвы при выполнении своей

авангардной функции... Он знает, что славная эпоха, в которую ему выпало жить,— это эпоха жертв; он знает, что значит жертвовать собою».

Все это изложено предельно просто и определенно: ни ложного пафоса, ни словесных выкрутасов. Таким был строй мысли Эрнесто Че Гевары, таким — чуждым позы, фальши и стремления во что бы то ни стало понравиться — был он сам. Сказать, что Че лишен был противоречий, означало бы упростить анализ: по меньшей мере одно противоречие в нем было, и весьма существенное. Сам индивидуалист до последней клетки мозга, Че неприязненно относился к индивидуалистам, ко всем тем, «кто на фоне всеобщего движения вперед ищет особые индивидуальные тропы». Его сознание было так плотно заполнено общемировой моделью, что даже щели в нем не оставалось для признания неповторимости другого «Я». Вообще для идеи любая неповторимость, любое своеобразие (психическое, национальное — любое) — это дефект материала, щербина, которую следует зашлифовать. Меж тем как для живой жизни неповторимость является источником развития, главным, если вообще не единственным. Че Гевара видел источник развития в себе. И очень верно сказал о нем один из его товарищей по боливийской герилье:

«Че был тем самым человеком, о котором он говорил, хотя сам об этом не подозревал. Он был тем самым новым человеком, о котором он мечтал».

Между тем Куба переживала трудности, неизбежно сопутствующие любой революционной ломке, а в данном случае еще и усугубленные североамериканской экономической блокадой. Ухудшение качества городской жизни шло так стремительно, что, вернувшись из поездки в социалистический мир, Че Гевара не мог этого не заметить. Универмаги опустели, в них не было самых элементарных товаров, зато продавались предметы бессмысленной роскоши, вроде французских душистых экстрактов для ванн. Год назад весь городской транспорт катался на североамериканских горюче-смазочных материалах, а запчасти для такси и автобусов выписывались из Флориды. Теперь все это благополучие кончилось, и транспорт стал давать сбои. Отхлынули волны туристов, в любом многоэтажном отеле номер с кондиционером можно было теперь снять за три доллара в сутки (а раньше платили сорок), причем кондиционеры, как правило, уже не работали. Теперь в «Ривьере» размещались

скромные курсистки из кубинской провинции, приезжавшие в Гавану, чтобы учиться домоводству и шитью. Все это было понятно и даже в какой-то мере естественно, и население стоически переносило временные трудности под аккомпанемент повсюду звучащего радио, которое передавало речи Фиделя Кастро, официальные коммюнике, декреты, указы, — и, конечно, непрерывную маршевую музыку.

Однако некоторые вещи должны были насторожить революционного экономиста. Пускай торговля с Соединенными Штатами, которую Рауль Кастро остроумно назвал обменом долларов на центы, сошла на нет, пускай туристы больше не сорят на Кубе деньгами, а девушки легкого поведения вынуждены заняться кройкой и шитьем, — но что случилось с продуктами питания местного производства? Еще в начале года уличная торговля Гаваны захлебывалась в собственном, доморощенном изобилии, которым только и может гордиться мировая деревня: на каждом углу продавалось мороженое в щедрой смеси с любыми, по вкусу заказчика, фруктами, великолепные креветки, не говоря уже об ананасах, дынях, апельсинах, папайе и кокосовом молоке. Теперь же ничего этого не было, все пропало, развеялось как дым, на скудных лотках громоздились лишь водянистые арбузы. Как же так? Паутина перекупной и посреднической торговли была решительно выметена с рынков, и крестьянин сам мог вступать в контакт с покупателем — конечно, через торговый департамент ИНРА. Казалось бы, после реформы крестьянские хозяйства должны были завалить город дешевыми продуктами, но ничего подобного не произошло. Горожане шептались, что все теперь отправляется в Россию, где нет ни устриц, ни ананасов. Другие возражали, что ничего подобного, все съедает гуахиرو, который наконец-то понял, что значит питаться хорошо. Третьи пеняли на рост зарплаты: покупательная способность городского жителя возросла, и говядины, к примеру, теперь едят вдвое больше, чем раньше, этак можно остаться без поголовья крупного рогатого скота. Рауль Кастро, выступая по телевидению, рекомендовал потреблять больше рыбы и баранины, не слишком популярной на Кубе, продиктовал даже несколько рецептов, оставшихся в памяти с холостяцких времен. Все это было очень по-семейному, по-домашнему: временные трудности, друзья, отнесемся к ним проще.

Че Гевара активно включился в эту разъяснительную кампанию. Настойчиво и терпеливо он внушал кубинцам, что нужно меньше танцевать на карнавалах и не кивать при любой возникающей трудности в сторону империалистической твердыни: это все они, мол, там виноваты. Да, в Соединенных Штатах больше не курят наши сигары, это серьезный удар по экономике Кубы. Да, в Майами переехало триста тысяч человек, далеко не все они монахини и проститутки, есть среди них и ценные специалисты, которых нам теперь очень не хватает. Но в прогулах наших служащих, в разгильдяйстве и беспечности Соединенные Штаты винить нельзя. Многие трудности мы создаем себе сами. Вот мы жалуемся на отсутствие ветчины и на большие очереди за мясом. А разве не мы сами легкомысленно послали на убой столько скота, когда казалось, что на веки вечные хватит? Мы ропщем, что плохая стала кока-кола, похожа на микстуру от кашля, но это же наш, кубинский рецепт. Нам не нравится отсутствие импортных лекарств, а разве не сами мы просим врачей, чтобы они выписывали нам североамериканские? Врачи охотно выписывают, зная, что их не купишь, и делают это иногда со злорадством. А почему бы не довериться пилюлям отечественного производства?

«Народ должен понять, что эффективность лекарства не зависит от цвета пилюль и что лекарств на свете меньше, чем фармацевтических фирм. Конкуренция между отдельными фирмами — не что иное, как жульничество, и в социалистической стране ей нет места!»

Революции ведут счет времени на эпохи и часто начинают с того, что вводят свой, новый, рассчитанный, естественно, на вечность календарь. Не была исключением и кубинская революция, положившая начало новому летоисчислению: 1959-й — «Год Революции», 1960-й — «Год Аграрной Реформы», 1961-й — «Год Просвещения»... С начала этого года все кубинцы, стар и млад, с головой окунулись в учебу. Курсы машинописи и стенографии, курсы слесарного дела, курсы агротехники, все ускоренные и краткосрочные, открывались чуть ли не каждый день. И конечно же, курсы ликвидации неграмотности. На улицах появились юноши и девушки со значками «Учитель-доброволец ИНРА» и с книжечками «Картилья», предназначенными для ускоренного, за три месяца, обучения грамоте и счету. Звездой телевидения стала столетняя старушка, научившаяся читать.

А на набережной Гаваны расставлены были четырехствольные зенитки «куатробокас», у подъездов учреждений строились брустверы из мешков с песком, по ночам город погружался в затемнение. Ждали вторжения. Испаноязычное радио, вещавшее на Кубу из соседних стран, заверяло, что в самом скором времени кубинцы обретут свободу. Стены домов в Гаване были увешаны лозунгами: «Си вьенен — кедан! Придут — так полягут!» В генштабе Кубы обсуждался вопрос, не перебраться ли Фиделю Кастро в укрепленное место в горах...

Первый вторник после первого понедельника ноября в США принес победу Джону Кеннеди, Ричард Никсон признал свое поражение, и кубинцы восприняли это далеко не так благодушно, как москвичи, отчего-то сразу уверовавшие, что новый президент — хороший человек. В Гаване помнили, что это Кеннеди в ходе предвыборной борьбы настаивал на том, что США не могут потерпеть социалистическую революцию в 160 километрах от своих берегов (на что Фидель Кастро остроумно заметил: «Так пусть переедут!»), а Никсон объявлял эти декларации неправильными и безответственными. Фотогеничные лидеры частенько обнаруживают склонность к силовым методам, рассудительный государственный деятель внешне, как правило, неказист. Нельзя было исключить и такой вариант, что старый Эйзенхауэр даст добро на вторжение под занавес, чтобы закрепить за собой место в истории. К счастью, Айк предпочел другой, более мудрый способ завершить свое президентство: уходя, он предупредил Америку об опасном могуществе военно-промышленного комплекса. Да и молодой президент на инаугурационной церемонии сделал обнадеживающий намек, произнеся многозначную фразу: «Кубинский вопрос прояснен».

Тем не менее план высадки кубинских оппозиционеров был уже одобрен Комитетом начальников штабов Соединенных Штатов и под кодовым названием «Плутон» принят к исполнению, так что Кеннеди не мог ничего изменить, и, быть может, фраза «Вопрос прояснен» означала именно это. Впрочем, «не мог» — не совсем точное слово. Мог, но не захотел ничего отменять: Аллен Даллес и военные заверяли президента, что шансы на успех даже выше, чем в Гватемале, поскольку армия Кастро деморализована чистками, а в городах неизбежно восстание. Успех вторжения открывал многообещающие возможности, развязывал руки для работы на «новые

рубежи», и против такого искушения Кеннеди не сумел устоять. Единственное, чего он добился от министра обороны Макнамары, — это обещание, что во время операции военные корабли США будут держаться за пределами двадцатимильной зоны. Аллен Даллес рассчитывал, что в случае неблагоприятного хода высадки президенту уже некуда будет отступить и он даст разрешение на высадку морской пехоты. Однако у Кеннеди имелось твердое мнение на этот счет, и накануне вторжения он еще раз напомнил, что ни один американский военнослужащий ни при каких условиях не должен быть замешан в боевых действиях на Кубе. Возможно, именно эта настойчивость в конце концов и привела Джона Кеннеди к гибели.

Ровно в полночь 16 апреля семь десантных и транспортных кораблей ВМФ США подошли к кубинскому берегу на юге провинции Лас-Вильяс, и наемники, общим числом около тысячи человек (не считая парашютного десанта, который был сброшен позднее) стали высаживаться на берег. Участникам экспедиции было объявлено, что Пятый флот и бомбардировочная авиация США в нужный момент придут к ним на помощь. Высадка прошла без осложнений, на берегу оказалась отлично вооруженная бригада, в распоряжении которой имелись мортиры, безоткатные пушки, пять танков М-1 и десять броневиков. Бригаде предстояло взять ближний аэродром, чтобы использовать его для переброски подкреплений и снабжения. А дальше — обычный для таких дел сценарий: освобожденная территория, временное правительство, международное признание, прямая военная помощь...

Многим из нас в Москве казалось тогда, что дни и даже часы кубинской революции сочтены: дядюшка Сэм взялся за дело засучив рукава и не успокоится, пока своего не добьется. Испаноязычные радиостанции наперебой сообщали: «Остров Пинос занят Освободительной армией, десять тысяч заключенных влились в ее ряды! Фидель Кастро бежал, Рауль взят в плен, Че Гевара покончил с собой! В столице — уличные бои, отель «Гавана либре» полностью разрушен...» Однако события развивались иначе. Освободительная армия встретила на кубинском берегу ожесточенное сопротивление, парашютный десант не сумел пробиться к основной группе, самолеты Фиделя Кастро потопили четыре десантных корабля, и к концу дня Фидель Кастро подтянул к району

вторжения танки. Танки были наши, советские, Т-34, что же касается самолетов, то здесь ясности нет. Кубинские источники утверждают, что никаких советских МИГов в распоряжении правительства не было, имелось только два английских винтовых и один В-26.

Энрике Сальгадо больше доверяет «ностальгическим изгнанникам» из Освободительной армии, радировавшим на корабли: «Нас атакуют МИГи!»

Как бы то ни было, Освободительная армия оказалась притиснутой к берегу и продержалась меньше трех суток. Не оправдались и расчеты на обещанное Джону Кеннеди восстание в Гаване: активисты квартальных КЗР, заблаговременно отметившие адреса всех подозрительных соседей, сразу же после сообщения о начале высадки приняли «превентивные меры безопасности». «Конечно,— пишет наш журналист, свидетель этих событий,— вместе с активными контрреволюционерами, вместе с платными диверсантами в то тревожное утро были арестованы и просто обезврежены болтуны и даже невинные люди. Им от имени правительства были принесены извинения». С извинениями все понятно, неясно одно: почему же все-таки «конечно»?

Джон Кеннеди был в отчаянии: человек весьма честолюбивый, он рассчитывал на то, что его президентство впишет золотые страницы в историю Америки, а вместо этого в первые же месяцы его посадили в такую калашу. Рассказывают, что 18 апреля вечером, когда в Белом доме шел прием для конгрессменов, президента еле уговорили надеть смокинг и выйти к гостям. В последний момент нервы у президента дрогнули, и он отдал приказ нанести по наступающим войскам Фиделя Кастро бомбовый удар, однако из-за разницы в часовых поясах самолеты с авианосца «Эссекс» запоздали, и поддерживать с воздуха было уже некого. Кеннеди жаловался на военных: «Они все это нарочно подстроили, чтобы меня погубить...»

Пленные наемники, среди которых, говорят, оказался и сын бывшего премьер-министра Кардоны, обвиняли своих стариков, отсиживающихся в Майами, и роптали на американцев: «Как это Аллен Даллес мог не знать, что у Кастро есть танки?» Фидель Кастро предложил отправить их всех в США — в обмен на пятьсот тракторов, и позднее, при посредничестве вдовы Рузвельта, операция «Тракторы за свободу» была проведена.

В дни вторжения Че Гевара, как и все вожди революции, находился на передовой. По столице ходили слухи, что он ранен, что на него совершено покушение. Ильда Гадеа пишет, что, когда он зашел повидать дочку, у него действительно была ссадина на лице. Произошла какая-то фантастическая история: пистолет выпал у него из кобуры, произошел выстрел, и пуля оцарапала ему скулу.

«Еще один звонок, — сказал Эрнесто Ильде. — На сантиметр ближе — и я бы перед тобой не стоял».

Первомай 1961 года отмечался на Кубе с особым размахом. Вечером 30 апреля по гаванским набережным невозможно было проехать: они были запружены грузовиками, на которых в столицу из всех провинций свозили крестьян, одетых так, как это нравилось Фиделю Кастро: в сомбреро из пальмовых листьев и в просторные белые рубахи. Миллион человек (а кто говорит — даже два) были собраны в ту ночь на пустырях столицы. В шесть утра братья Кастро и Че Гевара возглавили шествие. На площади Революции вожди вместе с почетными гостями поднялись на трибуну, и в течение четырнадцати часов мимо них медленно двигалась процессия под транспарантами: «Фидель, Хрущев, эстамос кон лос дос! Мы с вами обоими!», «К стенке изменников!», «Куба не продается!» К пяти часам вечера некоторые колонны на окраинах Гаваны еще не двинулись с места. Люди весь день стояли на солнцепеке, многие падали в обморок. С утра еще разносили бесплатные бутерброды и кока-колу, но к обеду все это кончилось. Вечером, после карнавальная и спортивной программы, состоялся военный парад. И только в двадцать два ноль-ноль Фидель Кастро подошел к микрофону. Он говорил почти до рассвета. О чем? О постыдном поражении янки, о первом космонавте планеты («Мы живем в эпоху космических полетов, хотя, впрочем, этот вид путешествий еще недоступен США...»), о пленных наемниках, «папенькиных сыночках», которые в это время смотрели прямую трансляцию во Дворце спорта, об учении Христа...

«Фидель здесь вождь, — так сказал Че, отвечая на вопросы журналистов. — Спрашивайте его, неважно, какие темы вас интересуют. Он говорит обо всем, о божеском и о человеческом».

На Кубе к тому времени окончательно сложился триумvirат вождей: братья Кастро и Че Гевара (четвертый, любимец нации Камило Сьенфуэгос, погиб при

загадочных обстоятельствах в авиакатастрофе во время мятежа Уберта Матоса). «Если Фидель — это сердце революции, то Рауль — ее рука, а Че Гевара — ее голова». Их популярность была примерно равной, хотя пальма первенства, безусловно, оставалась за Фиделем Кастро — с его влиянием на массы людей. Но и Че был обласкан кубинским народом. «Все девушки Латинской Америки влюблены в Че, — с восторгом пишет французская журналистка. — Он очень красив: бледное романтическое лицо с большими черными глазами и маленькой взъерошенной бородкой! Прямо Сен-Жюст! Че — самый левый из всех революционеров! Несмотря на тяжелую астму, он воевал в Гватемале против американской морской пехоты...» Все это было верно — за исключением того, что американской морской пехоты не было в Гватемале и Че Гевара там не воевал.

Донья Селия была счастлива тем, что ее первенец находится на вершине вселенской славы, и свое призвание она теперь видела в беззаветном материнском служении тому делу, которое Эрнесто считал своим. Приезжая на Кубу, она повсюду следовала за ним, присутствовала на митингах и на совещаниях в его министерстве. Говорят, она даже делала попытки принять участие в решении каких-то государственных вопросов, и Эрнесто вынужден был ее сдерживать:

«Старушка, успокойся, пожалуйста. Есть вещи, в которых ты ничего не смыслишь. Не заставляй меня делать лишние движения».

Об этом рассказывает Энрике Сальгадо, не замечая, какую странную метаморфозу претерпела роковая материнская тень...

В августе 1961 года, все еще на волне революционного оптимизма, Че Гевара отправился в Уругвай на конференцию Межамериканского экономического совета, где должен был обсуждаться план президента Кеннеди, получивший название «Союз ради прогресса». Многие в Испаноамерике считали, что если Кеннеди предлагает братским республикам Западного полушария льготные кредиты и обещает многомиллиардные инвестиции, то благодарить за это нужно Фиделя Кастро и его революцию. Видимо, так оно и было: Кеннеди хотел нейтрализовать «дурной кубинский пример» и вызвать в Латинской Америке процессы, которые способствовали бы возвращению Кубы в лоно свободного мира. Если бы молодой президент был волен в своих действиях, он

ни за что не связал бы свою репутацию с высадкой на Кубе каких-то там ностальгически настроенных папенькиных сынков... но что делать, власть — это лишь одна из форм несвободы, но цепкости своих сетей не уступающая добровольному рабству. Теперь же, когда случилось то, что случилось, нужно было мириться с тем, что Куба придет на конференцию победительницей и постарается набрать еще больше очков.

Прибытие Че Гевары в Монтевидео стало сенсацией. Когда команданте в оливковой униформе, в неизменном черном берете появился на верхней ступеньке самолета трапа и жадно вдохнул зимний воздух родного Юга, толпа, собравшаяся в аэропорту «Карраско», разразилась приветственными криками: «Куба — си! Янки — но!» Испаноамерика радовалась победе кубинской революции не потому, что она так уж страстно желала, чтобы алый флаг коммунизма взвился над всем континентом, и не потому, что она так люто ненавидела североамериканцев (хотя поражение сильнейшего, привыкшего без труда побеждать, вызывает какое-то удовлетворение даже у самого равнодушного к политике и к спорту), но потому, что теперь новая Куба олицетворяла для нее альтернативу, возможность иного выбора: совсем не обязательно к ней склоняться, но важно, чтобы она была. Нет ничего удивительного поэтому, что Монтевидео оказал восторженный прием своему земляку: триумф лаплатца там, в далекой Кубе (не менее далекой, чем от нас остров Мальта), воспринимался здесь, под Южным Крестом, очень лично и вызывал волнующие ассоциации с кондотьерством свободы времен Боливара и Сан-Мартина. Десятки автомобилей частных граждан сопровождали его кортеж до курортного городка Пунтадель-Эсте, где должна была проходить конференция. Что чувствовал Эрнесто Гевара, оказавшись в такой близости к родным местам, гадать мы не станем. И напрасно это делает испанский психоаналитик, вдруг обнаруживший пристрастие к банальностям: «Возбуждены его ретроспективные чувства, как будто он дома. Мате, танго и хороший футбол...» Небогатый набор ассоциаций, если правду сказать, да и неверный: с мате Че Гевара не расставался и на Кубе, танго для него никогда не существовало, а хорошего аргентинского футбола (во всяком случае, такого, о котором стоило бы говорить отдельно) он не дождался, поскольку покинул родину в 1953 году.

Выступая на конференции 8 августа, Че Гевара поблагодарил правительство и народ Уругвая за сердечный прием — и сразу же, не тратя более времени на церемонии, ринулся в бой. Он развернул перед слушателями обновленную, но, как и прежде, бинарную картину мира, являющего собой арену противоборства двух сверхдержав: Берлин, за который Кеннеди обязался идти вплоть до мировой войны, разделенные Вьетнам и Корея, Формоза, стонущая в руках Чан Кайши, истекающий кровью Алжир, Конго, где в начале этого года был убит империалистами Лумумба.

«Куба — это только часть мира, находящегося в мучительном неведении, пойдет ли одна из враждующих сторон (более слабая, но и более агрессивная) на то, чтобы совершить грубую ошибку и развязать заведомо бессмысленный конфликт».

«Более слабая, но и более агрессивная» — речь шла о Соединенных Штатах, в те дни это не нужно было никому объяснять: окрыленный разгромом Освободительной армии, Че Гевара был не одинок в своем убеждении, что североамериканский империализм выходит на свою финишную прямую, и весь вопрос только в том, успеет ли он развязать третью мировую войну до своей неминуемой гибели. Наша печать тогда настойчиво внушала нам, что внешняя политика США терпит провал за провалом, что военные союзы США разваливаются, точно карточные домики, что костлявая рука кризиса стучится в дверь американской экономики, а уж о духовной деградации нечего и говорить, недаром по радио в Нью-Йорке так часто звучит русская песня «А я несчастная, торговка частная...» — ибо это есть прообраз самих США. Звездным фоном для такой пропаганды были блистательные успехи нашей страны в космосе: многим тогда (и в самих США) представлялось, что через год-другой в небесах будет не протолкнуться среди космических кораблей, пилотируемых советскими майорами и подполковниками. Если мы сами, чувствуя, что хрущевская революция пошла на убыль, тем не менее хранили убеждение, что страна наша находится на великом подъеме, стоит ли удивляться, что этому верили и другие...

«О темпах роста. В настоящее время 2,5 процента годовых для Латинской Америки — прекрасно. Боливия объявила, что у нее 5 процентов: мы поздравляем ее и говорим, что при мобилизации народных ресурсов и при еще одном усилии можно иметь 10 процентов.

Мы говорим о 10 процентах роста без опасений. При нынешних темпах Латинская Америка, имея сейчас 330 долларов на душу в год, к 1980 году будет иметь 500, а Куба — 3000 долларов, больше, чем США. Не верите — отлично, давайте потягаемся, сеньоры. Пусть нас оставят в покое, пусть нам дадут развиваться, а через двадцать лет мы встретимся вновь и поглядим, является ли это песнью коммунистической сирены или чем-то еще».

Высмеивая доклад, подготовленный к конференции группой «рассудительных специалистов» Международного банка реконструкции и развития, среди которых значился и его давний соперник Фелипе Пасос, Че Гевара отметил, что почти третью часть средств, выделяемых по программе «Союз ради прогресса», группа Пасоса отводит на жилье, водопроводы и канализацию.

«На канализацию... В этом есть что-то колониальное. У меня такое впечатление, что кое-кто старается сделать из сортира фундаментальную вещь. Если мне позволит сеньор председатель, я от имени кубинской делегации выражу глубокое сожаление, что мы отказались от услуг такого способного специалиста, как руководитель этой группы экспертов доктор Фелипе Пасос. С его умом и работоспособностью да при нашей революционной активности за два года Куба сделала бы раем сортиров, не имея ни одной из тех двухсот пятидесяти фабрик, которые мы сейчас сооружаем... Не кажется ли вам, сеньоры, что вас разыгрывают? Даются доллары на строительство автострад, на строительство коллекторов сточных вод, а откуда возьмутся сточные воды? Не надо быть гением, чтобы сообразить. Почему не выделяются доллары на машины и оборудование, на превращение наших слаборазвитых стран сразу в индустриальные? Все это просто прискорбно».

Полемический азарт заразителен, и в свое время, читая газетные отчеты о том, как Че Гевара дал открытый бой «Союзу ради прогресса», мы тоже посмеивались над незадачливыми экспертами, которые спускают миллионы в канализацию и не доходят своим скудным умом, что проще и быстрее строить фабрики без очистных сооружений, без подъездных путей и без жилья...

Год 1962-й, объявленный на Кубе «Годом Планирования», стал на деле годом недомыслия и безрассудства, едва не открывшего истинно новую эру — эру ядерных

сумерек. Много пишут о мудрости и благоразумии всех трех задействованных в Карибском кризисе сторон. Мудрость, однако, предполагает способность предвидеть, этим ни одна из сторон не блеснула: на краю обрыва сработали лишь страх и инстинкт.

О Карибском кризисе еще будет написано — много и подробно, когда раскроются наши и кубинские архивы. В данной книге и не ставится задача рассказать обо всех обстоятельствах этой захватывающей и в то же время неприглядной истории: автор не может похвастаться доступом к закрытым распределителям информации. Тем не менее история эта, отступившая от нас уже на срок жизни целого поколения, укладывается в абзац аккуратного текста, который требует элементарной расшифровки.

Вот он, этот абзац:

«Карибский кризис (1962) — междунар. кризис, вызванный агрессивными действиями империализма США, направленными на удушение кубинской революции. Большую роль в ликвидации кризиса сыграл Сов. Союз».

Как же развивались события? В мае 1962 года Никита Хрущев в узком кругу впервые высказал мысль о том, что было бы неплохо установить на Кубе ядерные ракеты. В начале июня в Гавану под чужим именем прибыл главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения СССР, и на его вопрос о возможности такого шага Фидель Кастро дал положительный ответ. Соответствующее секретное соглашение было проработано в конце июня, когда в Москве находился Рауль Кастро. А в середине июля ракеты и обслуживающий персонал уже начали прибывать на Кубу. Это были Р-12 и Р-14 с дальностью действия от двух до четырех тысяч километров, способные донести ядерные боеголовки до столицы любого штата США — за исключением северо-западного угла. В августе проект соглашения был передан Фиделю Кастро, который внес в него свои мотивировки. Предполагалось, что соглашение будет подписано и обнародовано в ноябре, когда на Кубу придет с визитом Никита Хрущев.

Че Гевара также внес посильный вклад в подготовку к этому волнующему событию. 27 августа он прибыл в Москву, видимо, для того, чтобы обсудить с Хрущевым вставки, сделанные Фиделем Кастро, и придать тексту соглашения окончательный характер. Ввиду особой секретности дела, в тайну которого не были посвящены

даже дипломаты, официально сообщалось, что Че Гевара будет вести переговоры о строительстве на Кубе металлургического комбината.

На сей раз Москва должна была понравиться Че Геваре. Стояла отличная солнечная погода, столица только что отшумела, встречая космонавтов Николаева и Поповича. Газеты были полны отчетами о ходе уборочной страды: «Мастера золотых початков! Отличная кукуруза на полях колхоза имени XX партсъезда!» Никита Сергеевич находился в Ялте, сочетая отдых с приемом важных гостей.

«30 августа Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев принял в Ялте Эрнесто Гевара Серна и Эмилио Арагонеса Наварро и имел с ними продолжительную беседу, которая протекала в исключительно дружеской, сердечной обстановке и в духе полного взаимопонимания».

Наши люди, ни о чем, естественно, не подозревавшие, пробегали эту заметку глазами, дивились красоте экзотических имен (фамилия Че Гевары была по-прежнему неподвластна нашим газетчикам; правда, к его лицу стали понемногу привыкать: «А, это Федин финансист...»), машинально отмечали «исключительно дружескую обстановку» и одобрительно кивали: правильно, все так и должно быть, кубинцы — замечательные ребята. Раньше считалось само собой разумеющимся, что единственный надежный друг у нас — это Китай, а Восточная Европа — постольку-поскольку... Теперь с Китаем похужало, но вот Фидель Кастро — замечательный мужик. И этот, Гевара Серна, тоже ничего, хотя и себе на уме. Как они там, на своих выселках, не боятся? «Вива Куба! Патриа о муэрте! Венсеремос!» — эти слова были у всех на слуху. Новый квартал в Москве, застроенный серыми пятиэтажками, обитатели его называли «наша Куба». А когда по телевидению показывали панораму Гаваны с ее сахарными небоскребами (причем показывали бегло, стыдливо, как неприличную картинку), мы дружно произносили: «Ух ты!» Этакий проплывающий в тропическом мареве прообраз светлого завтра, который для самой Кубы являлся вчерашним днем.

Взаимопонимание между Геварой и Хрущевым в те дни действительно было полным: оба полагали, что работают на завтрашний день. Че мог по праву считать себя соавтором ракетной идеи: не он ли с тонкой аргентинской усмешкой говорил во время прошлого визита, что

предостережение Никиты носит символический характер? Хрущева это не могло не зацепить: «Ах, вам нужны вещественные аргументы?» Два простодушных хитреца, оба себе на уме, исходили из того, что лишь один из них держит руку на пульсе истории. Че Геваре нужно было уплотнить революционный процесс, чтобы русский ракетный кнут подхлестнул глобальную герилью. У Никиты Сергеевича, сытого радикализмом по горло, имелись собственные мотивы: ракеты на Кубе — это было первой заявкой на военное равенство, ответом на турецкий вызов США (Р-12 и Р-14 были аналогичны тем, которые Соединенные Штаты держали на своих базах в Турции) и демонстрацией глобальной силы, в которую сам Хрущев крепко уверовал после прошлогодних удачных испытаний сверхмощной бомбы. Что же касается согласия кубинской стороны, то Никита был неплохим психологом и не разделял сомнений посла Алексева, который полагал, что Фидель Кастро откажется от такой горбушки. Никита чувствовал, что молодым азартным идеалистам, пришедшим к власти на маленьком острове, тесно в этих пределах, они горят желанием выйти на континентальный простор и бороться за счастье угнетенных народов.

«Раньше мы были последнею картой в колоде, — говорил Фидель Кастро, — последней спицей в колеснице, а сегодня, несомненно, мы — первая карта во всех колодах мира. Пусть янки бросают что хотят, даже если они сбросят атомную бомбу, — здесь всегда найдутся люди, которые продолжают борьбу... И тогда уж им придется записаться двумя корзинками: одной — чтоб давать подарки, а другой — чтобы принимать добротные даяния, причем корзинка для добротных даяний должна быть весьма и весьма вместительной...»

В этом фрагменте речи Фиделя Кастро и лексикон, и стиль почти хрущевские, и юмор страшновато-игривый, слегка затянутый, по-малороссийски нарочитый. Кстати, и образ ежа, которого предполагалось запустить в североамериканские джунгли, странным образом перекликается со словами Фиделя Кастро, сказанными задолго до рождения ракетной идеи, — о том, что из смиренной сардинки Куба, ошетилившись, превратилась в морского ежа.

Хрущев полагал, что, помимо стратегического выигрыша, размещение ракет принесет пользу и Кубе: при таком раскладе Кеннеди не решится на вторжение. Мысль

о том, не получится ли как раз наоборот, что ракеты спровоцируют Кеннеди на непредсказуемые деяния, — эта мысль не тревожила Никиту Сергеевича: терпим же мы американские ракеты у себя под брюхом — и ничего. Вот тут-то и был допущен жестокий просчет: наша притерпелость к опасности экстраполировалась на балованное дитя географии.

Джон Фицджералд Кеннеди, 35-й президент США, тоже не был младенцем, ничего не ведающим об этой взрослой игре. В том же номере «Правды», где сообщалось о ялтинской беседе Хрущева и Че Гевары, помещена была и заметка о пресс-конференции Кеннеди, на которой он заявил, что не поддерживает идею вторжения на Кубу в настоящий момент, а когда его последние слова вызвали оживление в зале, добавил, что эти слова не имеют никакого второго значения. Джон Кеннеди превосходно знал, что слова «в настоящий момент» имеют второй смысл, они и сказаны были специально для того, чтобы поддержать захватывающую игру. Четверть века спустя Макнамара мог со спокойной совестью говорить, что Соединенные Штаты не имели ни малейшего намерения вторгаться на Кубу, но и Хрущев, доживи он до этих времен, клятвенно подтвердил бы, что Советский Союз не собирался накрывать ракетным огнем Арканзас. Что означает «в настоящий момент»? На этой неделе? В текущем году? В политических играх той поры любая неясность толковалась, вопреки всем презумпциям, не в пользу оппонента и считалась неопровержимым доказательством его злонамеренности. Такова была юстиция нетерпимости, подогретой мессианскими настроениями всех трех участников конфликта, полагавших себя призванными историей для того, чтобы избавить мир от зла.

Визит Че Гевары в Советский Союз был использован нами и Кубой для того, чтобы дать первый звонок и предупредить оппонента и мировую общественность о предстоящих важных событиях. В коммюнике после нескольких фраз о металлургии было написано: «...состоялся обмен мнениями в связи с угрозами агрессивных империалистических кругов в отношении Кубы. Правительство Кубы ввиду этих угроз обратилось к Советскому правительству с просьбой об оказании помощи вооружением и соответствующими техническими специалистами для обучения кубинских военнослужащих. Советское правительство с пониманием отнеслось к этой просьбе

правительства Кубы, и по данному вопросу была достигнута договоренность...»

Читая последние слова, наши доверчивые люди многозначительно переглядывались («Ясенько!»), не подозревая, что договорились, не спрашивая их согласия, о коллективном самоубийстве. Ни слова о ядерных ракетах в коммюнике, естественно, не было сказано, одни лишь общие слова: «Пока имеют место угрозы со стороны указанных кругов в отношении Кубы, Республика Куба имеет все основания принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности... а все подлинные друзья Кубы имеют полное право откликнуться на эту законную просьбу».

Коммюнике, таким образом, убивало еще двух зайцев: снимало с нас ответственность за ракетную инициативу и предлагало пропагандистскую болванку для прессы. А четыре десятка ракет уже поступили на Кубу, продолжали прибывать наши ракетчики, общее число которых должно было составить сорок тысяч человек...

Печальна служба газетчиков, государевых человек, призванных обслуживать идею, в которую их даже не посвящают. Печальны и жалки наши газетные сообщения тех дней. «Вот это вовремя, — говорит пожилой художавый рабочий Гарсиа Посада. — И пусть в Советском Союзе знают: кубинские рабочие, кубинские крестьяне, наша армия сумеют использовать это оружие для защиты революции». И все вокруг согласно кивают головами: «Да, сумеют».

Ни художавый кубинский рабочий (если он существовал в природе), ни автор этого репортажа не знали и знать не могли, что обслуживание и охрана «средств» поручались только советским военнослужащим и что эти «средства» находились в полном распоряжении правительства СССР. Кубинского рабочего никто не спрашивал, согласен ли он с тем, чтобы с зеленых склонов Сьерра-Маэстры советские ракеты были нацелены на Нью-Йорк. Равно как не спрашивали об этом и автора репортажа.

Однако звоночек, прозвеневший в подписанном Че Геварой коммюнике, был сразу же услышан североамериканцами. Не зная еще о ракетах, они зачервничали. Газеты и журналы Соединенных Штатов требовали принятия самых решительных мер — в ответ неизвестно на что: «Надо что-то делать с Кубой... Это остров, пораженный инфекцией... Было бы интересно установить

военно-морской кордон вокруг Кубы, порыскать в этом районе и захватить суда, а кроме того, заявить нашим благородным союзникам, что мы не потерпим, чтобы они доставляли на Кубу русские материалы...»

Заявление ТАСС, призывавшее к благоразумию, содержало успокоительные обороты: «Мы отнюдь не скрываем... некоторое количество вооружения... Разве эти средства могут угрожать США?»

Видимо, мысль о ракетах кого-то в Соединенных Штатах посетила, потому что ТАСС авторитетно разъясняет: «Советскому Союзу не требуется перемещать в какие-то другие страны имеющиеся у него средства для отражения агрессии, для ответного удара... Советский Союз располагает настолько мощными ракетносителями этих ядерных зарядов, что нет нужды искать места для их размещения где-то за пределами СССР».

Кеннеди ответил резко и раздраженно: «Если США когда-либо сочтут необходимым предпринять военную акцию против коммунизма на Кубе, то никакое поставленное коммунистами оружие и никакие их технические советники не смогут ни отсрочить эту акцию, ни предотвратить».

С нашей точки зрения, это была неприкрытая и наглая угроза, а американцы точно так же восприняли заявление ТАСС.

«Речи Кеннеди и угрозы Кеннеди, — говорил Фидель Кастро, — очень напоминают выступления и угрозы Гитлера. Гитлер угрожал соседним народам... пугал их своими танками, своими бронетанковыми дивизиями. Теперь Кеннеди угрожает Кубе... пугает тем, что его терпение иссякает... Ах, терпение его может иссякнуть!»

3 октября американский астронавт Уолтер Ширра сделал шесть витков вокруг Земли. Накануне этого полета МИД СССР получил уведомление от госдепартамента США и заверил, что Советский Союз не предпримет никаких попыток помешать полету. Это было последним просветлением разума перед приступом всеобщего психоза.

14 октября американский самолет У-2, пролетая на большой высоте над Кубой, произвел аэрофотосъемку, и 16 октября на стол президента Кеннеди легли фотографии советских Р-12 и Р-14, еще, правда, не развернутых на боевых позициях. Сообщение привело Кеннеди в ярость — и не только потому, что военная угроза оказалась у самого порога Соединенных Штатов, которые давно от этого отвыкли. Президент, как говорят теперь, был

оскорблен тем, что ракеты ввезены тайно, без какого бы то ни было оповещения, а ведь он до последнего дня пытался сбить накал страстей, уверяя, что военные усилия русских на Кубе преувеличены. И вот, пожалуй-ста, такой подарок — как раз накануне промежуточных выборов, когда всякий президент надевает башмаки с особенно высокими каблуками...

Советники предлагали Джону Кеннеди широкий набор ответных мер — от негласных дипломатических контактов до высадки морской пехоты и свержения Фиделя Кастро. Первый вариант оставлял Хрущеву возможность так же негласно признать свою неправоту — и, сохраняя лицо, отступить; последний обещал непредсказуемый ответ. Сам Кеннеди склонялся к хирургически точному бомбовому удару по ракетным позициям (официально Советский Союз не объявлял, что на острове имеется его ракетная база, и можно было представить дело так, что ликвидированы военные сооружения неизвестного происхождения), однако же, взвесив все обстоятельства, отказался от этого кинематографического варианта и, отклонив миротворческие предложения, вроде удаления ракет США из Турции и с Кубы одновременно или обмена кубинских ракет на базу Гуантанамо, остановился на морской блокаде Кубы.

Перед тем как оповестить мировую общественность о своих намерениях, Кеннеди принял у себя в Овальном кабинете министра иностранных дел СССР Громыко и, не вынимая из ящика стола фотографии советских ракет, начал беседовать с ним о германском мирном урегулировании и — в общих чертах — о положении вокруг Кубы. Кеннеди заверял Громыко, что у США нет намерений предпринимать какие бы то ни было военные акции против Кубы (и не в настоящий момент, а вообще), Громыко отстаивал право Кубы укреплять свою оборону. Позже советского министра упрекали в том, что он не поставил Кеннеди в известность о наличии на Кубе советских ядерных ракет, но, во-первых, при авторитарном руководстве он не имел на это полномочий, а во-вторых, ничто не мешало президенту Кеннеди дать понять собеседнику, что секрет полишинеля более не секрет (чтобы он, по крайней мере, доложил об этом Хрущеву). Так два крупных политика оказались неспособными проявить дальновидность и вели мелкотравчатую игру, не отвечавшую ни их рангу, ни уровню политической ответственности.

Однако Никита Хрущев, по всей видимости, почувствовал неладное и провел беспокойную ночь: на другое утро, то есть 19 октября, он принимал военную делегацию ГДР, и на фотографиях вид у него подавленный и изнуренный.

Неопределенность тянулась еще трое суток: варианты ответной реакции Кеннеди оказались совершенно не просчитанными, и оставалось только ждать. Советские газетчики, пребывавшие в полном неведении о размерах бедствия, но улавливавшие тоскливое беспокойство в верхах, давали нервозные репортажи о том, что по ночам в окнах Вашингтонских кабинетов не гаснет свет, идут непрерывные ночные совещания, а к берегам Кубы подтянуто сорок боевых кораблей, и в готовности номер один находятся двадцать тысяч морских пехотинцев. Зарубежные друзья Кубы переживали тяжкое недоумение. «Я провел около месяца в этой «канцерозной крепости», — пишет Серж Лафори, — и не встретил ни одной колонны русских войск, о которых рассказывают американские газеты. По-видимому, агенты американской разведки их тоже не видели... Нельзя сказать, чтобы на Кубе совсем не было недовольных: мелкие торговцы, некоторые служащие, представители средних классов начинают находить, что социализм не очень выгоден...» Появление на страницах «Правды» этой последней фразы стало возможным лишь в обстановке неопределенности и почти смятения.

И вот вечером 22 октября, выступая по телевидению, президент Кеннеди показал американцам фотографии советских ракет и объявил, что отдал приказ военно-морскому флоту США перехватывать все суда, идущие на Кубу, подвергать их досмотру и не пропускать оружие, которое, по определению военных, имеет наступательный характер. Этот строгий карантин предписано было ввести с двух часов дня 24 октября. Фактически Хрущеву был предъявлен ультиматум: советские корабли, на борту которых находились новые Р-14, уже держали курс на Кубу, и в распоряжении Хрущева оставались лишь сутки, чтобы принять решение, остановить корабли или ничего не менять. Расчет Кеннеди был именно на унижительное отступление русских в международных водах.

Само по себе решение подвергать суда, плывущие в международных водах, принудительному инспектированию не имело прецедентов в истории мирного времени — могло быть приравнено к объявлению войны. Но сомни



тельной с точки зрения международного права была и установка на чужой территории наступательных ракет без соглашения, которое, кстати сказать, так и осталось неподписанным, и то, что ядерные боеголовки еще не были к ним привинчены, мало что меняло. Теперь, в свете грозной опасности, примитивными выглядели расчеты Хрущева на то, что Кеннеди правильно расшифрует назначение на пост командующего ракетными базами на Кубе советского кавалерийского генерала. Ворошиловский наскок привел (в который уже раз) к беде.

В ответном заявлении Советского правительства о ракетах не говорилось ни слова: весь мир о них уже знал, только нашему народу-богоносцу знать ничего не полагалось. В заявлении отмечалось, что «правительство США присваивает себе право требовать, чтобы государства считывались перед ним, как они организуют свою оборону, докладывали, что везут на своих судах в открытом море», и содержалось предупреждение, что «если агрессоры развяжут войну, то Советский Союз нанесет самый мощный ответный удар». Наши газеты печатали сообщения из Гаванского порта, где мирно разгружались транспорты со станками и цементом, с этими репортажами соседствовали заметки, где говорилось о том, что «Макнамара с самодовольной улыбкой на губах изложил корреспондентам развернутую программу агрессивных шагов Пентагона», рядом печаталась информация о серьезных военных столкновениях на китайско-индийской границе, и эту картину всеобщего безумия венчали фотографии, на которых крестьяне из опорно-показательного хозяйства «Сакартвело» в широких соломенных шляпах, очень похожих на любимые Фиделем Кастро сомбреро в стиле мамби, пересыпали из корзины в корзину кукурузные початки совершенно ужасающей величины. «Лукошко для доброхотных даяний...» Митинг на киевском заводе «Красный экскаватор», смущенные, ничего не понимающие люди под плакатом: «Руки геть вид Куби!» Право, было от чего сойти с ума.

В день объявления карантина Фидель Кастро выступал по кубинскому телевидению. Тон его речи был неровным. Он заверял, что «ни один из видов нашего оружия не является наступательным», называл Джона Кеннеди «не столько государственным деятелем, сколько тираном...».

«Народ — это не пираты, а они — пираты. Я хотел бы знать, обладают ли они таким же спокойствием, как мы,

чтобы отразить любую неожиданность. Нам придает спокойствие то, что агрессоры не останутся безнаказанными, что они будут уничтожены...»

Кеннеди не был, конечно, тираном. Вступив в Белый дом, он сразу же оказался захваченным зубчатыми колесами глобальных конфликтов: Хирон, Берлин, Вена — и вот теперь Карибский кризис. Ни сам он, ни люди из его ближайшего окружения не были уверены, что завтра они не проснутся среди огня и руин. А светлые головы в военных фуражках еще торопили события и призывали двинуть Пятый флот в открытый океан, навстречу караванам советских судов. На Кубе тоже кое-кто мечтал уплотнить революционное время — и, подхлестнув клячу истории, ворваться в Кайманеру, на военно-морскую базу Соединенных Штатов.

Забили тревогу рассудительные, почтенные люди планеты. Бертран Рассел упрекал президента Кеннеди: «Вы сделали отчаянный шаг, он угрожает всему человечеству. Ему нельзя найти оправдания... Прекратите это безумие!» Никиту Хрущева ученый призывал «не дать спровоцировать себя неоправданными действиями Соединенных Штатов на Кубе». Генеральный секретарь ООН У Тан просил правительства СССР и США «воздержаться от любых действий, которые могут обострить положение», и предлагал всем вовлеченным в конфликт сторонам встретиться и спокойно обсудить создавшееся положение. Фидель Кастро, Никита Хрущев и Джон Кеннеди за одним столом... в те дни даже мысль об этом казалась бессовестной. Папа Иоанн XXII взывал по ватиканскому радио: «Пусть же осенит их сознание господь, пусть прислушаются они к воплю тревоги, который поднимается к небесам со всех концов Земли: «Мира, мира!»

А корабли враждующих сторон неуклонно сближались. «Торговые суда, рассекая волны океана, по-прежнему держат путь на Кубу, идя навстречу американским военным кораблям, навстречу столкновению, которое может оказаться роковым для судеб человечества». Эта цитата из американской газеты, приведенная в «Правде» от 26 октября, вызывала у нашего читателя лишь угрюмое недоумение: «Да что они там, озверели все, что ли?» Последний школяр в мексиканской глубинке знал, что за чушки везут на Кубу наши суда, а мы, как проклятые, украдкой поглядывая на небо, не понимали решительно ничего, руководители наши брюзгливо от нас отмахнулись: «Эти-то? Перебьются». В Соединенных Штатах

но несколько раз в день на телеэкранах появлялась картинка, изображавшая взаимное расположение судов. В Кремле маршал Малиновский, стоя у карты с указкой в руке, объяснял ситуацию членам Президиума ЦК КПСС. Никто, кроме Хрущева, не задавал ему вопросов... Белый дом и Кремль оцenenели от страха. У Джона Кеннеди было достаточно времени, чтобы припомнить, насколько вспыльчив Никита Хрущев, какими непредсказуемыми бывают его поступки. Хрущев в свою очередь предполагал, что этот парень, чего доброго, начнет бомбить ракетные площадки...

Первым ободряющим знаком было согласие обоих лидеров с предложением У Тана — принять срочные меры хотя бы для того, чтобы избежать непосредственного соприкосновения судов.

И вот утром 27 октября в Белом доме было получено послание Хрущева, которое там ждали, как избавление от чумы. Напомнив Джону Кеннеди о Турции, где «наши часовые прохаживаются и поглядывают один на другого», Хрущев писал: «Находящиеся на Кубе средства, о которых Вы говорите и которые, как Вы заявляете, Вас беспокоят, находятся в руках советских офицеров, поэтому какое-либо случайное использование их во вред США исключено...» Хрущев предлагал мировую: он в течение двух-трех недель вывозит с Кубы «те средства, которые Вы считаете наступательными», а США удаляют свои аналогичные средства из Турции. Только из этого письма, опубликованного в наших газетах через сутки, советский человек мог сделать вывод (нет, не вывод, а всего лишь предположение), что сыр-бор разгорелся именно из-за ядерных ракет, подобных тем, которые американцы держат в Турции... Читатель менее внимательный и искушенный волен был думать что ему заблагорассудится: на слово «ракеты» было все еще наложено табу, имевшее только внутрисоюзный смысл. Вряд ли Хрущев так боялся, что замороженный тамбовский мужик грозно спросит его: «Ты что это озоруешь?» Здесь был не страх, здесь было привычное пренебрежение к собственному народу.

Джон Кеннеди ответил в тот же день: «Я прочел Ваше письмо от 26 октября с большим вниманием и приветствую заявление о Вашем стремлении искать быстрого решения проблем. Однако первое, что необходимо сделать...» Почувствовав, что соперник пошел на понятную, молодой президент начинает давать указания. «...Первое, что необходимо сделать,— это прекращение

работ на базах наступательных ракет на Кубе и вывод из строя всех видов оружия, находящихся на Кубе и имеющих наступательный характер, под эффективным наблюдением ООН». Так на страницах наших непорочных газет впервые появилось черным по белому (а не между строк) написанное: «Ракеты на Кубе». Кеннеди не морочил нашему читателю голову эвфемизмами. Взамен он обещал отменить морской карантин и дать заверения об отказе от вторжения на Кубу: к такому простому действию (сказать во всеулышание то, что в Овальном кабинете он говорил министру Громыко) Джона Кеннеди, оказывается, мог принудить только Армагеддон. О Турции, впрочем, в ответе Кеннеди не было сказано ни слова. А вот требование эффективного наблюдения ООН обещало Никите Хрущеву крупные осложнения: Кеннеди прекрасно понимал, что гордые кубинцы с негодованием отвергнут это условие.

И в самом деле: кубинская сторона, с которой наши даже не посоветовались, прежде чем сообщить открытым текстом о своем согласии вывезти с Кубы ракеты, была возмущена.

«Никто не смеет являться инспектировать нас,— заявил Фидель Кастро.— Мы отвергаем любой надзор, откуда бы он ни исходил. Куба — это не Конго».

И вновь уступила советская сторона. Хрущев дал американцам согласие на визуальный досмотр наших судов в открытом море. Как было сообщено в «Правде», «американский военно-морской флот проводил визуальное наблюдение и делал снимки, убедившие представителей правительства в том, что Россия действительно вывозит свои баллистические ракеты с Кубы...». Весь мир — кроме нас, естественно,— был свидетелем того, как проходила эта немислимая, унижительная процедура. В любой цивилизованной стране премьер-министр, доведший страну до такого позора, ушел бы в отставку, но это не касалось Никиты Хрущева: революционеры в отставку не подают.

Некоторые биографы Че Гевары утверждают, что, ошеломленный всеобщим отступничеством, Че пытался покончить с собой. Версия эта, основанная в значительной степени на инциденте с револьвером во время вторжения Освободительной армии, в материалах, изученных автором этих строк, подтверждения не нашла. В воспоминаниях Ильды Гадеа два события, вторжение 1961 года и кризис 1962-го, в определенном смысле наложились

одно на другое. Ильда рассказывает, что после Карибского кризиса Эрнесто тоже забежал повидаться с Ильдой Беатрис и был весь грязный, отказался даже сесть в кресло и опустил на пол в гостиной со словами:

«Доченька, мы миновали большую опасность — из-за проклятых янки. Когда ты вырастешь, ты все об этом узнаешь».

Прислуга, соседи, пришедшие на него поглядеть, даже явившиеся с ним солдаты — все прослезились от этих слов.

«Где же ты был?» — спросила Ильда.

«В опасном месте».

«Как всегда...» — со скорбной улыбкой любящей женщины сказала она...

Некоторые обстоятельства позволяют предположить, что речь идет о свидании после разгрома наемников: Карибский кризис носил не полевой, а стратегический характер, передовой линии в собственном смысле тогда не имелось, и завершился он не так отчетливо, чтобы в какой-то определенный день можно было с облегчением, не успевши еще сменить одежду, перевести дух и сказать, что опасность миновала.

Что касается турецких ракет, то президент Кеннеди не пожелал предавать гласности свое решение уступить в этом пункте, однако конфиденциально известил советскую сторону, что он согласен ликвидировать ракетные базы США в Турции и в Италии. Это и было сделано через полгода.

15

Развязка Карибского кризиса была тяжелым разочарованием для Че Гевары: ракетный щит оказался ненадежным, великие державы пошли на компромисс, обещавший наступление длительного и тягостного затишья. Казалось бы, все разрешилось благополучно для Кубы: карантин был снят, угроза вторжения миновала, а это означало, что серебрястые болванки, пролежавшие три месяца в зеленой траве Сьерра-Маэстры, сыграли-таки свою роль... но мир представлялся теперь слепым и бессмысленным, как часы, лишенные стрелок: механизм работал, но время не шло, оно уходило напрасно.

«Этот жалкий, мучительный для нас мир...»

Министерские обязанности требовали от Че Гевары присутствия на приемах и празднествах, поездок за рубеж,

публичных выступлений, и он от этих дел не уклонялся, однако прежнего значения и смысла в них уже не находил. Он ездил во Францию, Чехословакию, Алжир, представлял Кубу на конференции ООН по торговле и развитию в Женеве, выступал на открытии новых заводов... Такое существование в безвременье продолжалось для него почти два года. Ильда Гадеа, хорошо знавшая эту мятежную натуру, свидетельствует:

«Эти годы были не самыми счастливыми в его жизни. Лучше делать революции, чем входить в состав правительств, которые дробят историю на череду механических церемоний... Ему не нравилась такая жизнь. Он был пунктуален в своих встречах, принимал людей и занимался бумагами до рассвета, а конец недели посвящал работе в деревне или на фабриках».

На рубке тростника, разгрузке судов в Гаванском порту и на уборке заводских территорий Че Гевара отработывал по 20 часов в неделю (сверхурочно и, естественно, бесплатно), за что даже получил грамоту ударника коммунистического труда. Индустриализация на Кубе двигалась не так быстро, как хотел бы Че Гевара и как ему это представлялось в славные дни конференции в Пунта-дель-Эсте: прирост промышленного производства вместо обещанных двенадцати процентов составил лишь шесть. Становилось все яснее, что превращение Кубы в самую индустриальную страну Латинской Америки — это процесс, который займет годы и годы. А жизнь утекала, как вода, и, что самое печальное, все дальше в прошлое отступало высокое человеческое братство времен революционной войны...

События, последовавшие после ракетного кризиса, лишь подтверждали его предположения, что наступило затухание революционного процесса и что социалистический мир все более погрязает в своих эгоистических интересах. После выстрела в Далласе, унесшего жизнь 35-го президента США, североамериканская политика в отношении Кубы вновь ужесточилась, а Тонкинский инцидент, спровоцированный Соединенными Штатами в августе 1964 года и положивший начало эскалации вьетнамской войны, стал для Че Гевары прямым доказательством того, что ни Москва, ни Пекин, занятые своими распрями, не являются надежным тылом мирового революционного движения.

«Североамериканский империализм виновен в агрессии, его преступления велики, и совершаются они по

всему свету. Все это мы уже знаем, господа! Но точно так же виновны и те, кто в решающий момент уклонился от объявления Вьетнама неотъемлемой частью социалистической территории, подвергнувшись, это верно, риску войны мирового масштаба, но и принудив североамериканский империализм сделать соответствующие выводы. Виновны и те, кто поддерживает войну обвинений и козней, давно уже начатую двумя самыми крупными державами социалистического лагеря. Так спросим же в расчете на честный ответ: разве не находится Вьетнам в одиночестве?»

Не одному Че Геваре приходила в голову эта мысль в те печальные времена: на наших московских кухнях старики, не остывшие еще от той войны, возмущенно потрясали газетами: «Ну почему мы все это терпим? Ну сколько можно это терпеть?» А молодые, не зная еще, что ответить, пожимали плечами...

В октябре 1964 года был смещен со всех своих постов и отправлен на пенсию Никита Хрущев, его место занял молодой, энергичный и очень перспективный деятель Леонид Брежнев, с именем которого многие связывали отказ от ревизионистского курса на мирное сосуществование. Смещение носило характер дворцового переворота, и, судя по сведениям, поступавшим из Советского Союза, никого там особенно не опечалило; армия была раздражена сокращениями, госбезопасность — падением своего престижа, аппарат утомился от непрерывных чисток и разрушения дорогих ему внутренних связей, интеллигенция имела к Никите Хрущеву свои претензии, народ недоволен был ухудшением качества жизни. Словом, наступили новые времена, и к новому руководству великой державы необходимо было присмотреться.

5 ноября 1964 года Эрнесто Че Гевара прибыл в Москву на Октябрьские праздники. В Москве было свежо, на 7 ноября предсказывали шестиградусный мороз. Традиционное торжественное заседание на этот раз проходило не в холодном и неуютном Дворце спорта, а в гигантском, роскошно оборудованном зале нового внушительного здания, выстроенного в Кремле. Че Гевара сидел в президиуме рядом с Долорес Ибаррури, за спиной у них дышал холодком высокий металлический занавес.

С докладом выступал Леонид Брежнев. Память об отстраненном лидере была еще слишком свежа, и значительную часть своей речи Брежнев посвятил оценке предшествующего периода — так называемого «славного

десятилетия». Он процитировал Ленина: «У нас ужасно много охотников перестраивать на всяческий лад, и от этих перестроек получается такое бедствие, что я большего бедствия в своей жизни не знал», — и зал разразился бурными радостными аплодисментами. «ЦК КПСС и Советское правительство, — сказал еще Брежнев, — видят свой долг в том, чтобы осуществлять необходимые мероприятия по совершенствованию руководства народным хозяйством, делая это осмотрительно, без суеты и поспешности». Эти слова были тоже встречены благодарными аплодисментами.

Однако ничего похожего на критику линии мирного существования в речи не содержалось. Когда Брежнев произнес: «Руки прочь от Республики Куба! Таково требование советского народа и всех честных людей на земле!» — овациям, казалось, не будет конца. Остров Свободы по-прежнему оставался любимцем этих людей, но, если прислушаться, в их аплодисментах было уже что-то не то: исчезла та простодушная радость при одном упоминании Кубы, та горделивая радость, которая так поразила Че Гевару четыре года назад, когда люди ликovali, как будто революционная Куба была творением их собственных рук.

Седьмого ноября на трибуне Мавзолея Че Гевара стоял на самом левом краю. Сумрачный, отрешенный, с непокрытой головой, он смотрел на ракеты, которые теперь уже не восторгали своими размерами, напротив — вызывали досадливую мысль о том, что все это макеты, пустые внутри муляжи, таких металлических труб можно наварить километры. Новый лидер, заказывавший свой первый парад, хотел удивить мир не размерами, а разнообразием: по площади были провезены тупоголовые чушки с подводных лодок, точеные зенитные ракеты, гигантские установки ПРО, межконтинентальные баллистические и ракеты среднего радиуса. В определенном смысле это был движущийся, громяхающий ребус, и, расшифровывая его, Че Гевара не обнаружил никаких признаков новой решимости. На вопрос журналиста, понравился ли ему военный парад, Че ответил почти автоматически:

«Да, военный парад, как всегда, выразил мощь великой страны, стоящую на службе мира. Это впечатляет и внушает чувство безопасности, поскольку мы ощущаем поддержку этой мощной страны».

Вежливые слова, без малейшего отзвука эмоций.

Демонстрация была так же четко организована, так же одноцветна и озабоченна, эта озабоченность продрогших людей странным образом гармонировала с деловитыми возгласами «ура!». Даже транспаранты над головами колонн были все те же: разве что сельскохозяйственной тематики поубавилось — и конечно же исчезли сияющие портреты Хрущева. Десятки людей пронесли по площади огромную книгу с надписью «Программа КПСС», обрамленную знаменами и цветами. В книге должно было быть записано хрущевское обязательство учредить коммунизм при жизни нынешнего поколения, но этот фанерный ящик наверняка был пуст.

Вечером в богатом зале на верхнем этаже Кремлевского Дворца съездов состоялся большой праздничный прием. Хрущевское прошлое еще топталось в задних рядах. На приеме присутствовал Герой Советского Союза маршал Абдель Хаким Амер, до бесславной попытки свергнуть другого Героя Советского Союза, Гамаль Абдель Насера, ему оставалось терпеть меньше трех лет.

Брежнев провозгласил здравицу в честь Вооруженных Сил и за Московскую партийную организацию. Все восприняли это как глубокомысленный намек на какие-то важные перемены. Вообще многозначительности в официальной Москве поприбавилось: новые хозяева жизни переглядывались с таким видом, как будто им было известно кое-что еще. Микоян предложил тост за здоровье представителей иностранных государств и за мир во всем мире. О мирном сосуществовании никто не упоминал, но и знаков противоположного значения не подавалось. Шла как будто бы первая читка только что полученной от автора пьесы, с запинанием и оглядкой на текст: должно быть, эти люди полагали, что до генеральной репетиции у них целая вечность.

С новым руководством Союза ССР Че Гевара встречался дважды: сразу после праздников и еще через неделю, когда все иностранные делегации уже разъехались. Неделя эта была заполнена культурной программой, говоря по правде, жидковатой. Че посетил Архангельское, Институт автоматики и телемеханики, художественную выставку в Манеже, Московский конный завод... На этой последней экскурсии его сопровождал первый секретарь Московского сельского обкома, еще один реликт хрущевской эпохи: на другой день разделение партийных организаций на промышленные и сельские было упразднено. Думается, Че Гевара даже не заметил этого дико-

винного феномена, он был погружен в себя, рассеянно улыбался и как будто чего-то ждал. Чего? Ответа, который был ему обещан через неделю? «И было нечто символическое в том, что, прежде чем вновь оседлать своего Росинанта, этот рыцарь революции приехал в Советский Союз, чтобы в последний раз склонить голову у Мавзолея Ленина...» — так элегично написано в одной из наших книг. Действительность скорее всего не настолько красива. Че искал поддержки своего плана создания новых очагов вооруженной борьбы, но вразумительного ответа не дождался: новые люди в Москве не желали ничего ускорять, они исходили из убеждения, что все и так идет, как надо.

После Москвы Че Гевара еще много ездил по свету. О его маршруте можно судить по открыткам, которые он посылал с дороги Ильдите Беатрис, «самой юной революционерке мира». К ее девятому дню рождения любящий отец купил ей в Карачи колечко:

«Не знаю, точный ли размер, но оно должно налезть на один из твоих маленьких пальчиков... Посмотрим, будешь ли ты и в этом году примерной ученицей, чтобы мы с мамой могли тобою гордиться...»

Выступления Че Гевары в странах третьего мира пронизаны настойчивой мыслью: мировая деревня должна требовать, чтобы социалистический лагерь больше ей помогал.

«Всякий раз, когда еще одна страна отламывается от дерева империализма, она выигрывает не только отдельную битву против общего врага, но и вносит вклад в нашу общую окончательную победу... Социалистические страны жизненно заинтересованы в том, чтобы это отламывание веток происходило эффективно, а наш интернациональный долг, связанный с идеологией, которая нами движет, состоит в том, чтобы приложить все усилия, чтобы наше освобождение происходило как можно быстрее...»

Образ дерева с ломающимися ветвями был не самой удачной находкой Че Гевары: обломанные ветки засыхают, а затем погибает и само изувеченное дерево.

«Из всего этого можно сделать вывод: освобождение наших стран должно во что-то обойтись социалистическому лагерю, чего-то ему стоить. Мы говорим так без малейшего духа шантажа или спекуляции — и не для того, чтобы еще больше сблизиться с вами. Это наше глубокое убеждение».

«Мы» — это Куба, которую Че Гевара представлял в качестве наблюдателя на Втором экономическом семина-

ре в Алжире, «вы» — сообщество афро-азиатских стран. Но одновременно «мы» — это вся мировая деревня, которой Че, не имея на то оснований, приписывает свою собственную идеологию и свое жгучее стремление как можно быстрее отломиться от дерева империализма. Фактически при этом Че Гевара обращается к самому себе, не чувствуя сопротивления партнера, не видя его исполненного вежливого внимания лица. Собственное отношение к Времени кажется ему всеобщим:

«Мы не можем себе позволить следовать по длинной лестнице предшествующего развития человечества от феодализма до эры атома и автоматике, поскольку это был бы путь огромных и зачастую бессмысленных жертв...»

Горечь пережитого разочарования все чаще прорывается в его речах, особенно когда он заговаривает о советской помощи. Че Гевара ставит Советскому Союзу в вину, что эта помощь ведет к созданию диспропорциональной индустриальной базы, что специалисты, присылаемые из СССР, не всегда являются образцовыми. Социалистические страны, считает он, не должны экономить на своей помощи, они обязаны идти на убытки и не рассчитывать на возврат своих вложений: если они на это рассчитывают, то они следуют по пути империализма янки. Оставалось произнести еще одно слово — и это слово Че Гевара не колеблясь произнес.

«Мы должны договориться, что социалистические страны, в определенном смысле, являются соучастниками империалистической эксплуатации. Тут можно возразить, что объем товарообмена между ними и слаборазвитыми странами составляет лишь незначительную часть их внешней торговли. Это верно, но это не отменяет аморального характера такого товарообмена... Социалистические страны имеют моральный долг ликвидировать свое молчаливое сообщничество с эксплуататорскими странами Запада».

Возвращение Че Гевары из зарубежного турне было пасмурным. Гаванские газеты, обыкновенно с большой торжественностью объявлявшие о прибытии любого из трех вождей, на этот раз ограничились короткой информацией. Отчет о поездке, вопреки традиции, не передавался по телевидению, да и проходил на техническом уровне, в стенах минпрома. На фотографиях Че выглядит усталым и присмирившим. На этом основании Дэниэль Джеймс делает вывод, что Че Гевара отдавал себе отчет в том, что его разъяснительная миссия провалилась.

Думается, это не так: Че был огорчен холодной встречей и отчуждением товарищей. Фидель Кастро потребовал от него конфиденциального отчета, их беседа продолжалась сорок часов. На вопрос Рикардо Рохо, имела ли место перепалка или ссора, Че Гевара не захотел отвечать.

Конечно, у «хефе máximo» имелись серьезные причины для раздражения. Москва не оставила разоблачительные высказывания Че Гевары без внимания и выразила свое неудовольствие Фиделю Кастро: в чем дело, товарищ? Твои люди разбегаются по всему свету и чернят нашу помощь, неужели на них нет никакой управы? По вине своего запальчивого друга Фидель Кастро оказался в очень трудном положении: помощь Советского Союза его стране достигла к тому времени таких размеров, что крылатые слова «миллион в день» были уже не преувеличением, а преуменьшением. Однако спорить с Че Геварой было занятие бессмысленное — и не только потому, что он не терпел критики: как левофланговый революционного движения Че мог быть подвергнут критике только справа — и политически был неуязвим.

16

Есть основания судить, что уже в той сорокачасовой беседе Че Гевара признался Фиделю Кастро, что пришла пора ему уходить. Уходить — и делать революцию на новом месте, свободном от щебенки прошлого. Чистую революцию, выращенную в колбе нового очага герильи. Как раз в то время у Че Гевары возникла идея искусственного создания в разных районах земного шара «одного, двух, многих Вьетнамов»: если один Вьетнам поглощает столько энергии, что у Соединенных Штатов, кроме вьетнамской, нет больше никакой внешней политики, то второго и третьего Вьетнама североамериканскому Боливару уже не снести. План Че Гевары был предельно прост: во главе небольшого отряда кубинских командос он создает очаг континентальной герильи где-нибудь в Черной Африке или Южной Америке, это неминуемо ведет к прямой интервенции империализма янки, что, в свою очередь, расширяет фронт борьбы.

«Доля, которая выпала нам, эксплуатируемым и отсталым мира, — уничтожить опорные базы империализма... извлечь врага из его среды и заставить его сражаться в тех местах, где его привычки столкнутся с преоб-

ладающей реальностью... Североамериканский солдат имеет такие технические возможности, снабжен средствами такой мощи, что это делает его внушающим страх... Мы можем победить эту армию, только подорвав ее мораль. А она подрывается нанесением поражений и причинением многочисленных страданий... Однако эта краткая схема побед заключает в себе огромные жертвы, которые требуются принести уже сегодня, сейчас...»

Рассказывают, что «хефе максимо» пытался отговорить «безумного аргентинца» от этой идеи, однако логика Че Гевары, как всегда, победила. А логика эта была такова, что Куба, остров Свободы, нуждается в революционном союзе на континенте, не обязательно латиноамериканском: лишь бы поступала нравственная поддержка извне.

«И вот пришло время, — пишет Дэниэль Джеймс, — пришло время неутомимому солдату фортуны XX века подыскивать себе другую работу». Рикардо Рохо также считает, что решение Че Гевары было вынужденным: Че, по его мнению, был подвергнут критике за экономические и финансовые просчеты, приведшие к тому, что представитель США в ООН Эдлай Стивенсон назвал хозяйственной катастрофой, — и предпочел уйти в отставку, с тем чтобы не превращаться в противника социалистического правительства. Обе версии придуманы чиновниками, служащими: мятежники приходят и уходят, ни у кого не спрашивая соизволения, они являются и исчезают, как только сочтут, что пробил их час.

Рикардо Рохо рассказывает, что, уезжая из Гаваны в Буэнос-Айрес, он взял у Че Гевары письмо для передачи донье Селии. В этом коротком письме Че сообщал своей матери, что расположен прекратить свое участие в кубинском революционном процессе и намеревается отправиться на рубку сахарного тростника, а затем, чтобы пройти школу у рабочего класса, собирается в течение пяти лет работать на какой-нибудь фабрике и изучать изнутри то, чем он, без особого успеха, руководил сверху. Не нужно быть присяжным психоаналитиком, чтобы усмотреть тут родовую связь сына с матерью. «Вот он каков, сын-астматик, который только матери — и то частично — объясняет свое нынешнее состояние, свое намерение из министра превратиться в рубщика тростника». Все это неверно: ничего он матери не объясняет, истинных его намерений донья Селия так и не узнала до своего смертного часа, сын-астматик засекретил свои планы настолько

глубоко, что посвящены в него были лишь непосредственно вовлеченные. Письмом, переданным через Рикардо Рохо, Че Гевара просто предупредил появление на Кубе доньи Селии с гневным вопросом: «Куда вы дели сына моего?» Исполненный сыновней любви, он преследовал одну только цель: чтобы мама не волновалась по поводу его исчезновения.

Намерение рано или поздно покинуть Кубу в поисках нового революционного счастья Че Гевара, в общем-то, ни от кого не скрывал. Еще в Мексике он говорил своим товарищам по тренировкам, что Куба — только эпизод, что после Кубы он продолжит борьбу где-нибудь в другом месте, если, конечно, останется жив. Это о нем Рауль Кастро писал:

«Некоторые наши повстанцы поддаются революционному энтузиазму, в результате чего начинают считать каждую латиноамериканскую страну своей второй родиной...»

И почти те же слова Че Гевара повторил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, куда он и прибыл только для того, чтобы предъяснить себя мировому сообществу напоследок:

«Я кубинец и аргентинец, и, если не обидятся сиятельные сеньории Латинской Америки, я чувствую себя точно таким же патриотом любой страны Латинской Америки и, когда понадобится, готов отдать свою жизнь за ее освобождение, никого ни о чем не прося, не злоупотребляя ничьим доверием и ничего не требуя взамен».

Нет, не вынужденной отставкой и не изгнанием объясняется исчезновение Эрнесто Че Гевары. К своему уходу Че Гевара начал готовиться задолго до скандального турне по третьему миру — может быть, с 1960 года, когда в его жизни появилась Таня.

Настоящее имя последней подруги Че Гевары — Айде Тамара Бунке. Тамара (или Итамара), домашнее имя — Ита. Отец ее — немец, в годы фашизма эмигрировавший в Аргентину, мать — русская. Таня родилась в 1937 году в Аргентине, после войны вся ее семья переехала в ГДР. По-испански, по-немецки и по-русски она говорила совершенно свободно, умела играть на аккордеоне (что, говорят, выдает исполнительный, но упрямый и настойчивый нрав), прелестно пела и обладала красотой готического ангела с роскошными светло-русыми волосами и сине-зелеными русалочьими глазами. Первая встреча этой девушки с легендарным команданте Геварой

произошла в декабре 1960 года в столице ГДР, во время турне Че Гевары по социалистическим странам. После официальных мероприятий в Берлине Че отправился в Лейпциг на встречу с латиноамериканскими студентами, учащими в ГДР. Таня была его переводчицей. Она гордилась своим великим соотечественником, который оказался к тому же обаятельным человеком. Таня мечтала учиться на Кубе и пожаловалась Че Геваре на бюрократические препятствия, которые ей чинили. В частности, переводчицей при делегации, отправляющейся из ГДР на Кубу, она стать не могла: там нужны были только мужчины. Че обещал устроить ее судьбу — и не забыл о своем обещании. Тане было в то время 23 года, Геваре — 32.

Дэниэль Джеймс, со ссылкой на перебежчика из ГДР, сотрудника госбезопасности Гюнтера Меннеля, утверждает, что Таня была завербована соответствующими службами для поддержания неформальных контактов с иностранцами, которых МГБ ГДР намеревалось вовлечь в сферу своих интересов. Меннель заверяет, что он сам инструктировал Таню, как нужно следить за таким непредсказуемым человеком, каким являлся Че Гевара. Может быть, бывший лейтенант Меннель и берет на себя не по чину много, но вообще такой расклад нельзя исключить: Таня была слишком редким кадром, чтобы секретные службы, которые имеются в любой стране, обошли ее стороной. Ни опровергнуть, ни подтвердить показания Меннеля мы не можем, остается отметить лишь кое-какие мелочи. Письма Тани с острова Свободы непроницаемы, совершенно железобетонно безлики, в них нет ни малейшего следа индивидуальности, ни малейшей приметы конкретного быта, а такой самоконтроль вырабатывается лишь ценою жесточайших тренировок.

«Мне нравится писать политические письма», — объясняет Таня этот феномен своим родителям — и пишет им исключительно политические письма.

На фотографиях, сделанных в лагере боливийской герильи, Таня очень профессионально уклоняется от объектива, не проявляя в открытую своего нежелания сниматься: то она становится за ствол дерева, то стоит вполоборота — но нигде не глядит прямо в объектив. Как связанная герильи она могла наотрез отказаться от участия в этом несерьезном для партизанского лагеря развлечении, но не сделала этого, чтобы не пропала охота сниматься у остальных, — и увезла фотоленку в Ла-Пас.

Все это частности, разумеется, они могут быть истолкованы по-разному. Несомненно одно: Таня была искренне предана аргентинскому «лампиньо» и готова была выполнить любой его приказ. Практика человеческих отношений свидетельствует, что личная преданность, благодарность, любовь вовсе не мешают выполнению наблюдательных функций, напротив — самым прихотливым образом с ними сочетаются. Так Ита Бунке могла исполнять свой нравственный долг перед Аргентиной, где она родилась, и перед ГДР, которую она считала своей истинной родиной, а значит, перед Латинской Америкой и социалистическим лагерем одновременно.

На Кубе она работала переводчицей в министерстве образования, обслуживала иностранные делегации. Часто встречалась с Че Геварой, доставала для него у заезжих аргентинцев мате. Веселая, общительная, приветливая, Таня быстро освоилась в кубинском мире и была принята как своя. Ходила в униформе бойца народной милиции, участвовала в субботниках, к которым ее именитый друг относился истоиво, как к богослужению. Есть фотография, сделанная на субботнике в 1961 году: веселый, не то что сияющий (таким он никогда не был), но просветленный Че Гевара, рядом Таня, оба в широкополых соломенных шляпах, но белокожая Таня еще и в косынке, повязанной по-деревенски, прикрывающей щеки и лоб до самых бровей. Субботники на Кубе в те времена проходили весело и празднично: молодежь наперебой состязалась, кто ловчее в работе, не пренебрегая ни рубкой тростника, ни уборкой городских пустырей, на отдыхе пели, танцевали, смеялись. Таня была заводилой на этих праздниках. Друзья вспоминают, как она пела под гитару, лукаво поглядывая на Че:

«Ту но ме ганас, команданте! Ты меня не победишь!»

Играла на аккордеоне и пела по-русски «Подмосковные вечера». Хорошо пела, кубинцы слушали и вздыхали: «Да, великая страна... Великий народ, очень много страдал».

Когда аргентинские студенты, приехавшие на Кубу, готовили свой фольклорный праздник, Че Гевара посоветовал им привлечь к этому делу Таню:

«Это артистка, она может играть на гитаре, на аккордеоне, вообще на чем угодно...»

Праздник удался, гостям прислуживали девушки, одетые, как аргентинские крестьянки, они угощали национальными блюдами, разносили мате. Тане платья не до-



RECOMPENSA
Se ofrece la suma de 50.000.
Pesos bolivianos (Cincuenta millo-
nes de bolivianos), a quien entrea-
gue vivo o muerto, (Preferible-
mente vivo), al guerrillero Ernesto
"Che" Guevara, de quien se sabe
con certeza de que se encuentra
en territorio boliviano.

сталось (а может быть, аргентинцы все же не приняли ее как свою), она была в черном, танцевала самбу. Студенты очень старались: ведь на празднике присутствовал сам команданте Че. Его попросили выступить, и он произнес великолепную речь. Текст речи не сохранился, по воспоминаниям участников праздника, можно предположить, что Че Гевара говорил об уникальной однородности Латинской Америки, континента, самой историей предназначенного для того, чтобы стать «ареной великих битв человечества на последнем этапе борьбы за полное освобождение человека». В самом деле, даже группа крови у индейцев Испаноамерики одна и та же — от Рио-Браво до Огненной Земли.

«...Почти все страны этого континента созрели для вооруженной борьбы, которая, чтобы завершиться победоносно, не может удовлетворяться меньшим, чем учреждение правительства социалистического образца... На этом континенте говорят практически на одном языке, за исключением Бразилии, где люди тоже могут понимать по-испански, благодаря сродству языков. В этих странах идентичность классов настолько большая, что достигает уровня идентичности «международного американского типа», намного большей, чем на других континентах. Язык, обычаи, религия, общий хозяин — все это их объединяет».

Эти слова взяты из последнего обращения Че Гевары к народам мира, однако мысль, здесь высказанная, была ему дорога, и он часто к ней возвращался. Определенный элемент упрощения его не беспокоил: вообще Че Гевара склонен был полагать, что историей движут простые законы.

«В силу простого закона тяготения маленький остров стал во главе всей антиколониальной борьбы...»

Че Гевара привык отождествлять себя с собеседником и был очень огорчен, почувствовав, что далеко не все аргентинцы, присутствующие на празднике, разделяют его концепцию. Среди аргентинцев есть немало людей, которые место и роль своей родины на континенте считают уникальными («Аргентина — это бог!») и даже родной язык называют не «кастельяно» и не «эспаньоль», а «идиома насьональ». Не всем была по душе и мысль об исторической предопределенности судьбы Испаноамерики: многим такой подход представлялся слишком жестко детерминированным, не оставляющим места для свободы выбора и воли. Если все до такой степени

предопределено, то человек (и народ) освобождается от моральной ответственности за любые действия, работающие на выполнение исторической миссии, осуждению подлежат лишь поступки, препятствующие поступательному ходу истории, но и по этим делам обвинительный приговор заблаговременно вынесен. Разгорелся нешуточный спор, в ходе которого выяснилось, что большинство аргентинцев не согласно со своим соотечественником. И тогда разгневанная Таня поднялась и, раздувая ноздри, сказала:

«Ну, с меня хватит, я уйду, не собираюсь тут терять с вами время».

Некоторые за нею последовали.

Как и когда Ита Бунке оказалась вовлечена в подготовку к боливийской герилье, сейчас уже трудно установить. «Люди, посвятившие себя непосредственной борьбе против империализма в пределах и за пределами национальной территории, — торжественно и нарочито загадочно пишет латиноамериканский автор, — люди, взявшие на себя ответственность за военную поддержку национально-освободительных движений угнетенных народов третьего мира, выбрали Тамару за такие ее качества, как твердость, способности, политическое развитие, самоотдача в труде, и подробно объяснили ей необходимость ее участия в поддержке такой деятельности, как изучение и вербовка лиц, обладающих нужными качествами, прием корреспонденции, передача посланий, организация подпольной сети связных, изучение городских и пригородных зон, где предполагается проводить акции, сбор данных о политической, экономической и военной силе тех правительств, против которых предстоит сражаться, сведений о проникновении империализма янки (с применением оружия по мере необходимости), то есть той деятельности, которая, в совокупности своей, послужит успешному развитию революционных сил в непосредственном противоборстве с репрессивным аппаратом, находящимся на службе североамериканских монополий и национальных олигархий. В этой работе жизнь революционера или успех миссии зависят главным образом от его твердости, способностей, дисциплины и умения ставить в известность об этой деятельности только тех, кто в ней участвует и имеет отношение к выполняемой задаче. Ей объяснили, что она призвана на революционную войну Латинской Америки и должна быть готова пролить свою кровь».

Из этой раздражающе велеречивой цитаты можно сделать заключение, что бедная неопытная русалочка против своей воли попала в некое учреждение, полное смутных фигур, занятых туманной, но, несомненно, опасной деятельностью, и обнаружила, что выхода нет: ее избрали, она призвана и должна быть готова пролить свою девичью кровь. Надо думать, эта картина не совсем верна. Знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо, близко знавшая Иту Бунке, после трагического завершения боливийской герильи сказала: «Я думаю, что Тамара сделала со своей жизнью то, что и предполагала сделать». Есть сведения, что до подключения к боливийской программе Таня уже работала с никарагуанскими командос, которые проходили тренировку на Кубе. Видимо, к такому роду деятельности ее влекло, причем влекло не только профессиональное любопытство: вообще у Тани был авантюрный склад души, не такая уж, кстати, редкость у миловидных девушек с тонкими готическими чертами.

В нашей литературе имеет хождение версия, согласно которой не какие-то «люди, взявшие на себя ответственность», а сам команданте Эрнесто Че Гевара, министр промышленности, предложил Тане стать связной новой герильи, и произошло это в марте 1964 года. Таня с радостью и готовностью согласилась. Че Геваре был нужен надежный и сообразительный человек для проведения предварительной разведки, а Таня, безусловно, по всем статьям на эту роль подходила.

«Партизанская разведка ведется непосредственно в зоне противника. Туда должны проникать мужчины и особенно женщины, завязывать знакомство с солдатами и постепенно выведывать всевозможные сведения».

Вот конкретность и простота, столь присущие жизненному стилю Че Гевары: никаких многословных периодов, оголенная, как электрический провод, правда.

И в апреле 1964 года Таня под чужим именем отправилась в Западную Европу. Ее легенда (дочь аргентинского помещика и немецкой эмигрантки) должна была обрасти так называемыми «дружбами»: где бы ни помещил ее для выполнения задания команданте Гевара, ей нужен был набор реальных адресов для обязательной переписки. Девушка без прошлого, без поклонников и приятельниц — это что-то угрюмое и подозрительное. Странное, должно быть, впечатление производили Танины письма на ее новообретенных подруг: имитация девичьей живости, без деталей, без обмолвок и сплетен, без

простодушных секретов — и, разумеется, без политики, к которой помещицы дочки, как правило, равнодушны...

В ноябре 1964 года высокая стройная девушка с темными крашеными волосами, очень светлой кожей и большими сине-зелеными глазами, по паспорту Лаура Гутьеррес Бауэр, прибыла из Буэнос-Айреса в столицу Боливии город Ла-Пас. Знаток всех тонкостей и секретов разведработы Дэниэль Джеймс замечает мимоходом, что в легенде красавицы Лауры имелась изначальная слабость: странноватым должно было показаться, что балованная дочка богатых родителей променяла утонченный Буэнос-Айрес, этот испано-американский Париж, на провинциальный Ла-Пас — для того лишь, чтобы изучать здесь фармакологию. Только отстраненный от реальности и равнодушный к подробностям жизни человек мог составить такую легенду. Понадобилось пустить в ход все личное обаяние, чтобы эта изначальная несуразность была позабыта, и корректировать легенду пришлось на ходу. В интересах дела Лаура превратилась в лишнюю семейной поддержки беднячку, которая вынуждена ютиться в крохотной дешевой квартирке, спать за неимением мебели на полу и зарабатывать на жизнь частными уроками немецкого языка. Эти уроки и позволили Лауре войти во многие хорошие дома Ла-Паса и установить более двухсот контактов, многие из которых вели прямо в канцелярию президента республики. Начальнику отдела информации президентской канцелярии Муньосу эта спокойная, рассудительная девушка настолько понравилась, что он сделал ее своим личным секретарем.

Согласно инструкциям, Таня должна была «устанавливать связи внутри вооруженных сил и правящей буржуазии, ездить по стране и изучать формы эксплуатации шахтеров, крестьян и рабочих и стараться непосредственно выявить их эксплуататоров в ожидании контакта, который обозначит момент начала решающей акции». Фармакология как сфера интересов была выбрана именно для оправдания поездок по стране. Отказавшись от этой версии, Таня стала демонстрировать повышенный интерес к боливийскому песенному фольклору: это давало возможность, не вызывая подозрений, ездить по самым глухим уголкам страны и делать магнитофонные записи. Имитация увлечения переросла в подлинный интерес, и после гибели Тани обнаружилось, что ее коллекция записей боливийских народных напевов действительно уникальна...

Инструкция команданте Гевары предписывала Тане «ждать контакта с Гаваной, ни при каких трудностях ситуации не обращаться за помощью, не раскрывать свою личность никакой организации, партии или отдельному лицу; ни в коем случае не вступать в контакт с Коммунистической партией Боливии и с отколовшейся от нее группой Оскара Саморы». Единственное исключение было сделано для боливийца Гидо Передо Лейге по кличке Инти. Инти являлся членом ЦК КПБ, однако был недоволен миролюбивым курсом «старых большевиков» (так обозначалась в зарождающейся герилье политическая верхушка КПБ, придерживавшаяся линии Москвы) и склонялся к вооруженной борьбе. Инти и его брат Коко, дважды побывавший на Кубе и в Советском Союзе, тоже сторонник вооруженной борьбы, — эти два боливийца стали подлинными (а не фиктивными, как все остальные) друзьями Тани в Ла-Пасе.

Старший брат Инти и Коко был крупным чиновником, начальником департамента радиовещания министерства внутренних дел, и, видимо, с его помощью Таня получила прекрасную работу: радиостудия города Санта-Крус предложила ей вести забавную передачу под названием «Советы безответно влюбленным». Своим мелодичным голоском с легким немецким акцентом, отчего-то вызывавшим доверие радиослушательниц, Таня зачитывала вслух письма несчастных девушек с жалобами на холодность или неверность их избранников и давала рекомендации, как избыть горе. В скором времени передача приобрела всеболивийскую популярность, и разведчицу герильи буквально завалили сентиментальными письмами. Помимо заработка и славы работа на радио давала Тане возможность выходить с зашифрованными посланиями в открытый эфир, достаточно было, как бы затрудняясь в чтении, произнести несколько неразборчивых слов: многие письма влюбленных дурочек, искавших радиоутешения, написаны были далеко не каллиграфически. К этому способу Таня позднее много раз прибегала, поддерживая связь с лагерем Че Гевары.

Но настоящее прикрытие мог обеспечить ей только боливийский паспорт. Пришлось вступить в фиктивный брак с молодым боливийцем из города Сукре. Ни о каком платоническом союзе единомышленников (по Чернышевскому) не было даже речи, Танин суженый мечтал поехать на учебу в Югославию и ради достижения этой цели согласен был на все закрыть глаза. Таня обещала

ему свое содействие и сдержала слово. Сразу же после свадьбы супруг Лауры уехал в Белград и более ничем ей не докучал. Так Ита Бунке стала гражданкой Боливии.

А команданте Эрнесто Че Гевара писал в те дни свои прощальные письма.

«Дорогие Ильдита, Алеидита, Камило, Селия и Эрнесто!

Если вам когда-либо придется прочитать это письмо — значит, меня уже нет вместе с вами. Вы с трудом будете меня вспоминать, а маленькие и вовсе ничего не вспомнят.

Ваш отец был человеком, который действовал так, как думал, и оставался верен своим убеждениям.

Растите хорошими революционерами. Учитесь упорно, чтобы овладеть техникой, которая дает власть над природой. Помните, что самое главное — это революция и что каждый из нас в отдельности ничего не значит.

И сверх того — будьте всегда способны откликнуться всей глубиной души на любую несправедливость, в каком бы уголке планеты она ни была допущена. Отзывчивость — вот самая прекрасная черта революционера.

До свидания, детки, надеюсь вас еще увидеть.

Целую крепко и обнимаю. Папа».

«Дорогие старики!

Вновь чувствую я пятками своими ребра Росинанта, снова пускаюсь в дорогу со своим щитом.

Десять лет тому назад я писал вам первое прощальное письмо. Помню, я жаловался в нем, что не стал ни добрым солдатом, ни хорошим врачом; последнее меня больше не интересует, а как солдат я не столь уж и плох.

Ничего, по сути, не переменялось, разве что я стал немного умней; мой марксизм укоренился и очистился.

Верую в вооруженную борьбу как единственный выход для народов, борющихся за освобождение, и в своих воззрениях я последователен до конца. Многие назовут меня авантюристом, да я и есть авантюрист — но только из таких, кто сам рискует своей шкурой, чтобы доказать свою правоту.

Может быть, я пытаюсь доказать ее в последний раз. Я не ищу конца, но он логически возможен. Если так — я в последний раз вас обнимаю.

Я очень любил вас, только не умел выразить свою нежность, я суров в своих поступках, и, должно быть, вы не всегда меня понимали. Да, понять меня нелегко, поверьте мне хоть сегодня.

Теперь воля, которую я в себе так любовно отшлифовал, будет понукать мои хилые ноги и усталые легкие. Я заставлю их работать.

Не поминайте лихом скромного кондотьера XX века.

Поцелуйте Селию, Роберто, Хуан-Мартина, Пототина, Беатрис — в общем, всех.

Крепко вас обнимает ваш блудный и неисправимый сын».

«Миаль, не знаю, что оставить тебе на память. Приказываю тебе отправиться на рубку сахарного тростника. А мой походный дом снова стоит на двух лапах, и мои мечты безграничны — пока точку на них не поставит пуля. Жду тебя в своих краях, мой оседлый цыган, когда пороховой дым рассеется».

Прощальными интонациями проникнуто и письмо Че Гевары в редакцию уругвайского еженедельника «Марча»:

«Участь революционера-авангардиста возвышенна и печальна. Руководители революции имеют детей, которые в своем первом лепете не привыкают упоминать отцовское имя; они имеют жен, которые обречены стать частью их общей жизненной жертвы, приносимой для того, чтобы довести революцию до конца; круг их друзей в точности соответствует кругу товарищей по борьбе. Вне революции для них нет жизни... В этих условиях надо иметь большую долю человечности, большую долю чувства справедливости и правды для того, чтобы не впасть в крайности догматизма, в холодную схоластику, в изоляцию от масс... Мы идем вместе со всеми к новому человеку, фигура которого проблескивает на горизонте... Путь долог и частично неведом; мы знаем наши пределы. Мы сделаем человека XXI века, мы сами... Примите мой ритуальный привет как пожатие рук или молитву «Дева пречистая». Родина или смерть».

Письма эти были написаны к 1 апреля 1965 года, а в Ла-Пасе Че Гевара появился лишь в конце следующего, 1966-го. Столь долгое отсутствие одного из членов гаванского триумvirата не могло остаться незамеченным, и, как это водится, начались пересуды. «Че погиб в казематах «Кабаньи»... Нет, сражается в Перуанских Андах!.. Он бежал в Доминиканскую Республику... Продав Соединенным Штатам все кубинские военные секреты и исчез в неизвестном направлении... Кастро держит его под домашним арестом и собирается предать публичному суду». Людям нравятся такие загадки, в глубине души

потребитель газетного чтения хранит убеждение, что и составляются они, как кроссворды, исключительно для его развлечения, и горько недоумевает, когда разгадка оказывается не такой... что, как правило, и происходит, ибо жизнь была бы глупа, если бы протекала согласно человеческим о ней представлениям.

Соблюдая, по-видимому, предварительную договоренность, Фидель Кастро уклончиво отвечал на вопросы о Че Геваре:

«Команданте Гевара находится там, где он нужен революции, отношения между нами великолепны и ничем не омрачены».

Сведущие люди глубокомысленно кивали: им было ясно, что сделан посев новой партизанской легенды. Насилие эффективно не само по себе, истинная мощь его — в намерениях, которые всегда возвышенны и благородны (если, разумеется, исключить явную патологию), и в той славе, которая насиле окружает. Террористы, охотившиеся за российскими самодержцами, были, в сущности, марионетками полиции. Но легенда, окутавшая их деяния, представляет собою одну из вершин мифотворчества. Грозная тень аргентинского «лампино» с крохотной звездочкой на черном берете как бы нависла над нашей планетой, и его темные расширенные глаза бестрепетно и невидяще вглядывались в очертания континентов. Несомненно, был разработан сценарий: период уклончивых ответов обеспечивал лазерную накачку, далее должно было воспоследовать официальное признание факта отсутствия, тумблер щелкнул, гудение прекратилось — и наступила мертвая тишина, а затем вспыхивает острый синий луч, и миллионы голосов во всех концах Земли одновременно восклицают: «Вот он! Смотрите, вот он!»

«Мы не обязаны отчитываться ни перед кем о местопребывании Че Гевары. Достаточно сказать, что он жив и здоров. Когда люди услышат о нем? Не ранее, чем тогда, когда команданте Гевара того пожелает».

Между тем донья Селия вскоре по получении через Рикардо Рохо предварительного, (еще не прощального) письма оказалась в «Санаторию Сталлер»: рак груди вновь заявил о себе, и дни доньи Селии были сочтены. Перед лицом неизбежности мать пожелала увидеть сына. Дон Эрнесто позвонил в Гавану, но Алеида сказала ему, что ее муж находится за пределами Кубы, а где именно — она не знает. Без ответа осталась и посланная на минпром Кубы телеграмма, на сообщение о кончине доньи Селии

в латиноамериканской печати Эрнесто никак не отреагировал, и на этом основании Рикардо Рохо сделал вывод, что человек, лишенный доступа к прессе, если он вообще жив, несомненно, находится за решеткой: наверно, Фидель Кастро, имеющий все основания приписать Че Геваре ответственность за экономические неурядицы, счел за благо устранить еще одного соперника. Толстяку, никогда не носившему вселенной в своей голове, представлялось очевидным, что он учел все мыслимые варианты.

3 октября 1965 года на учредительном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы Фидель Кастро выступил с важным сообщением.

«В нашем ЦК отсутствует человек, который в наивысшей степени... паутина клеветы... сбить людей с толку, посеять беспокойство и сомнение... всяческие предсказатели, специалисты по кубинскому вопросу и электронные машины, работающие без сна и отдыха... вот он, страшный и зловещий коммунистический режим, где люди исчезают бесследно и необъяснимо...»

Затем Фидель Кастро зачитал большое письмо Эрнесто Че Гевары, обращенное лично к нему, в этом письме Че навеки простался с кубинским народом, «который уже стал моим», отказывался от всех постов и званий, включая пост министра, воинское звание команданте и кубинское гражданство, и снимал с Кубы ответственность за свои дальнейшие действия в каком бы то ни было уголке земного шара, «где требуется моя скромная помощь».

«Моя единственная серьезная ошибка заключается в том, что я не верил в тебя еще больше с самых первых дней в Сьерра-Маэстре, что я недостаточно быстро оценил твои качества вождя и революционера... Но я горжусь, что последовал за тобою без колебаний, что мыслил так же, как ты, так же видел реальность и так же оценивал опасности и принципы... И если мой последний час застанет меня под другими небесами, моя последняя мысль будет о твоём народе и о тебе».

Присутствовавшие при этом событии устроили овацию Алеиде Марч, которая сидела молча, одетая во все черное, с опущенными глазами.

Латиноамериканская сказка приближалась к своему скорбному финалу. Несправедливо пристрастен Дэниэль Джеймс, написавший в этой связи следующие строки: «Высланный, по сути дела, своей приемной родиной и апостолом коммунизма в Латинской Америке, Че нуждался в революции больше, чем она в нем нуждалась. Разве

без революции не валялся бы он на обочине всемирной истории? Но возвращаться в герилью в неполные сорок лет после семилетнего периода лимузинов с шоферами и сравнительно обеспеченной жизни было не так-то легко...» Трудность этого рода не была Че Геваре знакома, он не знал комфорта лимузинов и особняков, он в нем пребывал, в этом внешнем комфорте, но существовал лишь внутри себя самого.

Где же Че Гевара пропадал в течение пятнадцати месяцев? Дэниэль Джеймс, которому, конечно, такие подробности известны, утверждает, что Фидель Кастро отобрал 125 кубинских офицеров и послал их с Че Геварой в бывшее Бельгийское Конго. В самом деле, конголезский вариант очага новой герильи Че Гевару интересовал давно. Кровь Патриса Лумумбы, пролитая в начале 1961 года, еще не остыла. В своем прощальном выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Че Гевара яростно обличал «гиен и шакалов западной цивилизации, кормящихся беззащитными народами и вершащих свою кровавую тризну на родине великого идеалиста Патриса Лумумбы». В своем последнем турне по третьему миру Че кружил вокруг Конго, присматриваясь к этому бескрайнему африканскому болоту, заходя то с одной, то с другой стороны. В Браззавиле он обсуждал с Массамба-Деба проблемы и трудности лумумбистских повстанцев, в Танзании встречался с вождями черной герильи и, видимо, совершал с ними инспекционную поездку по Восточной провинции Конго.

Факт участия Че Гевары в боевых действиях лумумбистов в Конго не подтвержден кубинскими документальными источниками, которые вряд ли будут скоро раскрыты во всей полноте. В нашей литературе конголезский вариант проходит лишь в форме намеков: «Обнадеживающе выглядела ситуация и в бывшем Бельгийском Конго, где с момента убийства Патриса Лумумбы не прекращались партизанские действия его сторонников». Кое-кто находит подтверждение этой гипотезы в письме Че Гевары старшей дочери Ильдите:

«Ты должна знать, что я нахожусь далеко и еще долго буду далеко от тебя, я делаю то, что могу, в борьбе против наших врагов. Не так уж много, но кое-что делаю и надеюсь, что ты сможешь и впредь гордиться своим отцом так же, как я горжусь тобой».

Однако следы Конго в этом письме можно отыскать лишь при большом усилии воображения. Существует,

по-видимому, еще одно письмо, упоминаемое под названием «Друзьям в Гавану», на него ссылается Эрике Сальгадо:

«Политический уровень моих солдат большей частью определяется пиршеством, устраиваемым из советников, которых они убивают».

Хотя черный юмор, содержащийся в этой цитате, и характерен для Че Гевары, за достоверность ее поручиться трудно. Правда, есть еще и свидетельство Помбо, одного из участников боливийской герильи. В дневниковой записи Помбо, посвященной гибели боливийца Бенхамина, говорится:

«Борьба началась с печального напоминания о Конго, где товарищ Митуриде, начальник штаба, тоже утонул».

В Конго в те месяцы продолжалось восстание, поднятое бывшим министром правительства Лумумбы Пьером Мулеле. Как утверждает Сальгадо, кубинцы проникли в зону боевых действий с восточной стороны, через озеро Танганьика. Мятежники, хорошо снабжаемые через границу и вооруженные советским оружием, сражались под присмотром алжирских советников. Помощь Че Гевары, строго говоря, не являлась тут жизненно необходимой, однако Пьер Мулеле не боялся интернационализации своей герильи и с благодарностью принял кубинских гостей.

Боеспособность повстанческих отрядов Мулеле и Сумиало разочаровала Че Гевару: неграмотные и суеверные конголезские мятежники в большинстве своем были убеждены, что их командиры обладают мистической, колдовской силой, и вожди герильи поддерживали эти суеверия в надежде, что они укрепляют боевой дух. Достаточно было незначительной неудачи, чтобы безудержный восторг сменился такой же безудержной паникой. «Конголезский опыт Че скоро кончился,— пишет Дэниэль Джеймс.— Че увидел, что мятежники хаотичны, не расположены сражаться и во многих случаях крайне развращены. В конце 1965 года они оказались не в состоянии защитить свою хорошо укрепленную базу в Атсоме. Не сдержав отвращения, Че попросил Фиделя Кастро прекратить всякую помощь повстанцам и затребовать людей обратно в Гавану: присутствие кубинских бойцов в Конго серьезно компрометировало кубинскую революцию».

В определенном смысле конголезская экспедиция послужила тренировке будущих бойцов боливийской герильи: испытание в африканском зеленом аду прошли

(кроме Помбо) Артуро, Браулио, Моро, Пачо, Урбано, Тума и таинственный (не вычисленный даже Дэниэлем Джеймсом) Сегундо — словом, половина офицерского корпуса Че Гевары в Боливии.

Че вернулся из Конго в марте 1966 года. Вернулся с облегчением: в тропической Африке вновь пробудился дремавший зверь его недуга, и было несколько приступов, подобных отсроченной смерти. Нет, уж если умирать, то только на американской земле. «И он уходит, — пишет Сальгадо, — уходит освобождать угнетенных Америки, уходит, отождествляя себя со своей необъятной родиной, со своей великой космической матерью, с которой связан всей глубиной своего «Я». Связан так, как был связан с тою, которая его породила... Никто не может освободиться от своего биологического императива».

Здесь очень верно, неожиданно верно среди банальностей звучит слово «отождествляя». Ведь если Че отождествлял себя с Америкой, то он ушел освобождать самого себя...

17

Он изменил свою внешность: сбрил бороду, перекрасил волосы... Странно, должно быть, смотреть в зеркало на другого себя: теперь это был седовласый лысоватый респектабельный господин в элегантном костюме, в солидных очках, при галстучке. Родная дочь Селия его не узнала, и, когда он подхватил ее на руки и стал целовать, она с притворным возмущением воскликнула: «Смотри, мама, этот старичок в меня влюбился!» Успокоительная иллюзия: раз тебя никто не узнает — значит, ты невидим.

О местонахождении его гадали, и, как это часто бывает, объявились очевидцы: кто встречал его в Китае, кто в Уругвае, кто в Аргентине. По-видимому, с марта по июнь 1966 года Че Гевара действительно ездил по Южной Америке, выбирал место для нового партизанского очага, присматривался к странам, граничащим с Аргентиной. Небольшой по территории Уругвай не подходил для широкомасштабной герилли, Бразилия тоже отпадала: однородность однородностью, но лучше все-таки испаноязычная страна. Глухой провинциальный Парагвай, где властвовал диктатор Стресснер, был очень подходящим местом: его буйная сельва могла надежно укрыть не один партизанский отряд. Рассказывают, что Че Гевара в рясе

монаха-доминиканца ходил по парагвайским дорогам, но что-то его отшатнуло от этой несчастной, замученной и в самом деле нуждающейся в освобождении страны: возможно, влажная душливая жара.

Аргентина, где армия, в который уже раз, взяла на себя историческую ответственность за судьбы страны и привела к власти генерала Онгания, годилась, по мнению Че Гевары, лишь на то, чтобы перевести боевые действия на ее территорию, когда герилья наберется сил где-то за ее пределами. Впрочем, близкие друзья, на которых, не называя никого конкретно (и, видимо, имея в виду Рикардо Рохо), ссылается Энрике Сальгадо, свидетельствуют, что Че Гевара побывал в Аргентине и даже провел около двадцати дней в родной Кордове. Измененная внешность не помогла: в Кордове Эрнесто Гевару помнили как раз безбородым, и он был конечно же узнан, хотя широкой огласки это не получило.

Че вынашивал план привезти в Кордову несколько десятков революционеров и направить их в ближние горы, с тем чтобы они создали там партизанский очаг. Ему представлялось, что студенты местного университета, среди которых имелось множество радикально настроенных и азартных молодых людей, с энтузиазмом поддержат это смелое начинание. Однако аргентинские студенты его разочаровали: одно дело, гуляя по лужайкам университетского кампуса, горячо обсуждать революционную альтернативу, и совсем другое — перейти от теории к практике, скитаться с оружием в руках по безлюдным горам. Травянистая родина Че Гевары по-прежнему отвергала ярость Америки... Рикардо Рохо рассказывает, что задолго до исчезновения Че Гевара при каждой новой встрече подробно и придирчиво расспрашивал его о развитии аргентинских событий — и всякий раз с разочарованием отступался:

«Нет сомнений, что Аргентина медленно движется по направлению к революции. Все дело в том, чтобы еще немного подождать».

«Медленно, подождать...» Каких усилий стоило ему произносить эти ненавистные слова, свидетельствовавшие об удручающей лениности жизни. Подумать только: за тринадцать лет в Кордове почти ничто не изменилось, тринадцать лет люди прожили впустую, как травоядные... Зачем тогда жить вообще?

В конце концов выбор Че Гевары пал на Боливию. Собственно, Боливия не замыкала список стран-кандида-

тов, а открывала его, именно поэтому Че послал свою Таню в Ла-Пас, но, прежде чем принять окончательное решение, он хотел перебрать остальные варианты. Географически Боливия, расположенная на стыке пяти южноамериканских стран (Аргентины, Бразилии, Чили, Перу и Парагвая), являлась уникальным местом для создания первичного партизанского очага... если, конечно, там была в нем необходимость. Даже отсутствие выхода к морю можно было расценить как преимущество: это затрудняло прямое североамериканское вмешательство (скажем, высадку морской пехоты или бомбежку с авианосцев) и позволяло превратить базу герильи в неприступное горное гнездо. Боливийские горы привлекали Че Гевару еще и тем, что ему там было легче дышать. Армия Боливии считалась слабой в Латинской Америке: такую репутацию она завоевала после сокрушительного поражения, нанесенного ей парагвайцами, и после утраты прибрежной территории Литораль. Воспоминание о том, что вероломные соседи лишили Боливию выхода к морю, ущемляло национальную гордость боливийцев, полторы тысячи моряков по-прежнему составляли особое соединение вооруженных сил страны (хотя их служба заключалась лишь в участии в военных парадах): значит, надежда на возвращение Литорали не была еще потеряна, и этот козырь можно было в дальнейшем каким-то образом использовать.

Большим дефектом Боливии (с точки зрения герильи) являлось то, что там правил демократически избранный президент Виктор Пас Эстенсоро, духовный отец революции 1952 года. Правда, в последние годы позиции Пас Эстенсоро несколько ослабели: военные были недовольны тем, что президент позволял горнякам держать на оловянных рудниках свои вооруженные формирования, шахтеры же требовали более энергичных реформ. Недоброжелатели называли президента «инка Пас Эстенсоро», что в слитном произнесении звучало как «инка-пас Эстенсоро», то есть «Эстенсоро, ни к чему не способный». Это была явная несправедливость по отношению к этому умному опытному политику. Но, как бы плохи ни были дела у Пас Эстенсоро, он возглавлял демократический режим, и это делало герилью в Боливии невозможной.

«Там, где правительство пришло к власти более или менее демократическим путем и где поддерживается по крайней мере видимость конституционной законности,

возникновение партизанского движения исключено — пока еще не исчерпаны возможности борьбы мирными средствами».

Надо сказать, что перевод на русский язык книги Че Гевары «Партизанская война», откуда взята эта цитата, выполнен более чем вольно: слов о демократическом пути прихода к власти и о мирных средствах борьбы в оригинале нет, это не лексикон Че Гевары. Но смысл ограничения передан верно: общественное доверие к правительству — непреодолимое препятствие для гериллы.

Свержение Виктора Пас Эстенсоро его бывшим другом и единомышленником генералом Рене Баррьентосом устранило это препятствие. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Че Гевара, по правде говоря, не очень великодушно высказался о бывшем боливийском президенте:

«Совсем недавно он со слезами на глазах говорил нашим представителям, что должен порвать с Кубой, поскольку США обязывают его это сделать. Не могу подтвердить, что это утверждение президента Боливии было точным. Что доподлинно, так это наш ответ. Мы сказали ему, что эта уступка врагу ничего ему не даст, поскольку он уже обречен. И вот — президент Боливии свергнут в результате военного переворота... Тут можно вспомнить, что сказала мать халифа Гранады своему сыну, который плакал, потеряв город: «Правильно делаешь, что оплакиваешь, как женщина, то, что не сумел защитить, как мужчина».

Известие о перевороте Баррьентоса застало Че Гевару на пути в Москву, тогда-то, видимо, он и сделал свой внутренний выбор. Сорокапятилетний генерал Рене Баррьентос, как это часто случается в Испаноамерике, своей карьерой был обязан исключительно Виктору Пас Эстенсоро, что не помешало ему втихомолку подготовить и осуществить в содружестве с генералом Овандо «революцию внутри революции» и выслать своего благодетеля в Перу. Дэниэль Джеймс с большой теплотой отзывается об этом клятвопреступнике («Сирота с шестнадцати лет, он великолепно знал язык индейцев кечуа, в молодости боролся за аграрную реформу...») и упрекает Че Гевару, что напрасно он рассматривал Баррьентоса и Овандо «как двуглавого батиству»: «Эти люди не выступали против революции, напротив — сами являлись частью Национальной революции 1952 года». Крайности нетерпимости сходятся, и очень показательно, что Джеймс,

точно так же как и Че Гевара, пренебрежительно говорит о свергнутом президенте, который стал жертвой генеральского вероломства. Фигура Пас Эстенсоро слишком сложна для бинарных оппозиций.

Слабость боливийской армии давала Че Геваре основания предполагать, что Баррьентос и Овандо не сумеют справиться с герильей собственными силами и попросят военного вмешательства США. А это с неизбежностью вызовет всеобщее возмущение на континенте, и, как предсказывал Фидель Кастро, «войска Латинской Америки будут брошены лишь на охрану послов, консулов, дипломатических представителей янки». В этих условиях антиимпериалистическая герилья охватит все страны континента, и Соединенные Штаты неизбежно придут к своему южноамериканскому Дьен-Бьен-Фу. Таков был план, согласно которому Боливии отводилась роль «вязанки хвороста», которая будет первой брошена в континентальный костер.

«Что стоят опасности и жертвы одного человека или одного народа, когда на карту поставлена судьба человечества!»

А в это время Таня, отправив своего фиктивного мужа в Югославию и оповестив всех своих лапасских друзей и знакомых, что получила небольшое наследство, купила джип и стала разъезжать по провинции, присматривая подходящее место для будущего партизанского лагеря и собирая индейские народные костюмы. Врожденная артистичность помогала ей достаточно убедительно имитировать эту деятельность и даже находить в ней радость. В столице прошла выставка собранной ею коллекции, выставка имела успех и была высоко оценена министерством образования Боливии. Нужно сказать, что в те времена интерес к индейским первоисточкам народной культуры в Боливии только зарождался, многие политики и даже представители интеллигенции считали, что в процессе формирования нации индейцы (а они вместе с метисами составляли 90 процентов населения страны) должны полностью ассимилироваться, по сути дела исчезнуть. Сам генерал Баррьентос, не устававший повторять, что в его жилах течет индейская кровь, заявил как-то раз, что хочет пригласить на постоянное жительство белых поселенцев из Родезии, чтобы отбелить боливийскую кровь. На фоне таких настроений неутомимое собирательство Тани должно было вызывать уважение понимающих людей. Среди ее друзей были художники, музыкан-

ты, поэты, специалисты по прикладному искусству, также стремившиеся уберечь индейскую культуру. У одного из прикладников Таня занималась в гончарной мастерской, именно в эту мастерскую должны были звонить прибывшие из Гаваны (по-конспиративному — из Манилы) гости. Если на вопрос, дает ли сеньора Гутьеррес платные уроки немецкого языка, Таня отвечала отрицательно, это означало, что на следующий день в половине восьмого вечера она будет стоять возле киоска у рынка «Ланса». В это время к ней ни в коем случае нельзя подходить. Выпив молочный коктейль, она пойдет к библиотеке, и тут ее можно догнать и спросить: «Скажите, где находится кинотеатр «Боливар»?» Если все, с ее точки зрения, идет нормально, она ответит отзывом: «На улице Симон». Может случиться и так, что контакта здесь, на улице, она не хочет, в таком случае в дополнение к обычной одежде (темный плащ, желтая косынка) в руке у нее будет черная сумочка: это знак, что ее следует искать в салоне красоты Элен Рубинштейн.

До 1 января 1966 года никто с нею на связь не выходил. И только в тот первый день Нового года, идя обычным путем от рынка «Ланса» к библиотеке, Таня услышала вопрос о кинотеатре «Боливар». Она была так рада, что не удержалась и после отзыва произнесла:

«А я уже думала, что обо мне позабыли...»

Первым из Манилы прибыл капитан танковых войск Кубы, ветеран Сьерра-Маэстры, участник конголезской экспедиции Рикардо, именно из Африки в дополнение к этой своей кличке он привез экзотическое имя Мбили: в своем дневнике Че Гевара часто называет его на африканский манер. Для Тани Рикардо был еще и Папи: так иногда в Испоаноамерике называют богатых покровителей молодых сеньорит. Кстати, посылая своих людей в Боливию, Че Гевара совершенно не заботился о том, насколько их внешность приметна с точки зрения местных жителей, особенно в сельской местности, где всякий чужак на виду. Крупный, физически мощный мулат Рикардо был, мягко говоря, нетипичен для малорослой и щуплой индейской Боливии.

Папи привез Тане новые инструкции от Рамона (так теперь следовало называть Че Гевару). Че рассудил, что наилучшим прикрытием для партизанского лагеря будет настоящая ферма: пусть не поместье, но достаточно обширное по территории и налаженное хозяйство. Он поручил Тане подыскать и приобрести что-нибудь подходящее

в юго-восточном районе страны. И вот на своем джипе «тоёта» Таня в сопровождении боливийца Коко Передо стала ездить по сельской глубинке южнее города Санта-Крус. Крестьяне обращали внимание на эту парочку: «Ну и красавица досталась нашему парню...» Коко был нужен Тане как будущий хозяин фермы: не могла же она оформить покупку на свое имя.

Наконец в зоне Ньянкауасу было найдено подходящее ранчо под названием «Каламина» с угодьями площадью более тысячи гектаров и с добротным строением под крышей из оцинкованной жести. Владелец запросил за «Каламину» 30 тысяч боливийских песо (2500 долларов), и Папи, казначей герильи, без колебаний оплатил покупку. «Крыша» была обеспечена, можно было принимать гостей.

Поначалу Таня не занималась приемом кубинцев: это входило в обязанности Рикардо. Но поскольку ей нужно было знать всех новоприбывших в лицо, в условленный час Рикардо приводил их в кафе «Мали», и там, сидя за дальним столиком, Таня время от времени рассеянно на них поглядывала. Гости, впервые видевшие Таню, удивлялись ее бледности, которая объяснялась, впрочем, не слабостью здоровья и не волнением: крашенные темные волосы не слишком выгодно оттеняли природную белизну ее кожи, и это бросалось в глаза. Позднее Таня отступила от разумной инструкции и стала сама устраивать новичков на квартиру, водила их по Ла-Пасу, выполняя функции гида, — и только что не встречала в аэропорту. Кубинцы прибывали в столицу Боливии кружным путем: как правило, из Гаваны в Прагу, затем через Франкфурт, Дакар и Сан-Паулу. Паспорта у них были уругвайские, эквадорские, колумбийские, фальшивые, но отлично сделанные. Вообще в распоряжении отряда Че Гевары имелся 21 фальшивый паспорт, не считая туристических карточек и прочих документов, качество их изготовления Дэниэль Джеймс оценивает достаточно высоко.

И вот 3 ноября 1966 года в Ла-Пас самолетом из Сан-Паулу прибыл уругвайский гражданин Адольфо Мена Гонсалес. Невысокий, но плотный лысоватый господин средних лет в роговых очках остановился на трапе, пожегился на ледяном ветру Альтиплано и не спеша сошел на боливийскую землю, где ему суждено было остаться навеки, «когда рассеется пороховой дым...». Гости встречали надежные люди, без каких-либо осложнений

они провели его сквозь таможенно-иммиграционные барьеры, сквозь кордоны полиции и армейских патрулей, и усадили в ожидавший возле здания аэропорта автомобиль. Там вождю герильи было вручено подготовленное Таней удостоверение специального уполномоченного Организации американских государств, дававшее ему право беспрепятственно передвигаться по Боливии, и после короткого совещания на городской конспиративной квартире решено было не мешкая отправляться в Ньян-кауасу.

Путь до ранчо «Каламина», протяженностью почти в шестьсот километров, занял трое суток. Ехали на двух джипах, Че Гевара в сопровождении четверых герильерос. Таня, естественно, осталась в Ла-Пасе, ей вообще запрещено было появляться близ «Каламины», связь с партизанской базой она могла поддерживать только через радио Санта-Крус.

Машину Че Гевары вел боливиец по кличке Лоро (он же Биготес), один из немногих боливийских коммунистов, которые с первых дней примкнули к герилье вопреки установке своего ЦК. Этот Лоро, человек неорганизованный, импульсивный и нервный, внес печальный вклад в историю боливийской герильи, без нужды подстрелив первого правительственного солдата и тем самым выдав местонахождение партизанского лагеря. Видимо, на протяжении всего пути Лоро не догадывался, кого он везет в «Каламину», и заверял Че Гевару в своем уважении и любви к генсеку КПБ Марио Монхе, чем вряд ли доставил удовольствие своему пассажиру: Че ни на минуту не забывал о том, что руководство КПБ не поставлено в известность ни о его прибытии, ни о том, что Боливия избрана на роль вязанки хвороста в континентальной герилье, и предполагал, что Марио Монхе будет всем этим неприятно удивлен. Должно быть, Че каким-то образом не то что выдал себя, но дал понять, кто он такой, и Лоро был настолько потрясен этим открытием, что чуть не своротил джип в ущелье. «Чем очень развеселил Че Гевару», — меланхолично прибавляет Дэниэль Джеймс. Это верно, в короткой дневниковой записи Гевары («Узнав меня, он чуть не свалился с машиной в пропасть») сквозит усмешка удовольствия.

В полночь 7 ноября Че Гевара наконец оказался под оцинкованной крышей «Каламины»: последние двадцать километров пришлось пройти пешком, а машина Лоро так и осталась висящей на краю обрыва. Судить о достоин-

ствах выбранного для герильи места Че не стал, однако его спутник Помбо, капитан кубинской армии, остался не очень доволен местностью.

«Годится для герильи, но не высший класс», — записал он в своем дневнике.

Этот высокий красивый негр с правильными совершенно классическими чертами лица пользовался особым доверием Че Гевары (именно ему в новой герилье отводился пост начальника снабжения и транспорта, то есть фактически ответственного за жизнеобеспечение отряда) и имел достаточный опыт, чтобы с первого взгляда оценить расположение «Каламины»: Помбо был, как и Рикардо, ветераном Сьерра-Маэстры и одним из немногих, кто уцелел после гибели Че и вернулся на родину.

«Выбор места был роковым, — пишет Дэниэль Джеймс. — Ферма располагалась на краю скалистого каньона почти стометровой глубины и в несколько десятков километров длиною. Внизу, на дне каньона, протекала река, неширокая, всего десять метров от берега до берега, но фактически берегов, по которым можно было пройти, там не имелось: волны плескались об отвесные стены ущелья. Правда, лес, которым зарос каньон, был настолько густым, что с самолета можно было увидеть лишь сплошные зеленые кроны. Лес кишел дичью: были там олени, игуаны, дикие индейки, попугаи, маленькие черные птички «висна», характерные именно для юго-востока Боливии, попадались обезьяны и ягуары. По самому краю каньона шла дорога, точнее, почти тропинка, она и вела прямо к дому с оцинкованной крышей».

Честно говоря, в этом добротном сделанном описании не ощущается ничего рокового, но интуиции Помбо следует доверять: Дэниэль Джеймс описывал зону Ньянкауасу задним числом, когда выбор действительно завершился фатально, а Помбо высказывал свое первое впечатление.

Там, под крышей «Каламины», Че Гевара сделал первую запись в своем боливийском дневнике, который вел на протяжении всех одиннадцати месяцев своей последней герильи. Надо думать, Че принялся за это привычное дело с наслаждением. Дневник для него означал, как верно замечает Сальгадо, «*volver a vivir*», возвращение к истинной жизни, к молодости, к высокому человеческому братству революционной войны.

Дневники, по примеру своего командира, вели многие участники боливийской герильи: и упоминавшийся уже Помбо, и флегматичный ветеран конголезской экспеди-

ции Браулио (лейтенант кубинской армии), и романтический Роландо (капитан, член ЦК Компартии Кубы), и даже Таня... Впрочем, в ее дневнике сделана единственная запись, знаменитые слова Николая Островского о жизни, которая дается человеку только один раз, дальше — пустые страницы. Лишь один Роландо зашифровал свои записи, остальные фиксировали события и подробности открытым текстом. Любопытен в этой связи дневник Браулио, найденный солдатами правительственной армии в одном из партизанских тайников. Этот темнокожий кубинец с типично негритянскими чертами лица, невозмутимый жизнелюб, ставший по неясным причинам объектом сосредоточенной неприязни Дэниэля Джеймса, простодушно записывал все, что ему представлялось важным, не утруждая себя соображениями секретности:

«Я прибыл в Боливию через США — по ошибке. Из Ла-Паса — два дня езды на джипе до лагеря, который представляет собой ферму, купленную заранее. Куплены еще два джипа и маленький грузовичок, и так мы запутали врага. Здесь, на ферме, работают два боливийца (Коко и Лоро. — В. А.), временами они трудятся как пеоны. Ферма записана на имя одного боливийца, который иногда ведет себя как хозяин. Маленький лагерь — в зарослях, в 500 м от дома... Все соседи и пеоны в округе думают, что мы строим кокаиновую фабрику. Тем временем мы привезли некоторое оружие и снаряжение. Мой номер — 142, кличка — Браулио».

Дневник самого Че Гевары, по оценке Дэниэля Джеймса, — это «странная смесь описания личных стычек (более азартных, чем политические конфликты), трудностей партизанской жизни, особенно в отношениях банды Че Гевары с другими коммунистическими группами, перечня погибших в боях товарищей — и все это в свете нарастающего разочарования, разочарования одного из величайших революционеров XX столетия, который завоевал Кубу и хотел завоевать все остальное». С этим мнением трудно согласиться: разочарование вовсе не является преобладающим настроением дневника Че Гевары, и смесь его записей странна не более, чем сама жизнь. Че ведет свой дневник с беспощадным спокойствием медика, лаконично и сухо, как историю болезни. Пристрастность, столь свойственная ему в живом общении с людьми, на страницах боливийского дневника, где он остается наедине с собою, уступает место даже не объективности,

но стрешенности, спокойной отстраненности наблюдателя издалека.

«Пачунго немного грустит, кажется, он еще не привык к новой обстановке, но это должно пройти... Выяснилось, что Лоро задержался в гостях у соседа. Безответственность какая-то... Нет мелочей: вчера я заметил упавший фонарь и наблюдал, кто поднимет его. Никто не поднял. Лень и безразличие — вот что за этим стоит».

Очень верное свидетельство Фернандеса Фигероа приводит в своей «Рентгенограмме» Сальгадо: «Че не сближается ни с кем. Это революционер чистый, почти стерильный. Он не политик: он идеалист революции. Идет вперед без людей за плечами. Не обращает на них внимания и не нуждается в них».

Записи дневника Че Гевары изобилуют чисто медицинскими подробностями:

«День отрыжек, извержения газов, поноса и рвоты, истинный органный концерт. Пребывали в неподвижности, пытаюсь переварить жареную свинину. Когда двинулись в путь, у меня начались сильнейшие колики с рвотой и поносом... Меня несли в гамаке без сознания; когда очнулся — почувствовал себя ожившим, но оборванным наподобие грудного младенца. Мне выдали другие штаны, но воды поблизости не было...»

Ни один из тех, кто глядит в Наполеоны, не написал бы о себе такого. Че Геваре можно поставить в вину многое, но в наигранном пафосе и в самовозвеличении его упрекнуть нельзя.

Несколько дней после прибытия в «Каламину» были посвящены изучению местности. Конечно, Че Гевара имел подробные карты зоны Ньянкауасу и вообще всего юго-востока Боливии, но в реальном масштабе все оказалось иным. Река Ньянкауасу скорее похожа была на простой ручей, но до истоков ее добраться не удалось, так как она стиснута была крутыми берегами, а по карте эту неприятную подробность угадать трудно.

«Кажется, здесь редко кто бывает», — сделал вывод Че Гевара, полазив по прибрежным кустам и оставшись в полном неведении о том, что по субботам и воскресеньям сюда приходят охотники, а в десяти километрах вниз по реке имеется не обозначенное на карте селение. Ни Коко, хозяин ранчо, ни Лоро, назначенный управляющим, не знали этой местности и ничем не могли помочь Че Геваре.

Но в общем и целом выбранная Таней зона Че Гевару устроила. Однако «Каламина» — это не лагерь, а всего лишь прикрытие. Осмотревшись, Че решил строить лагерь на небольшом, покрытом зарослями холме, который нельзя было разглядеть ни из дома, ни с дороги. Невдалеке имелась расщелина с земляными склѳнами, пригодными для рытья туннелей и пещер-тайников, чтобы укрыть в них, как пишет Дэниэль Джеймс, «компрометирующие предметы». На вершине холма в первые же дни был устроен наблюдательный пункт, с которого хорошо просматривались подступы к ранчо.

Одновременно со строительством ближнего лесного лагеря разведчики искали в сельве место для второго, дальнего убежища: там тоже должны были быть вырыты тайники и устроены наблюдательные посты, с которых можно было бы просматривать оба берега реки. Очень гордился Че успехом своей первой партизанской хитрости: в зарослях на холме была прорублена ложная дорога, уводящая далеко в сторону от лагеря, к обрыву, а истинная замаскирована настолько убедительно, что даже Помбо, возвращаясь с задания, прошел мимо и долго плутал.

Работы по обустройству шли каждодневно, не прекращаясь ни в какую погоду, и к концу года в сельве вырос невидимый лесной городок: там были шалаши, под навесами — грубо сколоченные бревенчатые столы и скамьи («Как в зонах отдыха для пикников», — ядовито замечает Дэниэль Джеймс), круглая глиняная хлебная печь, медпункт с большим набором медикаментов и хирургических инструментов, еще навес, под которым вялили мясо. Все это очень напоминало «Эль-Омбрито». Но, если смотреть на вещи глубже, кубинский опыт оказал Че Геваре плохую услугу: там, в Сьерре, его кубинские братья были у себя дома, здесь же они оказались беспомощны, как все пришельцы. И та фальшивая дорога, по которой проскочил мимо лагеря Помбо, в решающий час не обманула боливийских солдат.

Снабжение продовольствием было поставлено согласно рекомендациям Че Гевары, которые он дает в своей книге «Партизанская война»:

«В первое время партизаны снабжаются продуктами у крестьян, их закупают также в какой-нибудь таверне».

Таверны поблизости не имелось, и люди Че Гевары стали покупать гусей и кур у зажиточного крестьянина Сиро Альгараньяса, его ранчо находилось по соседству.

Закупки, под видом батрака с «Каламины», делал молодой мулат Тума (он же Тумаини, лейтенант кубинской армии), чьи внешность и выговор, надо полагать, интриговали хитрого мужичка Сиро не меньше, чем количество закупаемой птицы. Коко на правах местного землевладельца съездили за продуктами в соседнее местечко Лагунильяс (что-то вроде нашего «Озерки»), и там местные жители удивлялись: где этот чудак собирается хранить такое количество съестного? Да и сам Коко, столичный житель, ездивший по заграницам, вовсе не похож был на степенного хозяина, собирающегося посвятить себя выращиванию кукурузы и разведению свиней. Сиро Альгараньяс, прибыльно торговавший свининой и домашней птицей, должен был недоумевать: на что может рассчитывать в этих краях еще один мясоторговец? Не рассеял недоумения и рассказ его шофера, который отвозил в «Каламину» оплаченное уже мясо и видел в доме двух совершенно незнакомых и неизвестно откуда взявшихся людей, чернокожего и белого (это были Помбо и упомянутый выше Пачунго, он же Пачо, капитан кубинской армии). Дорога в «Каламину» проходила мимо ранчо Альгараньяса, другого пути у людей Че Гевары не было, и озадаченный таким странным соседством крестьянин стал за «Каламиной» наблюдать.

Отношение Че Гевары к зажиточным крестьянам сформировалось еще во время кубинской герильи и было однозначным, главным образом потому, что он, иностранец, идущий с оружием в руках по чужой земле, воспринимал действительность по необходимости упрощенно.

«Мы увидели большой деревянный дом, который, судя по всему, принадлежал какому-то зажиточному крестьянину. Первое, что я подумал, — не подходить к этому дому, поскольку его хозяин наверняка был нашим врагом и там могли находиться батистовские солдаты».

То естественное обстоятельство, что солдаты диктатора предпочитали останавливаться не в хижинах, а в домах состоятельных сельских жителей, соединялось в сознании Че с уверенностью, что раз так — значит, зажиточный крестьянин наверняка враг повстанцев, батистовский шпик и наймит.

Естественно, Сиро Альгараньяс в сознании Че Гевары сразу занял место злого гения герильи, нового Эутимио Герры (что не мешало посылать людей к нему за продуктами), а батраков соседа Че воспринимал как своих потенциальных рекрутов:

«Воскресенье. Несколько охотников прошли мимо нашего лагеря. Это батраки Альгараньяса, люди, привычные к горам, молодые и не обремененные семьями. Они идеально подходят для вербовки, так как ненавидят своего хозяина».

Дальнейшие события показали, что Че ошибся в своих расчетах: ни один из местных батраков так к нему в отряд и не пришел. С молодым Тумайни они были бы не прочь подружиться, но, зайдя в «Каламину» как-то раз и не застав его на месте, они отказались от этой идеи. Что же касается классовой их ненависти к своему хозяину, то наверняка она была не настолько сильна, чтобы заставить их взяться за оружие... если эта ненависть вообще имела место в действительности, а не являлась плодом умозаключений самого Че Гевары.

«Ненависть как фактор борьбы; непримиримая ненависть к врагу, которая выходит за пределы естественных человеческих границ и превращает бойца в эффективную, неудержимую, избирательную и хладнокровную машину убийства. Наши солдаты должны быть такими; народ без ненависти не может победить жестокого врага».

Вопрос о том, достаточно ли неприязни батрака к хозяину для того, чтобы батрак превратился в «машину убийства», далеко не так прост, как это представлялось Че Геваре. Собственно, вождя герильи мало волновали тонкости взаимоотношений между Сиро и его работниками: он ведь собирался воевать не против Сиро, а против империализма янки. Ему нужна была только ненависть, ненависть сама по себе...

Одно открытие первых недель оказалось чрезвычайно неприятным: местность, которая, если судить по карте или доверяться первым впечатлениям, казалась совершенно безлюдной, на самом деле просто кишела людьми. Долгое время Че старался убедить себя, что это не так, что его никто не видит.

«Появился Альгараньяс, который чинит дорогу и для этого берет камни в реке. Он довольно долго занимался этим делом. Кажется, он и не подозревает о нашем присутствии».

Можно ли поверить, чтобы крестьянин (занятый, кстати, общественно полезным трудом) не заметил, не почувствовал, не учуял, что в кустах, которые он знает с младенчества, сидят и смотрят на него «форахидос», пришельцы, чужаки? А могли ли его работники, охотившиеся возле каньона, не увидеть, что в зарослях, где они

каждую неделю расставляли силки и капканы, появился целый военный городок?

Как Невидимка Уэллса, герилья медленно, но неотвратимо проступала на свет божий, становясь все отчетливей. все видней.

«Волосы у меня отрастают, хотя они еще и очень редкие, седина становится все более светлой и начинает исчезать; появляется борода. Через пару месяцев стану опять похож на себя».

Между тем мысль соседа Сиро напряженно работала, и в конце концов он нашел версию, которая все объяснила: в «Каламине» обосновалась кокаиновая мафия.

«Парни из дома (то есть те, которым разрешено было оставаться в «Каламине», Коко, Лоро и Тума.— В. А.) разговаривали с Альгараньясом, он вновь предложил свои услуги в производстве кокаина».

Как на это прикажете реагировать? Отказом? Притворным согласием принять в долю? А может быть, раскрытием карт? В любом случае соседство Альгараньяса становилось опасным, и это делало смертельно опасной всю зону Ньянкауасу.

В свое время обдумывались, надо сказать, и другие варианты. Когда Рикардо, с согласия Рамона, оплатил покупку «Каламины», из Манилы вдруг пришло новое указание: отставить юго-восточный вариант и приобрести ранчо на севере Боливии, в районе Альто-Бени. Однако Мбили хорошо знал своего командира, который всегда возвращался к тому решению, которое было принято первым (так, кстати, произошло и с выбором страны очага), — и, ответив «Будет исполнено», не спешил выполнять этот приказ. Интуиция не подвела Мбили: в начале октября, то есть ровно за месяц до своего прибытия, Че Гевара дал северному варианту отбой. Возможно, этот географический зигзаг связан был с миссией французского философа, теоретика герильи Режи Дебрэ, который приезжал в Боливию по просьбе Че Гевары с целью геополитического изучения страны — и вел себя, кстати, совершенно по-дилетантски: фотографировал военные объекты, встречался с левыми лидерами, скупал карты провинций, все это в открытую, как бы желая уведомить боливийское правительство о скором прибытии своего грозного друга. Однако любительский «геополитический анализ» (над которым по праву насмехается Дэниэль Джеймс) не помог в выборе зоны действий: оба варианта оказались неудачными. Конечно, район Альто-Бени был

еще менее плотно заселен и со всех сторон окружен горами, однако надежного выхода за пределы Боливии оттуда не имелось, и при неблагоприятном развитии событий этот район превратился бы для герильи в каменный мешок. А самое главное — зона Альто-Бени слишком далека от Аргентины, куда Че Гевара рано или поздно надеялся переместиться. Зона Ньянкауасу имела свои серьезные недостатки. Начать хотя бы с того очевидного обстоятельства, что индейцы, жители этих мест, в большинстве своем не знали испанского языка и говорили даже не на кечуа (этот язык Че Гевара собирался со своими бойцами изучать), а на гуарани и на аймара. Это для вождя герильи оказалось полной неожиданностью: от «идентичности международного американского типа» на месте не осталось и следа (что не помешало Че Геваре включить этот тезис в свое последнее обращение к народам мира: своими принципами он поступаться не желал). От района оловянных рудников, где можно было ожидать притока в отряд вооруженной шахтерской молодежи, зона Ньянкауасу находилась слишком далеко. Впрочем, Че Гевара и не горел желанием опираться на поддержку шахтеров: он плохо знал этот социальный слой, не понимал его интересов и, похоже, побаивался, хотя и причислял свой отряд к великой армии пролетариата.

«В Китае Мао Цзэдун начал борьбу с создания на юге страны рабочих групп, которые были разгромлены и почти полностью уничтожены... Успехи начались только после Великого Северного похода, когда борьба переместилась в сельские районы».

Ту же тенденцию Че видел и во вьетнамской, и в алжирской революции, в его мироздании эта тенденция приобрела универсальность простого закона истории, и потому индустриальные и горнорудные районы его к себе не тянули.

Но если он пришел в Боливию для того, чтобы поддержать борьбу безземельного крестьянства за перераспределение земли, то он должен был в точности знать, идет здесь такая борьба или нет и нуждается ли местное население в его скромной помощи.

«Поскольку в сельской местности борьба народа ведется в плане изменения существующих порядков землепользования, то и партизан выражает волю огромных крестьянских масс, желающих стать подлинными хозяевами земли, средств производства, скота — всего того, к

к чему он стремится в течение многих лет и что составляет основу его жизни».

В Боливии, однако, аграрная реформа была проведена еще в 1953 году, она коснулась двух третей населения страны, а что касается юго-востока, то здесь крестьяне получили даже больше земли, чем могли обработать. Только полная отчужденность от реальной жизни с ее живой конкретикой могла подвигнуть Че Гевару на выбор Боливии в качестве страны очага континентальной — и аграрной по своей природе — герильи.

Да и была ли его герилья аграрной? Хотел ли он, чтобы батраки Альгараньяса стали подлинными хозяевами земли, средств производства и скота? Нет, не хотел он этого, и подлинные побуждения их (если не считать ненависти к хозяину) были ему безразличны. Че не обманывал никого, он сам обманывался, искренне убежденный, что внутренняя структура любой латиноамериканской страны сводится к простой бинарной оппозиции, к простому противоборству народных, преимущественно крестьянских, масс и горстки угнетателей и эксплуататоров, настолько незначительной количественно, что составить ее список в Боливии он поручил своей Тане.

18

Утро в начале декабря, Роландо дежурит на караульном посту, в руках у него книга «Пармская обитель», но читать не хочется: Роландо любит рассветом и жалеет, что нет с собой кинокамеры. Справа река бежит внизу среди скал, местами срываясь в шумные водопады. За рекою — горная гряда, покрытая плотной зеленой растительностью, горы почти вертикально поднимаются от реки, скалистые их вершины окутаны туманом. Утро обещает быть теплым, солнце то и дело освещает окрестности, проглядывая сквозь движущийся туман и заставляя отвлечься от чтения и вспомнить о своих любимых: о жене, о детях, о маме... можно себе представить ее удивление, когда отец скажет ей, что ее сын ушел в герилью легендарного Че Гевары...

Это не авторское литературное упражнение, это пересказ отрывка из дневника капитана Роландо, «маленького смелого солдата», как его называл Че, бывшего связного Гевары в Сьерра-Маэстре, а ныне члена ЦК КПК... Запись зашифрована, имя Че Гевары обозначено

многообразием, а за этим многообразием следует непосредственная в своей деловитости фраза:

«Напротив меня — глубокий, заросший лесом овраг, а за ним в двухстах метрах — снова горы».

Прямое свидетельство того, что дневниковая запись делалась там, наверху, на караульном помосте или в развилке дерева, так любил работать, сидя среди ветвей с карандашом и блокнотом, «Эль Че де Америка».

Это были самые безмятежные дни боливийской герильи, проходившие в тихих радостях обустройства, рыбалке и охоте.

«Обнаружили в реке омут, — записывает Че, — там водится довольно крупная рыба багре — с острыми усами, о которые можно пораниться. Поймали 17 штук, хватит на один ужин».

Из этого можно сделать вывод, что отряд численно вырос, правда, в основном за счет кубинского пополнения.

«Инти и Урбано (капитан кубинской армии, чернокожий, ветеран Конго. — В. А.) надумали поохотиться, потому что еда стала очень скудной. Целый день ходили с пустыми руками, но к вечеру Урбано из своего М-1 убил индейку. Была небольшая тревога из-за нескольких выстрелов, сделанных Лоро, который нас не предупредил».

Палец Лоро так и тянется к курку. Лоро, пожалуй, переживает своего рода «военный психоз». Вряд ли он сознается в том, что ему не терпится взять своего соотечественника на мушку, но такое побуждение у него есть. Че Гевара не видит в этом парне потенциальной угрозы, Лоро для него пока что — источник забавных огорчений. Его посылают на рекогносцировку, он отправляется на соседнее ранчо за лошадью (не любит бродить по горам пешком) — и исчезает на двое суток: думай, что хочешь, пока не выясняется, что сосед дон Ремберто хорошо его угостил. Ему поручают добыть географические карты окрестностей Камири (это административный центр округа, там располагается штаб Четвертой дивизии), а у него как раз сбежал из «Каламины» поросенок, и он ловит шустрюю животину до вечера, а потом является к командиру и с оскорбленным видом оправдывается, что никакие карты не нужны, ему подробно описали ту местность на словах.

В лагере есть красный уголок, по вечерам там идут занятия: Че преподает своим бойцам историю, матема-

тику, для желающих — основы политэкономии. Боливииские новобранцы дают уроки кечуа — языка, который в этой части страны известен не более, чем китайский. Восемь человек регулярно ходят к командиру на уроки французского языка. А всего в отряде — 24 бойца, из них лишь восемь боливийцев. Местных жителей — ни одного, все боливийские рекруты — горожане, студенты и активисты боливийского комсомола и КПБ. Соотношение, с точки зрения Че Гевары, не слишком благоприятное, ведь одно из главных требований к партизану — это то, «чтобы он был жителем того района, где действует герилья». Только в этом случае партизан может рассчитывать на убежище у друзей, всегда быть в курсе местных событий и поддерживать свой боевой дух сознанием того, что он защищает свою собственность и собственность соседей. Но это теория, изложенная в книге «Партизанская война», практика же оказалась иной. Че надеется на то, что пройдет полоса праздников (рождество, Новый год, карнавалы) — и новобранцы начнут приходить. А пока что ядро отряда составляет кубинский офицерский корпус: майоры, капитаны, лейтенанты. Среди них четыре члена ЦК Коммунистической партии Кубы (сам Че Гевара к тому времени, когда аппарат новой партии был оформлен, уже сложил с себя звание кубинского гражданина: так он и не стал членом компартии), есть в отряде бывший заместитель министра и бывший начальник личной охраны Фиделито, сына Фиделя Кастро (звание этого молодого человека по кличке Артуро не сумел установить даже Дэниэль Джеймс).

Сам по себе факт нелегального прибытия в Боливию такой внушительной группы офицеров иностранной армии являлся большим достижением молодой герильи, и Че Гевара верил, что увеличения численности отряда вдвое (за счет местных жителей, естественно) будет достаточно для начала успешных боевых действий в континентальном масштабе. У латиноамериканцев с младенчества, с первых детских книжек возникает наивная, с нашей точки зрения, уверенность в том, что горстка храбрецов способна покорить континент. Эта легенда своими корнями уходит во времена Кортеса и Писарро.

«Группы в 30—50 человек, — пишет Че, — достаточно, чтобы начать вооруженную борьбу в любой стране латиноамериканского континента, где имеются такие условия, как местность, благоприятная для боевых действий,

где крестьяне стремятся получить землю и где попираются принципы справедливости».

Поскольку отряд не представлял собой единого целого и боливийцы держались обособленно от «манильцев», Че Геваре приходилось проводить разъяснительную работу и среди боливийцев, и «в своей группе» (так он однажды написал в дневнике).

«Провел беседу о нашей позиции в отношении боливийцев, которые к нам придут, и об отношении к вооруженной борьбе...»

В дневнике Помбо эта беседа описана более подробно.

«У нас с вами, — сказал Рамон, — та привилегия, что мы испытанные бойцы, мы слышали свист пули, мы прошли все испытания гериллы и превосходим их как творцы осуществленной революции, вот почему наш нравственный долг — доказывать это превосходство на деле... Манильцы временно займут руководящие посты и своим примером начнут воспитывать будущие боливийские кадры, которые встанут во главе континентального освобождения в этой стране. Такие же кадры будут готовиться и в освободительных армиях других братских стран».

Обязанности в отряде были распределены следующим образом. Заместителем командира стал Хоакин (команданте, ветеран Сьерры, герой Уверо, позднее начальник школы командос в Матансасе, член ЦК КПК): этот молодой, сутулый и по-крестьянски неторопливый в речах и действиях человек пользовался общим уважением. Комиссарами, ответственными за политработу в кубинской и боливийской группах, были назначены Роландо и Инти. Начальником штаба стал Алехандро (команданте, бывший командующий гарнизоном Матансаса), это был рыжий, светлокожий и веснушчатый человек, в герилле у него отросла очень длинная красноватая борода, неизменно вызывавшая изумление индейцев, когда отряд проходил через селения. Четвертым команданте в отряде был Маркос, тоже член ЦК КПК. Этот пожилой седобородый служака с морщинистым лицом, даже во время похода не выпускавший изо рта трубку, по старшинству должен был стать заместителем Че Гевары, но, как сдержанно пишет в дневнике командир, «допускал некоторые ошибки и продолжает их допускать»; возможно, проявилась какая-то несовместимость характеров Маркоса и Че, но отношения между двумя ветеранами так и не наладились до конца.

Рождество 1966 года отпраздновали дружно и весело, хотя спиртное Лоро раздобыл только в последний момент («Он не способен даже на это», — снисходительно замечает в своем дневнике Че Гевара). Рамон декламировал собственную поэму, в которой с большим юмором осыпал похвалами своих бойцов.

«Уже в новом лагере, — пишет немногословный Браулио, — пообедали очень хорошо: большой молочный поросенок, 29 пива, 10 вина, четыре бутылки рому, сладости, изюм, сыр и салат».

На этом его запись, посвященная рождеству, кончается: Браулио не любил отвлеченных рассуждений.

А под Новый год в «Каламину» прибыли гости: Таня, Папи и генсек КПБ Марио Монхе (Эстанислао). Таня вступила на территорию лагеря сияющая, ослепительно красивая, несмотря на то что ей пришлось пройти пешком около десяти километров. Во всяком случае, так, восторженными словами, описывает ее появление Инти, возможно потому что ни одна женщина до сих пор не появлялась на территории дальнего лагеря, названного «М-26» («Мовимьенто-26», в честь «Движения 26 июля»).

«Именно здесь, — патетически продолжает Инти, — состоялась ее встреча с самим «Эль Че де Америка», вождем Армии национального освобождения (АНО). То был час удовлетворения и революционной гордости Тани, час ее убежденности, что пришло наконец время... Всех нас она знала по имени и с нежностью нас обнимала, излучая неподдельную радость. Долго Че беседовал с нею в своем помещении наедине, и только затем принял генерального секретаря».

«Наша встреча с Эстанислао, — записал в дневнике Че Гевара, — была сердечной, но напряженной, в воздухе как бы висел вопрос: «С чем пришел?»

Партия, которую представлял Марио Монхе, имела к Че Геваре серьезные претензии: как могло случиться, что боливийские коммунисты не были даже поставлены в известность, что их страна избрана местом создания континентального революционного очага? Как могло случиться, что с руководством КПБ не только предварительно не посоветовались, но даже не информировали о прибытии самого Че Гевары? Почему к решению боливийских проблем приступают, не спросив согласия самих боливийцев? Излагая претензии Эстанислао, Дэниэль Джеймс язвительно пишет: «Хотя Монхе

и не являлся великим боливийским патриотом, он был в достаточной степени националистом, чтобы чувствовать себя оскорбленным. Мало того, что иностранцы решили превратить страну в реторту континентальной революции без ее уведомления и согласия, так они еще и претендуют на руководство боливийским процессом. А ведь КПБ никогда не подписывалась под теорией очага, она видела революцию в более ортодоксальных ленинских терминах, начинающейся с массовых выступлений в городах». То, что Джеймс достаточно верно передал суть позиции Эстанислао, подтверждается записью в дневнике справедливого и рассудительного Роландо:

«Марио не согласен с нашей стратегией. Он считает, что более подходящий путь — через всеобщее восстание, а уж если оно будет подавлено, тогда можно уходить в горы».

Чтобы урегулировать отношения между партией и герильей (которая, хотел этого Марио Монхе или нет, уже стала реальностью), генсек КПБ выдвинул ряд условий, которые Роландо перечисляет в следующем порядке:

«1) Он (то есть Монхе.— В. А.) должен быть лидером. 2) Прокитайцы не должны участвовать. 3) Он должен совершить поездку по Латинской Америке и добиться поддержки герильи со стороны братских партий и признания христианских демократов».

Последний пункт Че Гевару не интересовал, он так и заявил, что это не условие, а личное решение самого Эстанислао. Ко второму требованию Че тоже отнесся спокойно: раскол в КПБ его не касался, а у себя в отряде он примет всех, кто придет с желанием сражаться. Что же касается первого условия, то Че Гевара отклонил его категорически и без обиняков:

«Военным руководителем буду я, и я не потерплю никакой двусмысленности в этом вопросе».

Верный Помбо горячо поддерживает своего командира:

«Марио хорош как теоретик, но он человек не того калибра, который нужен для лидера, способного вести борьбу. Это не тот человек, который сможет руководить страной после победы, ему лучше доверить пост министра образования и пропаганды».

Насколько же люди Че Гевары верили в него и в торжество его дела! Это была почти религиозная вера, не нуждающаяся ни в каких подтверждениях и содержащая в себе обещание нового средневековья.

Браулио описывает события дня очень просто:

«У нас был праздничный стол и был гость. Это Марио Монхе, который приехал поговорить с Рамоном. Но он не хочет вооруженной борьбы, а хочет быть единственным командиром герильи».

Это был самый настоящий тупик. Могла ли национальная партия пренебречь своей репутацией настолько, чтобы связать себя с вооруженной борьбой, во главе которой стоят иностранные офицеры? А мог ли Че Гевара уступить кому бы то ни было свою легенду, которую он сосредоточенно и беспощадно к себе творил всю свою жизнь?

«В полдень мы подняли бокалы. Эстанислао подчеркнул в своем тосте историческое значение этого дня. Я ответил, оттолкнувшись от его же слов и подчеркнув, что вновь наступает момент, напоминающий тот, когда Мурильо призвал к континентальной революции, и что наши жизни — ничто, если речь идет о революции».

«Наши жизни — ничто...» Который раз уже Че Гевара повторяет эти жестокие слова, неверные вне зависимости от того, о чем идет речь. Великая и страшная ложь нашего века.

И для себя, не произнося этого вслух, Че записывает в своем дневнике:

«Позиция Монхе освобождает меня от политических обязательств».

Отстраненный от реальности, погруженный в свое внутреннее мироздание, Че Гевара не мог принять всерьез утверждения, что Боливия не готова к герилье: как это она может быть не готова, если Я на это готов? Его Боливия была всего лишь фрагментом его внутреннего мира, он знал о ней лишь то, что считал нужным знать, и это знание не предполагало никаких промедлений.

Расставание двух вождей было более чем холодным.

«Марио отбыл, — констатирует Роландо, — не назначив даты следующей встречи».

Следующей встречи просто не могло быть.

Вечером, после отбытия Эстанислао, когда остались только свои, герилья начала праздновать наступление Нового года и годовщину кубинской революции. Таня привезла с собой из Ла-Паса небольшой кассетник и записи музыки с Радио Гаваны... Одной этой кассеты было достаточно для того, чтобы провалить всю конспирацию. Нашлись у нее и подарки для каждого бойца: платки, конфеты, разные мелочи. Пели, поднимая тосты,

Таня была центром общего веселья и радости. Великолепный хор, двадцать пять мужских голосов и один женский, звучал в ту ночь из темной сельвы... Фотографировались со вспышкой на территории лагеря и в лесу, все эти фотографии позднее попали в руки боливийской армии. Слушали по радио большую праздничную речь Фиделя Кастро.

«В своей речи он косвенно упомянул о нас, — с удовлетворением отметил в дневнике Че Гевара, — и говорил так, что это обязывает нас к еще более высоким свершениям. Если только они возможны».

Пожалуй, это единственное патетическое место в его дневнике.

Таня уходила из лагеря под вечер 1 января, когда речь Фиделя Кастро уже приближалась к концу. Че Гевара поручил ей съездить в Аргентину (где Таня не была пятнадцать лет), вступить в контакт с руководителями аргентинских повстанцев и передать дону Эрнесто следующее письмо:

«Сквозь пыль из-под копыт Росинанта, с копьём, нацеленным на преследующих меня великанов, я спешу передать Вам это почти телепатическое послание, поздравить с Новым годом и крепко Вас обнять... Свои пожелания я доверил мимолетной звезде, повстречавшейся мне на пути по воле Волшебного короля...»

Под мимолетной звездой Че, по-видимому, подразумевал Иту Бунке. Странное впечатление производит это письмо, как будто посланное на нашу грешную Землю из другой вселенной, пронизанной снопами света из-под грозовых облаков, под которыми по нереально мелким холмам скачут нереально крупные всадники...

Но что за великаны его преследовали? От кого он, собственно, прятался? Кто заманил его в непролазные кусты Ньянкауасу?

«Некоторые люди, — пишет он сам, — склонны игрой своего воображения вызывать призраки и всевозможные сверхъестественные силы... Им видятся чудовищные армии там, где на самом деле лишь ходит военный патруль».

Вскоре после встречи Нового года произошла крупная неприятность: на «Каламину» с обыском нагрянула полиция. То ли отвергнутый кооператор Сиро Альгараньяс

ее навел, то ли в соседних «Озерках» пошли разговоры о массовом потреблении в «Каламине» съестного, но полицейские, ничего не объясняя управляющему Лоро, обшарили весь дом и очень огорчились, не найдя никаких компрометирующих материалов (за исключением великого множества канистр с керосином и пистолета, который Лоро держал при себе постоянно). Пистолет полицейские отобрали и, прощаясь, дали понять, что этот визит не последний.

«Что касается оружия, — сказал полицейский лейтенант, — то его вы сможете получить в нашем участке, в Камири. Если не хотите шума, обращайтесь прямо ко мне».

Судя по благодушному тону дневниковой записи об этом происшествии, Че Гевара не почувствовал, что над «Каламиной» сгущаются тучи и что лучше всего было бы срочно сменить зону действий герильи, а может быть, даже и страну. Кокаиновая тень, упавшая на «Каламину», не могла так просто исчезнуть: полиция, почуявшая возможность наживы (а наркобизнес в Боливии был не в новинку уже тогда, возле этого грязного источника теснились, повизгивая от счастья, согни толстых и ющих административных свиней), не поверила бы никому затишью, да и соседи-крестьяне, люди памятливые, недоверчивые и наблюдательные, не должны были уже спускать с подозрительного ранчо глаз, производство кокаина — дело опасное, а если в «Каламине» занимаются чем-то еще более опасным, то это уже сатанинское зло. Но для того чтобы рассуждать таким образом, нужно было хоть попытаться вникнуть в ход мыслей другого человека; Че Гевара, экономя свое внутреннее время, не делал этого никогда.

Тем не менее, чтобы интерес властей к «Каламине» пропал, Че Гевара счел за благо увести отряд дней на двадцать в тренировочный поход по окрестным горам и ущельям. Собственно, идея ознакомительно-учебного похода обдумана была Че Геварой давно, она в точности воспроизводила опыт кубинской герильи накануне Уверо и, в общем, была вполне здоровой, хотя в ней и проглядывала ретроспективная установка на повторение прошлого абсолютно, буквально, вплоть до мелочей.

«И вот на рассвете 1 февраля, — пишет Браулио, — с тюками по 50—60 фунтов у каждого, мы вышли в путь, общим числом 25».

Видимо, в отряде за этот месяц появилась еще одна небольшая группа новобранцев, потому что Коко, Лоро и несколько кубинцев остались в лагере под началом команданте Маркоса.

В первые дни похода все шло исключительно хорошо.

«Питаемся прекрасно,— рассказывает в своем дневнике Роландо,— перекус на привале, суп и кофе в полдень, утром — чай или горячий шоколад».

Отлаженное оружие, добротная амуниция, техническая оснащенность такая, о какой в Сьерра-Маэстре даже не мечталось: с авангардом и арьергардом Че Гевара переговаривался через систему «уоки-токи». Даже пара мулов, за которых Лоро заплатил две тысячи песо, вопреки ожиданиям, оказалась удачной покупкой: животные были смиренные и выносливые.

Вскоре, однако же, начались неурядицы. Уже 3 февраля во время переправы через реку на плоту неуклюжий Рубио (бывший замминистра сахарной промышленности Кубы) утопил рюкзак командира. Эту беду еще можно было пережить, но она открыла полосу невезения: начались проливные дожди, вчерашние ручейки разлились в широкие реки, совершенно не обозначенные на карте,— и как будто гигантский оползень сместил целые массивы гор... Короче, герильерос заблудились, как начинающие туристы. Неизвестные реки с совершенно одинаковыми обрывистыми берегами преграждали им путь — бывало, что по два раза в сутки, а всякая переправа, с постройкой плотов и с несколькими рейсами туда и обратно, занимала полдня, и при этом ни у кого не спросишь, что за река, куда течет и во что впадает: междуречья, совершенно не населенные, были покрыты такими густыми зарослями, что в голове отряда пришлось поставить группу мачетерос, которые прорубали просеку, меняясь каждые четыре часа.

Так, в тяжелых трудах, миновали двадцать дней, подходил срок возвращения в лагерь, но никто из бойцов, ни боливийцы, ни тем более «манильцы», — никто не знал, как далеко они от «Каламины» и сколько дней еще идти. Случилось неизбежное: продукты, которых, по всем расчетам, с избытком должно было хватить на месяц, расходовались в первые дни так неумеренно, что к концу февраля в рюкзаках оставался лишь неприкосновенный запас, и бойцы, как балованные дети, тайком от командира поворовывали оттуда и поедали в одиночку кто банку сгущенки, кто коробку сардин. Хорошо, что

богатая сельва не давала вооруженным людям пропасть: питались индюшатиной с гарниром из сердцевины пальмы корохо, случались, правда, дни, когда единственной добычей оказывались обезьянки. А уж попугаев было ощищено великое множество. Но сильнее, чем голод, изнуряло сознание того, что блуждание отряда по сельве совершенно бесцельно. И когда дожди кончились и удалось выбраться из плотных зарослей на открытые горные склоны, картина местности не стала яснее. Горы и ущелья, холмы и урочища казались одинаковыми со всех четырех сторон, им не видно было конца.

Общее уныние породило в отряде какие-то странные, плаксивые конфликты. В своем дневнике Помбо подробно рассказывает, как настойчиво Мбили (он же Папи и Рикардо, резидент герильи в Ла-Пасе, к Новому году пришедший в отряд) выспрашивал его, что говорит о нем Рамон, и жаловался, что с ним плохо обращаются, ему не доверяют, поручают ему самую черную работу, а в доверенных людях у Рамона ходят другие. Помбо разъяснял ветерану Конго, что у Рамона нет свободы выбора, он обязан отдавать руководящие посты членам ЦК, но безутешный Мбили все равно повторял:

«Нет, Рамон ко мне плохо относится и делает большую ошибку, потому что я один здесь полностью ему предан. Я бы отдал за него жизнь тысячу раз, потому что он наш учитель и вождь».

Че Гевара видел, чувствовал упадок духа в отряде и время от времени устраивал общий разнос.

Вскоре отряд потерял первого бойца: оступившись на обрывистом берегу, упал в воду и утонул боливиец Бенхамин. Все произошло настолько быстро, что, когда Роландо, шедший следом за ним, кинулся в воду, бедняга Бенхамин уже канул в небытие.

Эта бессмысленная смерть потрясла боливийцев и не прибавила им оптимизма: ведь о Бенхамине даже нельзя было сказать, что он пал в борьбе за счастье своего народа. Нелепая и в то же время неизбежная случайность: боливийцы не морской и не речной народ, плавать в большинстве своем не умеют, после стольких дней блуждания по обрывистым берегам кто-нибудь должен был оступиться. Судьба указала пальцем на Бенхамина, к кому она присматривается теперь?

17 марта во время переправы утонул боливиец Карлос. Вместе с Карлосом на плоту был Браулио, на быстрине плот перевернулся, и оба оказались в воде. Кубинец

доплыл до берега, а Карлоса унесло. На дне реки оказались также шесть рюкзаков со снаряжением и почти все патроны.

Отряд как боевая единица фактически перестал существовать и мог сделаться легкой добычей какой-нибудь полуроты правительственных войск. Боливийская армия, однако, еще и не подозревала о существовании герильи в зоне Ньянкаквасу.

Одной из главных целей похода было знакомство с местным населением, и на этом направлении результаты были еще более печальны. «Кто они, обитатели этих мест, за свободу и счастье которых партизаны пришли бороться сюда, преодолевая тысячи препятствий и опасностей?» — читаем мы у Гевары. Поистине лучше не скажешь. «Кто они, за свободу которых?..» — это мог, озираясь, спросить Дон-Кихот.

Выбравшись из безлюдных приречных зарослей на холмы, герильерос стали встречать крестьян, но общение с ними было сильно затруднено: местные жители, скуластые, смуглокожие, узкоглазые, как буряты, и мелко-рослые, совершенно не знали испанского языка.

«Обитатели этих мест непроницаемы, как скалы, — заключает Че Гевара. — И, глядя в глубину их глаз, видишь, что они не верят тому, что слышат... Они плохо понимают — или делают вид, что не понимают по-испански».

Да и формы контакта с крестьянами еще нужно было продумать. Сельский житель чуток к фальши, его слишком часто обманывают, особенно горожане, а сам он если кем и притворяется, то только простаком.

«Выдав себя за помощника Инти, я разговаривал с крестьянами, — пишет Че. — Думаю, комедия была не особенно убедительна — из-за вежливости, с которой Инти обращался ко мне. Крестьянин — типичный: не способен ни помогать нам, ни предвидеть опасности встречи с нами, а потому сам потенциально опасен. Дал сведения о местных жителях, которые нуждаются в уточнении, поскольку доверия к его правдивости нет...»

По сути дела, это был первый контакт Че Гевары с человеком, за счастье которого он пришел бороться, не спросив его согласия и не поинтересовавшись даже, как он понимает слово «счастье». Звали этого крестьянина Рохас, именно ему суждено послать на гибель Таню.

«Разведка набрела на два дома, один брошен хозяевами, там реквизировали мула. в другом натолкнулись на нежелание сотрудничать, пришлось прибегнуть к угрозам».

Дом брошен был не случайно: хозяин спрятался, не успев даже угнать скотину, когда увидел выходящих из леса вооруженных людей. Что же касается угроз, то это негодный метод обращения с бедняками: разумеется, они беззащитны и привыкли повиноваться, угрожает им всякий, кому не лень, право карать и миловать они с готовностью признают за любым, у кого есть власть и оружие. Но таким способом можно добиться лишь покорности, а не сотрудничества. Энгельс говорил, что «насилие есть только средство, целью же является, напротив, экономическая выгода... насилие не в состоянии делать деньги, а в лучшем случае может лишь отнимать сделанные деньги, да и от этого не бывает много толку...». Какую же выгоду мог предложить Че Гевара тому крестьянину, в страхе покинувшему свой дом? Из укрытия крестьянин глядел на волосатых, увешанных оружием бродяг, угоняющих его мула, с тем же чувством, с каким его предки, должно быть, глядели на братьев Писарро.

На Кубе один лишь Че Гевара был настоящим «фрэнчи», он притерпелся к этому состоянию и перестал его ощущать. Но это вовсе не означало, что все остальные тоже перестали видеть в нем чужака.

«Шайка разбойников, — учил он будущих партизан, — имеет как будто бы все признаки герильи: тут и монолитность, и уважение к атаману, и смелость, и знание местности, а зачастую даже правильно применяемая тактика. Не хватает ей только поддержки народа, и именно поэтому власти всегда смогут выловить или уничтожить такую шайку... Полное взаимопонимание с населением и отличное знание местности...»

Смысла нет продолжать. Удивительное дело: человек с острым, скептическим взглядом, Че Гевара трезво видит реальность — и как будто смотрит сквозь нее.

«Изображая охотников, Инти и Рикардо вошли в воду, Инти чуть не захлебнулся, Рикардо его вытащил. Наконец, привлекая всеобщее внимание, они вышли на противоположный берег».

Неловкие и всем чужие, привлекающие всеобщее внимание своим неуклюжим притворством, герильерос возвращались из мучительного похода, который продолжался вдвое дольше, чем они предполагали. А в это самое время седобородый команданте Маркос, начальник гарнизона «Каламины», встревоженный столь долгим отсутствием отряда, бродил по окрестностям и, допытываясь у крестьян, не видали ли они поблизости вооруженных

людей, так же неуклюже выдавал себя за мексиканского инженера — с винтовкой «брно» за плечом.

До лагеря оставались считанные километры, но и силы были уже на исходе. Дичь не попадалась, ели конину. Послали вперед Роландо, как самого молодого и быстрого, чтобы навстречу отряду вышли люди Маркоса с провизией, иначе до «Каламины» не дойти... И 19 марта радостная встреча произошла. За время похода Че Гевара потерял двадцать килограммов веса. Впрочем, остальные выглядели не лучше.

«Три дня мы ничего не ели,— сообщает Браулио,— и вот организм подкрепился».

Новости, принесенные из «Каламины», были очень тревожными. В лагере собралась целая толпа новых людей: вождь боливийских горняков Мойсес Гевара — с отрядом из двадцати человек, аргентинец Бустос, по кличке Пеладо (художник-любитель, мечтающий возглавить герилью на севере Аргентины), геополитик Режи Дебрэ (Француз или Дантон), перуанец Чино. Словом, в отсутствие Че Гевары в лагере возникла целая интербригада, около тридцати человек. Бустос хотел побыть какое-то время в боливийском очаге, присмотреться и установить связь с аргентинскими вооруженными группами, действующими близ границы. Мойсес Гевара выполнил обещание привести подкрепление после карнавала. Близорукий, наивный и беспомощный школьный учитель Чино собирался создать очаг герильи в Перу, в районе Айякучо, на первое время ему нужны деньги, что-нибудь около пяти тысяч долларов в месяц, за деньгами он, собственно, и приехал... Не партизанский лагерь, а клуб дилетантов. Ну почему бы аргентинцу не рисовать, а перуанцу не обучать грамоте индейских детишек, внося тем самым посильный вклад в приближение будущего?

Но самой главной неожиданностью был приезд в «Каламину» Тани: после Нового года ей категорически запрещено было здесь появляться. Че Гевара буквально потерял дар речи, когда ее увидел. Как оказалось, Таня не знала, что Че в походе, и спешила доставить к нему Дантона, Пеладо и Чино, а кроме того, она привезла годоводные фотографии. Ну что на это можно сказать? Следовало примерно наказать ее и как можно скорее отправить обратно в столицу. Но беда заключалась в том, что двое рекрутов Мойсеса Гевары дезертировали и оба они видели Таню в лагере. Вот это была уже неприятность.

Дэниэль Джеймс пишет, что дезертиры Висенте и Пастор рассказали властям, как они были завербованы Мойсесом Геварой и привезены в Камири, как Мойсес объявил им, что они уже находятся на воинской службе, как затем они прибыли в «Каламину», и появилась молодая женщина в гимнастерке, в брюках, с автоматом в руках, и Мойсес сказал, что теперь они в ее распоряжении, и она приказала: «Пошли в шалаш». Там, в лесном лагере, в шалаше, им была выдана униформа. А потом они оттуда сбежали.

Для проверки всей этой информации в «Каламину» был послан военный патруль. Поскольку после дезертирства Висенте и Пастора в доме под цинковой крышей никого не осталось, солдаты потоптались вокруг и собирались уже уезжать, но в это время из зарослей близ каньона раздался выстрел — и один из патрульных был убит наповал. Это Лоро, то ли в порыве милитаристского восторга, то ли от нервной судороги, нажал курок... Солдаты проворно удалились, и обитателям ближнего лагеря пришлось срочно собирать вещи, прятать компрометирующие материалы и перебираться в лагерь «М-26».

Но в дальнем лагере спокойствия не было: команданте Маркос, выдававший себя за мексиканца, напугал местного крестьянина (вновь простое и древнее деревенское имя: Эпифанио, Епифан), тот рассказал о странной встрече своей жене, а жена поделилась с супругой офицера, в доме которого она прислуживала. Так сведения о вооруженном старике-иностранце дошли до военных, и солдаты, небольшими пока что дозорами, стали появляться у кладбища, в окрестностях лагеря «М-26». Нет ничего удивительного в том, что в лагере царил уныние, близкое к панике, и появление многочисленного, хотя и изнуренного отряда Че Гевары было встречено с ликованием.

«Мы прибыли в лагерь; мы заняли оборону, поскольку мы опасаемся, что армия поблизости», — в своей эконо- номной и очень симпатичной манере пишет Браулио.

Общая численность отряда составляла теперь, вместе с гостями, сорок семь человек. Но гостей нужно было срочно выводить из партизанского очага... Че Гевара еще не предполагал, насколько серьезно засвечена Таня. Мало того, что дезертиры видели ее с оружием в руках: свой джип Таня оставила в Камири, платном гараже, и, когда служба безопасности, заинтригованная рассказами Висенте и Пастора о прекрасной террористке, стала искать тех, кто видел эту женщину в Камири, обнаружилась

и Танина «тоёта», внутри которой найдено было множество интересных вещей. Главной добычей оказалась записная книжка Тани с адресами и телефонами. Выяснить по кругу лапасских знакомств, что книжка принадлежит Лауре Гутьеррес Бауэр, не составило особого труда, ну а то, что Тانيا и Лаура — это одно и то же лицо, установлено было, когда дезертирам показали фотографии Лауры Гутьеррес. На одной из них Лаура стояла между двумя бывшими сопрезидентами страны, Баррьентосом и Овандо. На квартире Лауры обнаружено было огромное количество магнитофонных кассет, и сотрудники службы безопасности почти сорок часов слушали напевы боливийских горцев, но не нашли в них ничего партизанского... В любом случае это был полный провал, и делать в Ла-Пасе Тане было больше нечего. Но о том, что «потеряны два года добротной и терпеливой работы», Че Гевара напишет в своем дневнике много позже, когда из сообщений правительственного радио узнает о раскрытии в Ла-Пасе всей его конспиративной сети...

На другой день после возвращения Че Гевара за утренним кофе в лагере «М-26» сообщил гостям, что отряд покидает лагерь и превращается в герилью-невидимку, а они должны разъехаться по своим местам. Тانيا вернется в столицу, Чино и Бустос — к своим партизанским очагам, а что касается Режи Дебрэ, то Че Гевара хотел попросить его поехать в Европу и передать письма Сартру и Расселу с просьбой начать сбор средств в помощь боливийскому освобождению. Но, предупредил Че, выбраться из зоны Ньянкауасу будет очень непросто, поскольку этот район наверняка уже окружен.

«У меня создалось впечатление, — записал Че в своем дневнике, — что мои слова не доставили Дантону никакого удовольствия».

Режи Дебрэ уже и не вспоминал теперь о своем намерении побыть в герилье и сделать о ней сногсшибательный репортаж, он заговорил о том, что возвращение в Европу совпадает с его желанием жениться и завести от любимой женщины ребенка. Эта непосредственность философа-геоглобалиста очень позабавила Че Гевару.

23 марта отряд правительственных войск, продвигавшийся к лагерю «М-26», попал в устроенную Че Геварой засаду, и в результате короткого боя шестеро солдат и крестьянин-проводник (тот самый Эпифанио, с которым беседовал команданте Маркос) были убиты, а еще четырнадцать, включая двух офицеров, оказались в парти-

занском плену. Это было, как пишут в наших книгах, «многообещающее начало борьбы Армии национального освобождения Боливии». Рассказывают, что во время боя из зарослей раздавался усиленный мегафоном женский голос:

«Солдатики, сдавайтесь! Ваше дело — неправое!»

«Пленные офицеры словоохотливы, — пишет Че. — Майор отказался вступить в отряд, но дал слово уйти в отставку из армии. Капитан показал, что пришел в вооруженные силы по приказу людей из партии и что его брат учится на Кубе; сообщил имена офицеров, готовых сотрудничать с герильей».

Не слишком доблестное поведение офицеров свидетельствует о растерянности: армия не ожидала натолкнуться в лесах Ньянкауасу на столь мощно вооруженную боевую группу. Дэниэль Джеймс придерживается мнения, что, если бы в этот момент Фидель Кастро оповестил мир о том, что в Боливии сражается сам Эрнесто Че Гевара, и если бы КПБ оказала герилье безоговорочную поддержку, боливийская эпопея могла бы завершиться иначе. Трудно с этим согласиться: местное крестьянство было равнодушно к герилье, не имевшей представления о его нуждах, имя Че Гевары ничего крестьянину-индейцу не говорило, а боевитые шахтеры, за годы Национальной революции привыкшие держать в руках оружие и имевшие своих командиров, вряд ли потерпели бы, чтобы ими командовали иностранные офицеры. Может быть, какая-то часть студенчества, привлеченная блеском имени Че Гевары, и пришла бы в отряд, но от этого герилья не стала бы всенародной.

Бой 23 марта был, по признанию самого Че Гевары, вынужденным и преждевременным. Если бы не серия ошибок (выстрел Лоро, неумная вылазка Маркоса), герилья оставалась бы в стадии выживания еще долгое время, накапливая силы и избегая соприкосновения с противником. Но, идя по следам «мексиканца», Эпифанио вел солдат прямо к лагерю «М-26», и в суматохе подготовки к засаде Че Гевара не успел даже распорядиться, чтобы лагерная территория была тщательно убрана. После боя лагерь пришлось спешно покинуть, и солдаты, в скором времени здесь вновь появившиеся, обнаружили фотографии, батарейки для вспышки, аргентинские и доминиканские боеприпасы, бутылки из-под кока-колы, женские дезодоранты, косметику и женское же нижнее белье, книгу из шахтерской публичной библио-

теки, любовное письмо, дневник Браулио и многочисленные карандашные наброски Бустоса, который рисовал своих новых друзей — «в стиле фаюмских портретов», с тонким юмором замечает Дэниэль Джеймс, подметивший его иконописную манеру, так соответствовавшую тревожно-мифологическому состоянию духа Пеладо.

Грохот выстрелов и пролитая кровь напугали боливийских бойцов отряда. Те, кто ходил в тренировочный поход, все еще оплакивали бессмысленную гибель Бенхамина и Карлоса и, увидев «манильцев» в деле, были потрясены их хладнокровием и боевой выучкой. Многие из боливийцев укрепились в убеждении, что совершили роковую ошибку и что для подобного рода деятельности они не годятся. Что же касается новобранцев Мойсеса, то это, в сущности, были люмпены, завербованные наспех и наугад, в тайну герильи их даже не посвящали (дезертирство Висенте и Пастора недвусмысленно об этом свидетельствует). Бой на лесной дороге открыл им глаза: они поняли, что вовлечены в опасное предприятие, а теперь еще и повязаны кровью.

Нет ничего удивительного в том, что сразу после боя произошел бунт. Коко приказал новобранцам перетаскивать снаряжение в тайники, но «шахтеры» повиноваться не желали: то ли тон, которым был отдан приказ, показался им слишком нервным, то ли они были раздражены, что ими командует кубинская марионетка. В некоторых комментариях наших авторов боливийцы-отказчики характеризуются как нестойкие бойцы, но, если разобраться, избранная ими линия поведения требовала куда больше стойкости, чем безропотное послушание и бег при первом же удобном случае.

В своем дневнике Роландо пишет, что на другой день Рамон созвал всех бойцов на митинг и подверг анализу битву 23 марта. Отметив, что Маркос — достойный и опытный боец, Рамон вновь перечислил ошибки Маркоса и назвал причину его неверных действий. Маркосу, сказал он, свойственна тенденция самонадеянно пренебрегать дисциплиной, и это ведет к необдуманному действию. Именно Маркос, побеседовав с Эпифанио, а затем позволив ему себя провожать, фактически привел солдат к лагерю «М-26». Рамон предложил Маркосу выбор: вернуться в Манилу или стать рядовым. Маркос предпочел последнее и был определен в арьергард. Далее Рамон сказал, что среди людей, приведенных Мойсесом, есть товарищи, которые не являются подходящим для герильи

человеческим материалом, поскольку они — подонки. Это Чинголо, Пепе и Пако. Они не желают носить тяжести, им не нужно оружие, они притворяются больными и так далее и тому подобное. Печальное дополнение к двум дезертирам из той же команды. Ну что ж, закон герильи суров: кто не работает — не будет есть.

«Когда мы перепрячем все наши вещи, — сказал в заключение Рамон, — так, чтобы эти подонки не знали, мы дадим им по несколько песо — и пускай идут куда хотят».

Легко сказать «куда хотят», это означает, что к двум дезертирам прибавится еще трое. И Че был вынужден отступить от принятого решения: он оставил отказчиков в отряде условно, присвоив им звание кандидатов в бойцы и лишив табака. К названным трем боливийцам причислен был еще и Эусебио, о котором Рамон сказал, что он вор, лжец и нытик, с ним будут обращаться так же, как и с другими «подонками».

Итак, отряд покинул лагерь «М-26» и отправился в новый поход. В авангарде под командованием Мигеля (капитан кубинской армии) шли одиннадцать бойцов (трое кубинцев и восемь боливийцев), в основной группе, под началом самого Че Гевары, — четверо гостей и восемнадцать бойцов, среди них — семеро боливийцев. Арьергард вел Хоакин (четверо кубинцев, пять полноправных боливийских бойцов и четыре «подонка»).

Таня в отряде была на особом счету. Командир предупредил, что любому, кто во время привала приблизится к ее гамаку, грозит смертная казнь. Как и всякая женщина, Таня обшивала и обстирывала своих товарищей, насколько это было возможно в условиях похода, который похож был на поспешное отступление. Долгие переходы по гористой местности ее изнуряли, но первое время она старалась держаться наравне с мужчинами. Даже писала стихи, сохранившиеся среди прочих бумаг в ее рюкзаке.

Оставить память после себя,

Букет цветов, обреченных увянуть.

Ничто будет имя мое, ведь так?

«Ничто» — это значит, что жизнь бесследна.

Так пусть хоть песни, букет цветов,

Если ростка на Земле не осталось...

Судя по наброскам, найденным агентами секретной службы в ее нищей лапасской квартире, Таня собиралась

писать книгу о песнях боливийских горцев. Можно предположить, что это была бы хорошая и нужная книга...

Постепенно, однако, товарищи стали замечать, что Таня, прежде неутомимо веселая, стала погружаться в глубокую, беспросветную депрессию. Может быть, она переживала свой провал, о масштабах которого она могла судить лучше, чем кто бы то ни было. А может быть, над ней тяготело предчувствие... Долго скрывала она от товарищей, что ей неможется. Но вот на пути к местечку Белья-Виста обнаружилось, что у нее жар и что идти дальше она не в состоянии.

«В тот день, — участливо пишет Дэниэль Джеймс, — Че совершил одну из самых тяжких ошибок в своей партизанской карьере. Он приказал Хоакину оставаться вблизи Белья-Висты в течение трех суток и ждать возвращения отряда. Мы можем только гадать, почему Че отдал такой приказ и оставил его с двенадцатью бойцами. В своем дневнике он так и не объяснил, с какой целью он разделил свой и без того маленький отряд на две части...»

Любопытный феномен: изучение чуждой жизни не проходит бесследно. Орнитолог, берущий в руки живую, горячую птицу, сам в какой-то степени, хочет он этого или нет, становится птицей: мысленно обрастает ее перьями и глядит окрест себя ее темными немигающими глазами... но никогда не становится птицей настолько, чтобы понять простые и важные вещи, простые — для птицы, важные — лишь для нее.

В группу Хоакина кроме Тани и еще одного захворавшего краснобородого команданте Алехандро были включены и четверо отказчиков. Это значит, что в распоряжении Хоакина оставалось только шестеро боеспособных партизан, включая перуанского врача по кличке Negro, попечению которого Че Гевара и вверил свою «мимолетную звезду Волшебного короля».

С тяжелым сердцем Че Гевара уходил в сторону Белья-Висты, оставляя в зарослях маленький отряд Хоакина. Но что делать: главной его целью было как можно скорее вывести из зоны герильи троих иностранных гостей: Дантона, Пеладо и Чино.

Через трое суток Че не вернулся, больше ему с Таней не суждено было встретиться на этой Земле. «И в добрый час они потеряли друг друга, — словно спохватившись, с воодушевлением спортивного комментатора продолжает свой рассказ Дэниэль Джеймс. — Это конечно же дало прекрасный шанс армии».

В составе вооруженных сил Боливии в те годы числилось около двадцати тысяч человек: для страны, по территории вдвое превышающей Францию, не успевшей еще избыть горечь военных поражений и к тому же являющейся объектом недобрых устремлений, вплоть до раздела между сильными, удачливыми соседями, — для такой страны эта армия была не слишком велика. Однако всерьез сопоставлять силы Баррьентоса и Гевары (да еще представлять их как равных соперников, что делает Дэниэль Джеймс) более чем некорректно. На Кубе у Батисты имелось сорок тысяч штыков, а Повстанческая армия к началу победоносного наступления на города насчитывала тысячу двести бойцов, к которым можно приплюсовать отряды народной милиции и городские подпольные группы: здесь можно говорить о каком-то соотношении сил, о перевесе той или иной стороны, с учетом настроений военнослужащих и населения. В Боливии же речь шла всего о двух вооруженных группах, бродивших по зарослям, одна на северном, другая на южном берегу Рио-Гранде, и не имевших связи ни с местным населением, ни с другими антиправительственными группировками в стране, ни даже между собою. Расколыхать чужую страну, развязать в ней гражданскую войну тех масштабов, которые были на Кубе, Че Гевара не имел никакой возможности. Имелись и другие различия между Кубой и Боливией. Батиста сидел в президентском дворце почти семь лет и успел-таки снискать сосредоточенную неприязнь большей части своего народа, у Рене Баррьентоса, совершившего изменнический переворот всего лишь два года назад и ставшего единовластным президентом за восемь месяцев до первых выстрелов герильи, такого времени не было, осточертеть боливийскому народу он еще не успел. Конечно, свержение клятвоступника вооруженной рукой было бы актом возмездия. Однако нужно заметить, что между странами и несправедливости и установлением справедливости нет знака равенства, о чем большинство благодетелей человеческого рода, как правило, не догадывается: им представляется, что свержение узурпатора дает лицензию на переделку всей жизни от начала и до конца, и, даже если, совершив правое дело, мятежник уходит, не требуя ничего взамен, обыкновенно в скором времени он возвращается, чтобы начать творить собственное зло.

Удачная для герильи засада 23 марта встревожила генерала Баррьентоса: он мог только гадать, какая сила затаилась в зеленой сельве Ньянкауасу. В драматическом обращении к нации Баррьентос призвал боливийцев «сплотиться в борьбе против местных и иностранных анархистов, получающих оружие и деньги от Кастро». Присутствие на территории Боливии Эрнесто Че Гевары президент категорически отрицал:

«Я не верю в привидения. Че Гевара давно уже на том свете, он пал жертвой кастровских репрессий».

Не исключено, что Баррьентос так говорил, не желая усиливать легенду, необходимую любой герилье. Как бы то ни было, сразу после 23 марта генерал ввел военное положение в пяти южных провинциях страны (газетчики тут же окрестили этот район «Красной зоной», и у автора этих строк в те времена создалось впечатление, что на юге Боливии бушует огромное партизанское море). Бывший военный летчик, президент лично совершил над «Красной зоной» полет на двухместном учебном самолете (возможно, с дублированным управлением): этот полет носил не столько разведывательный, сколько пропагандистский характер. «Сирота» вообще любил дешевые эффекты. Авиация бомбила район Ньянкауасу, наугад обрабатывала сельву напалмом.

Обеспокоились и соседи Боливии: в Ла-Пас для изучения проблемы континентального очага прибыли военные миссии Аргентины, Бразилии и Парагвая. На военном аэродроме города Санта-Крус приземлился ДС-6 с оружием, боеприпасами и амуницией из Буэнос-Айреса. Аргентинские войска были подведены к боливийской границе.

По просьбе Баррьентоса увеличили военную помощь Боливии и Соединенные Штаты. Шестнадцать североамериканских инструкторов, специалистов по противопартизанской войне, отобрав около тысячи боливийских солдат и сформировав из них два батальона рейнджеров (Дэниэль Джеймс называет эти формирования «элементами МАП»: аббревиатура «милитари эссистэнс програм»), начали их тренировать по ускоренной программе. В Камири обосновалась группа офицеров армии США из состава «зеленых беретов» с вьетнамским опытом, среди них были полковник и два капитана. Однако о прямом вовлечении вооруженных сил Соединенных Штатов (на что, главным образом, и рассчитывал Че Гевара, понимавший, что только прямое противоборство с интервентами-янки сделает его герилью континентальной) се-

вероамериканцы не желали и слышать: им вполне хватало одного Вьетнама.

Выполняя условия своего ангажемента, Дэниэль Джеймс настойчиво внушает читателю, что армия Баррьентоса являлась подлинно народной армией, имела глубокие корни в крестьянской среде, пользовалась всенародной поддержкой и ей не хватало лишь опыта и экипировки, чтобы своими силами справиться с Че Геварой. Да, действительно, в правительственной армии служили те же индейцы, крестьянские сыновья, прихода которых в герилью так ждал — и не дождался — Че Гевара. Стройбаты правительственной армии, ремонтировавшие в сельской местности дороги, находились в тесном контакте с местными жителями, которые по-крестьянски жалели и подкармливали солдатиков. Нередки были родственные и просто сердечные связи между военнослужащими и женщинами из крестьянских семей. Об этом просто и лаконично пишет в своем оборвавшемся 23 марта дневнике Браулио:

«Еще один крестьянин. У него есть брат, зажиточный хозяин, его дочка гуляет с армейским офицером. В этом доме мы ели пирожки с мясом, жареную свинину, спелые бананы и сахарный тростник».

А ведь хозяин, так щедро угощавший вооруженных странников, мог рассказать об этом брату, а тот послал бы дочку в гарнизон. Нередко так и случалось, что очень огорчало Че Гевару. Но в точно таких же отношениях с сельским населением находились и «касцитос» Батисты — до той поры, когда они начали грабить и жечь дома поселян.

День, когда Че Гевара разделил у Белья-Висты свой отряд, и в самом деле стал роковым для герильи: с этого дня началась полоса сплошных неудач и потерь. Неподалеку от Белья-Висты бойцам Че Гевары повстречался странствующий англичанин, который назвался журналистом, и попросил у командира интервью. Че не стал предъясняться прессе и выдвинул вместо себя Инти, который ответил на все вопросы англичанина и позволил себя сфотографировать. Когда церемония была закончена, Режи Дебрэ, не скрывавший своего стремления уйти как можно скорее и как можно дальше опасных мест, изъявил желание остаться с англичанином, чтобы под этим международным прикрытием оторваться от отряда. Подумав, Че согласился и распрощался с Дантоном, а заодно и с Пеладом. Однако той же ночью оба гостя

герильи были схвачены солдатами. Чуть позже в стычке с патрулем был ранен в ногу и взят в плен живым боливец Лоро, судьба уготовила ему мученическую смерть. Затем погиб комиссар «манильцев» Роландо. Че очень горевал: этот маленький смелый солдат был ему верным товарищем со времен Сьерра-Маэстры. Че собирался послать его с группой бойцов в другую зону Боливии, с тем чтобы Роландо открыл там второй фронт.

«Мы окружены двумя тысячами солдат, — записал Че в своем дневнике. — Радиус окружения — около ста двадцати километров, и круг, обрабатываемый напалмом, сужается».

Все дальнейшее стало тягостным, долгим, запутанным сном — с той только разницей, что в конце его не брезжил свет пробуждения...

Как раз в те дни в Гаване было предано гласности грозное и возвышенное обращение Че Гевары к народам мира. Написанное в конце 1966 года, это обращение содержало призыв «создать два, три... много Вьетнамов» и в глобальной схватке разгромить великого врага человечества — североамериканский империализм. Радио Гаваны передало обращение Че лишь 17 апреля 1967 года. Одновременно в кубинских газетах появились семь фотографий Че Гевары, сделанных уже в боливийском очаге. Страна пребывания Че Гевары, однако же, не была названа. Тем не менее впечатление, произведенное на Латинскую Америку, было потрясающим. Невидимый, незримо присутствующий в любой стране континента, Че Гевара, словно тысячеликий бог, громовым голосом вещал с сияющих вершин своей герильи, призывая братьев по духу к жестокой войне.

История, по Шпенглеру, есть образ известной души. Тяжелый занавес из душевного бархата колыхнулся — и мы заглянули в ту гулкую вселенную, окутанную клубами белого дыма, заваленную телами и озаренную снопами яростного света, в ту страшноватую вселенную, которую Че Гевара до конца дней носил в своей душе. Апофеоз нетерпимости? Да, но нетерпимость — вторична, за ней — неразрешимое противоречие между бесконечностью жизни и смертностью отдельного человека.

Слушая эту речь, никто не мог даже вообразить, в каком глубоком и мрачном одиночестве находится вождь континентальной герильи.

«Друзья называют меня «новый Бакунин», — пишет Че, расшифровав очередную радиограмму из «Манилы»,

где сообщалось о том, как эта речь была воспринята в Чехословакии. — Они сожалеют о пролитой крови, равно как и о той, которая еще не пролилась, но может быть пролита в случае трех или четырех Вьетнамов...»

Это еще мягкая, элегическая реакция, в дальнейшем, по мере ухудшения положения, Че начинает раздражаться:

«Одна будапештская газета критикует Че Гевару, фигуру патетическую и, похоже, безответственную, и приветствует марксистскую деятельность Чилийской партии, которая перед лицом практики предпринимает соответствующие практические действия. Как мне хотелось бы прийти к власти — для того лишь, чтобы разоблачить трусов и лакеев всех мастей и швырнуть им в рожи их собственную мерзость...»

В той тьме и духоте, которая вокруг него сгущалась, Че Гевара искал и находил проблески света — в большинстве случаев кажущиеся, призрачные сполохи на ночном горизонте.

Уходя от преследователей по оставленному ему коридору шириною до ста километров, Че Гевара вновь и вновь возвращался в зону Ньянкауасу, бродил от лагеря к лагерю, заглядывал в разоренные солдатами тайники и все надеялся повстречать Хоакина — и Таню. Но словно заклятье тяготело над двумя маленькими отрядами: пока Че Гевара шел по южному берегу Рио-Гранде, Хоакин продвигался по северному и переходил на южный берег только тогда, когда Че Гевары там уже не было.

Нужно быть по-черному несправедливым, чтобы истолковать метания Че так, как это делает Сальгадо: «Подобно всем реформаторам, Че обуреваем манией преследования. Люди больших внутренних конфликтов охвачены своей собственной чувствительностью, вот почему их охватывает лихорадка, их носит из одного места в другое...» Че никогда не был реформатором, и внутренние конфликты его не терзали: как раз наоборот, он принадлежал к счастливой породе людей, которые в ладу с самим собой. И мания преследования, проистекающая из панической боязни за свою драгоценную жизнь, Че Гевару не мучила: он столько раз умирал, что давно уже перестал бояться небытия. Не мог он убежать от самого себя — и потому бежал не «от», а «к», всегда по направлению к чему-то. Вспомните его гватемальскую шутку: «Бегу туда, куда стреляю». И здесь, в «Красной зоне», он не спасался от преследовавших его «элементов МАП», а стремился

к Тане. Таня, Танатос, девственно чистые странички ее дневника, белое безмолвие смерти... странно, что Сальгадо упустил такую возможность.

Несправедливо и отождествление Че Гевары с блуждающим террористом, таким «новым Бакуниным». Авантюристическая романтика на острие смерти, романтика битвы и крови, о которой пишет Эрнст Юнгер, была Че Геваре чужда, он вообще по возможности старался не проливать крови. Вселенная его кажется порождением милитаристского бреда, но вся она, с дымом, светом и «квотами смертей», размещена внутри него и имеет очень малый выход наружу.

«Пачо подстрелил двух безоружных солдат, приняв их за авангард противника: одного ранил в ногу, другого в живот. Объяснил, что не остановились на окрик, а они, должно быть, не слышали. Действия Пачо нехороши: он очень нервный».

«Прошел грузовик с двумя солдатиками и несколькими бидонами, легкая добыча... Не хватило духу в них стрелять, закутавшихся в кузове в одеяло, а как перехватить грузовик по-другому, я не сообразил, и мы дали им проехать».

Какой террорист, из числа борцов за счастье народов, упустил бы такую добычу? Куда кровожаднее оказываются сторонние комментаторы. «Этот месяц был наименее удачным в отношении военных действий,— читаем мы в нашей, отечественной книжке.— В единственной стычке с противником партизаны ранили только одного солдата». Какая жалость, что только один индеец, крестьянский сын, остался в итоге калекой!

«Пленных отпустил на другой день,— записывает Че в дневнике, добавляя коротко: «Превиа чарла», что означает: «Сперва побеседовав».— Отобрали у них сапоги, обменяли одежду на ношеную, а лгунов отпустили в подштанниках».

Даже Дэниэль Джеймс, долгом своим почитавший преувеличить опасность, угрожавшую «сироте» Баррьентосу, признает: «Как командир герильи в Боливии, Че примечательно неагрессивен. Без видимой цели он бродит возле нефтяных полей, главных транспортных артерий, линий связи и ЛЭП, игнорируя возможность разрушать сооружения и уничтожать боливийских солдат, а его обыкновенные отпускать живых и невредимых пленных целыми подразделениями не имеет параллели в истории партизанских войн...»

Идея может быть, оказывается, агрессивнее человека, который пытается претворить ее в жизнь. С этим феноменом человечеству еще не однажды придется столкнуться...

Рыцарское великодушие к неприятелю странным, но очень гармоничным образом сочеталось в действиях Че с тактикой террора по отношению к крестьянам, то есть к тем людям, за лучшую долю которых он прибыл сюда воевать. Этот разрыв в сознании для мятежников вообще характерен: в основе его — обида на простых людей, не понимающих своего счастья. Безразличие боливийских индейцев очень угнетало Че Гевару. За сотрудничество (а точнее, за транспортные и прочие услуги) Че платил крестьянам по десять долларов в день: сумма, нужно сказать, в тех условиях немалая. И все равно очень многие отказывались. Таких отпускать было нельзя (непреренно выдадут), приходилось уводить их с собой в качестве то ли заложников, то ли пленников, с единственной целью — отвести их как можно дальше от родных мест, чтоб им стоило труда добраться до своей деревни. В этом, собственно, и заключался весь террор Че Гевары.

«За короткое время собралась у нас целая колонна пленных, не испытывавших ни малейшего страха, пока одна старушка не начала кричать, вместе с детьми, требуя, чтобы ее отпустили, и ни Пачо, ни Помбо не решились задержать ее, когда она пустилась бежать по дороге».

Нужно сказать, что время от времени какие-то сигналы извне все же прорывались во внутренний мир Че Гевары и ему начинало смутно казаться, что в положении непрощеного борца за счастье людей, которые знать его не хотят, есть что-то двусмысленное.

«В Ипитасито захватили лавку и взяли на 500 долларов товаров, которые передали двум местным крестьянам, проведя очень церемонный акт... В Итаи были хорошо приняты в одном доме, который, как оказалось, принадлежал хозяйке той самой лавки, договорились о ценах. Я вступил в спор — и, похоже, меня узнали; был у них сыр, немного хлеба, кофе, нам предложили все это, но была в приеме фальшивая нота...»

Сквозь этот скупой, как и положено дневниковой записи, текст проступают сразу два лица Че Гевары: первое — смущенное, с губами, вытянутыми в трубочку, как будто он собирается свистнуть (это когда он произносит слова «очень церемонный акт»), и второе — с напряженным и вопрошающим взглядом: так узнали или не узнали? Факт его присутствия в Боливии пока еще никем

официально не был признан, и для местных жителей он был всего лишь лекарем бродячей шайки, Фернандо-зубодером.

То, что присутствие Че Гевары в Боливии так долго замалчивалось, Дэниэль Джеймс ставит в вину Фиделю Кастро. Именно Кастро, по его понятиям, должен был оповестить весь мир о местонахождении Че, не уступая это право Баррьентосу, которому мало кто верил.

И в самом деле, признание, сделанное в конце концов президентом Боливии, в череде его деклараций прошло почти незамеченным.

«Баррьентос провел пресс-конференцию, в которой признал мое присутствие, но предрек, что через несколько дней я буду ликвидирован. Высказал обычную серию нелепостей, называя нас крысами и гадюками, и подтвердил свое намерение наказать Дебрэ».

Да, Дантон, поспешивший уйти из отряда в компании с сомнительным англичанином, попал в переplet. Власти решили сделать из него злодея № 1, резидента международной террористической организации, и все попытки француза настоять на том, что он всего лишь независимый журналист, были категорически отвергнуты: не он ли разъезжал по стране в прошлом году, выбирая место для лагеря террористов? Не его ли двое перебежчиков видели в расположении герильи с оружием в руках? Шумиха вокруг несчастного Дантона нужна была Баррьентосу для того, чтобы создать видимость успеха противопартизанской борьбы и затушевать тот факт, что сам Че Гевара по-прежнему гуляет на свободе. Баррьентос патетично объявил, что, хотя смертная казнь в Боливии отменена, для такого ужасного злодея, как Режи Дебрэ, он не видит иного наказания, кроме этой исключительной меры. Дантону был предъявлен целый пакет обвинений: в убийствах, нанесении увечий, грабежах, подстрекательстве к мятежу, шпионаже...

«Передали сообщение, что Дебрэ будет судить трибунал в Камири — как предполагаемого вождя и организатора герильи: его мать прибывает сегодня, и вообще вокруг этого дела достаточно шуму».

В этой записи Че Гевары сквозит легкая ревность: с каких это пор Дантон стал вождем и организатором? Ясно, что страдает француз не по чину. Ясно также и то, что смертной казнью его только пугают: не станет Рене Баррьентос казнить гражданина Франции, судьбой которого заинтересовался лично генерал де Голль.

Между тем силы отряда таяли. Ранен Помбо, в мучениях скончался раненный пулей в живот Тумаини...

«С ним от меня ушел неразлучный мой друг всех последних лет, истинно верный и испытанный, его отсутствие ощущаю теперь как потерю сына...»

По искренности чувства этой записи в дневнике нет равных: обыкновенно Че избегает высоких слов.

Удушающее безмолвие сгущается. Вышел из строя радиопередатчик: теперь Че Гевара может лишь принимать шифрованные сообщения из «Манилы», сам же обречен молчать... В стычке с «элементами МАП» у реки Морока смертельно ранен Мбили, ранен Пачунго, погиб боливец Рауль (пуля попала ему прямо в лицо).

«Впрочем, Рауль был плохим бойцом и работником, но отличался постоянным интересом к политическим проблемам...»

Отступая, партизаны бросили миномет, потеряли одиннадцать рюкзаков с провизией и боеприпасами. В одном из рюкзаков остались книги Троцкого и Режи Дебрэ — с пометками Че Гевары. Пропали бинокль и магнитофон... Последняя потеря была особенно чувствительна, потому что только по магнитофонной записи можно было расшифровывать послания из «Манилы». Теперь радиоприемник годится лишь для того, чтобы слушать новости и развлекательные программы.

«Солдаты стали очень наглыми», — коротко записывает Че.

В июле, перехватив на шоссе грузовик, люди Че Гевары прибыли в городок Самаипата, к изумлению местного гарнизона, который, произведя несколько выстрелов, в панике разбежался. Десять солдат во главе с лейтенантом были взяты в плен, у них забрали всю одежду — и отпустили нагишом восвояси. Название «Самаипата» вышло на первые полосы всех крупнейших газет мира. «Некоторые элементы в международной печати, — замечает Дэниэль Джеймс, — преувеличили это событие до размеров грядущего боливийского Армагеддона». Действительно, при желании Самаипату можно было рассматривать как начало конца режима Баррьентоса: Че Гевара приступил к захвату городов. Дошла эта новость и до Москвы. Всплеск ожиданий был большой, как будто на горизонте забрезжило решение всех наших проблем. Многим сведущим людям представлялось, что недалек тот час, когда железные легионы Че Гевары, мерной поступью маршируя по Андам и Кордильерам, пройдут

через весь континент. Что же касается так называемых простых советских людей, то геоглобализмом они уже были сыты по горло: вьетнамская война, тяжкая ссора с Китаем, шумная июньская победа израильтян сразу над тремя арабскими государствами убедительно свидетельствовали о том, что в мире все идет не так, как нам бы хотелось...

Вступая в Самаипату, никакой долгосрочной военной цели Че перед собою уже не ставил: сил у него было слишком мало не только для того, чтобы удержать городок, но даже для того, чтобы перерезать шоссеиную дорогу. Очень расстроен он был тем, что ни в аптеке, ни в больнице Самаипаты не нашлось адреналина и ингаляторов: приступы удушья, вне всякого сомнения, связанные с нарастающим чувством безнадежности, все учащались.

«Последнюю инъекцию сделал второго августа. Остались таблетки — их хватит на пять дней... Внутривенные инъекции новокаина — не помогают».

В тайниках на берегу Ньянкауасу (под условными названиями «У медведя» и «Каменный ручей») были спрятаны медикаменты, и Че послал туда Бенигно в сопровождении двух боливийских бойцов. Дэниэль Джеймс делает ему за это мягкий выговор: нельзя так рисковать, три жизни поставлены под угрозу, и силы отряда серьезно ослаблены... Вернулся Бенигно с пустыми руками: оба тайника, тщательно замаскированных и не известных никому из дезертиров, оказались разграбленными, а в убежище «У медведя» вообще расположился отряд рейнджеров в количестве 150 человек. И никаких следов Хоакина...

А отряд Хоакина в это время завершал свой жизненный путь. После ухода Че Хоакин долгое время держался вблизи условленного места воссоединения, делая короткие переходы и устраивая дневные привалы в зарослях. Однако появление в окрестностях Белья-Висты солдат заставило его отойти. Вертолеты выслеживали его отряд с воздуха, самолеты бомбили сельву в тех местах, где партизан видели местные жители. Сдался в плен и был убит рейнджерами боливиец Пепе, погибли, отправившись к крестьянам за продуктами и полав в засаду, Маркос и еще один боливиец — Виктор. Сбежали двое отказчиков: не совсем ясно, зачем Хоакин водил их за собою по сельве. Да, они знали условленное место встречи с Че Геварой, но и для солдат это вряд ли теперь было секретом. Можно себе представить, как перешептывались «подонки» на прива-

лах, с какими оскорбленными лицами выполняли требования Хоакина... Отстал и бесследно пропал Серапио, погиб Педро (оба боливийцы).

Командование боливийской армии выработало наконец общий план ликвидации очага гериллы, а точнее, два плана, для зоны к северу от Рио-Гранде (операция «Парабаньо») и для южной зоны (операция «Синтия», по имени дочери президента). Че Гевара, долго разыскивавший Хоакина в зоне «Синтии», затем перешел Рио-Гранде и оказался в районе «Парабаньо», а в это время Хоакин покинул северный берег и перешел на юг, в зону «Синтии». Следы двух отрядов пересеклись близ ранчо того самого крестьянина Рохаса, с которым в свое время беседовал Че. Но только отряд Че Гевары пришел туда 1 сентября, а Хоакин — на день раньше.

Голодные, босые, с ногами, сбитыми в кровь и обмотанными тряпками, бойцы Хоакина хотели купить у Рохаса теленка и, оставив ему деньги, отошли на дневной привал в ближний лес. Как только они скрылись из виду, Рохас отправился в расположение Второго батальона «элементов МАП» и рассказал о пришельцах капитану Варгасу. Обдумав положение, капитан приказал крестьянину провести гостей к броду Вадо дель Иесо, поскольку они дали Рохасу понять, что собираются переходить через Рио-Гранде. Своих солдат смысленный капитан расположил в зарослях на противоположном берегу и стал ждать. Позднее он охотно рассказывал, почему выбрал именно такой план действий:

«Мы знали, что они в пиковом положении. Голодные, обессилевшие, боеприпасов мало. Они открыто обсуждали свои планы в присутствии Рохаса».

Ближе к вечеру, в шестом часу, Рохас привел людей Хоакина к броду, попрощался с каждым за руку (так, во всяком случае, рассказывают солдаты, видевшие это с противоположного берега) и степенно ушел. Хоакин отдал приказ начинать переправу.

Дэниэль Джеймс удивляется, как это Хоакин, старший инструктор школы командос, не послал вперед разведку или хотя бы не пустил своих солдат к воде поодиночке. Видимо, от изнеможения и общей подавленности бойцам его отряда — да и ему самому — было почти все безразлично, бдительность притупилась. Отряд переходил реку «индейской цепочкой». Первым с мачете в руках в воду вошел Браулио. за ним — Алехандро. Таня шла третьей: худенькая блондинка (краска Лауры Гутьеррес

с ее волос сошла) в светло-зеленой кофточке и солдатских брюках маскировочной расцветки, за плечами — вещмешок и автомат. Браулио уже дошел до противоположного берега, повернулся спиной к зарослям, чтобы посмотреть, как идут товарищи, — и тут с обрыва загремели выстрелы. Браулио упал. Таня не успела даже вскинуть оружие: пуля попала ей в грудь, и течение, в этом месте довольно бурное, унесло ее прочь от этого страшного места. Поняв, что ответных выстрелов не предвидится, «элементы МАП» высыпали на песчаный берег и с азартными криками принялись добивать всех, кто еще шевелился в воде. Спрятался в прибрежных кустах (и позднее был взят в плен живым) лишь боливиец Пако. Перуанского врача Негро нашли в зарослях с собаками, и санитар его застрелил. Операция капитана Варгаса, надо сказать, не блистала благородством...

Тело Тани было найдено лишь через неделю. Хоронили ее в Валье-Гранде, на скромной христианской церемонии присутствовал сам президент Рене Баррьентос, лично знавший разведчицу герильи. «В Валье-Гранде у Тани не было родственников, — рассказывает Сальгадо, — но время от времени на ее могиле появлялись цветы и зажженные свечи...»

Славная победа двадцатитысячной боливийской армии над десятком загнанных бойцов герильи получила шумную огласку: как же, уничтожена почти треть армады Че Гевары. «Счастье повернулось к Баррьентосу», — серьезно пишет Дэниэль Джеймс.

Че Гевара со своим отрядом подошел к дому Рохаса на следующий день. Никаких следов кровавого побоища не осталось. Бенигно и Урбано, посланные на разведку, обнаружили, что дом пуст, хозяева оставили муку, масло, соль, в загоне было несколько козлят. Это дало отряду возможность устроить себе ночное пиршество. На другое утро от погонщиков скота Че Гевара узнал, что Рохас в Валье-Гранде, лечится от укусов какого-то зверя. Ничто не возбудило подозрений Че Гевары, и в полном неведении о происшедшем он покинул эти места.

Услышав несколько дней спустя в испаноязычной программе «Голоса Америки» о разгроме в урочище Иесо отряда герильи, Че Гевара спокойно записал в дневнике: «Пакете чилено» (то есть набор бессмысленных небылиц). И позже, когда боливийское радио стало называть имена и приводить подробности, он долго отмахивался от этих сообщений: «Верх надувательства, наглая ложь».

Лишь постепенно жестокая правда пробила дорогу к его разуму.

«Радио сообщило еще об одном убитом в долине Иесо, возле того места, где, как говорилось, ликвидирована группа в десять человек; это подтверждает, что известие о Хоакине — ложь; но с другой стороны, даются все приметы Негро, тело которого перевезено в Камири, в его опознании участвовал Пеладо. Похоже, что это реальный убитый, остальные, может быть, фикция — или кто-то из «подонков». Как бы то ни было, странны указания на место, которое переместилось теперь в Масикури и в Камири».

В Камири было перемещено только тело перуанца Негро, место его гибели (слияние Масикури с Рио-Гранде) названо точно, и находится оно совсем близко от Иесо: дальше перуанец уйти не успел. Ничего странного в этих указаниях не было, но рассудок упорно сопротивлялся очевидности, принимая ее не сразу, а по частям.

«Радио «Ла Крус дель Сур» объявило, что на берегу Рио-Гранде обнаружено тело партизанки Тани; это новость, не имеющая даже того подобия истины, которое содержится в сообщении о Негро. Труп перевезен в Санта-Крус».

Последняя фраза записи свидетельствует как раз о том, что рука Че Гевары дрогнула. «Труп Тани...» Это звучало противоестественно и страшно, может быть, даже страшнее, чем слова «мой труп».

В своем стремлении ускользнуть из петли, которую затягивали вокруг него, блокируя отход на север и на юг, Восьмая и Четвертая дивизии боливийской армии, Че Гевара завел свой отряд в суровые горы провинции Валье-Гранде, каменистые, изрезанные глубокими каньонами. Здесь не было ни дичи, ни скота, ни посевов, а редкие обитатели этих мест при виде чужаков старались поскорее скрыться. В местечке Альто-Секо (что-то вроде «Верхняя Сушь») из пятидесяти дворов, расположенном почти на двухкилометровой высоте над уровнем моря, состоялся последний митинг Че Гевары.

«Инти выступил возле школы (там всего-то два класса) перед полутора десятками пугливых, угрюмых и молчаливых крестьян, объясняя им достижения нашей революции. Учитель был единственным, кто вышел с вопросом: верно ли, что мы ведем бои прямо в населенных пунктах? Это разновидность хитрого лиса-крестьянина, грамотного и простодушного, как дитя; он задал нам кучу вопросов о социализме».

Под «нашей революцией» Че Гевара, по-видимому, подразумевал кубинскую: собственной его герилье нечем было похвастаться. И не так уж простодушен был хитрый лис-крестьянин, делавший святое дело, обучавший грамоте деревенских детей. Он спросил о самом главном: что еще, кроме красивых речей о событиях в далеких краях, принесли в его селение эти люди? Может быть, уличный бой, разрушение и смерть...

Из Альто-Секо отряд пришел в деревню под красивым названием «Санта-Элена», где была дивная апельсиновая роща, на ветках еще оставалось много плодов, там бойцы и остановились на свой последний спокойный ночлег. Все вокруг словно напоминало ожесточенным людям о том, что жизнь добра и прекрасна, она может быть еще прекраснее, если каждый из нас привнесет в нее хоть каплю человеческого участия, свободного от стремления навязать, обязать и принудить...

И вот — последние страницы боливийского дневника. Выслеженные с воздуха, загнанные в глубокий овраг, окруженные со всех сторон наглыми рейнджерами, семнадцать партизан затаились в густом кустарнике.

«День прошел без следа солдат, только несколько коз в сопровождении пастушьих собак прошли через наши позиции, и собаки залаяли... Урбано слышал, как несколько крестьян, проходивших по дороге, говорили про нас: «Вон те, которые разговаривали ночью...» Весь день мы провели в молчании, только в темноте спустились за водой и приготовили кофе, который был великолепен, несмотря на горький вкус воды и на маслянистость котелка, в котором он был сварен...»

Не хладнокровие, нет, но спокойствие этих записей поражает. Олимпийское спокойствие, да. Так должны держаться бессмертные боги: обсуждать качество кофе, когда со всех сторон к тебе приближается смерть. Нет, в свою личную гибель Че Гевара не верил. И хлесткая фраза Сальгадо о том, что он носил свою смерть за плечами, относится к Че Геваре не более, чем к любому из нас. Не верил он в свою гибель — и даже как гипотезу рассматривать ее не желал.

«Радио сообщило, что, если меня возьмут части Четвертого военного округа, меня будут судить в Камири, а если Восьмого — в Санта-Крус».

Че ошибался, полагая, что его будут судить, как после Монкады судили Фиделя Кастро. Процесс Дебрэ оказался слишком шумным, вызвал множество толков и неблагопри-

ятно сказался на личной репутации Рене Баррьентоса, и без того недостаточно безупречной. Второго такого суда «сирота» не желал...

«Исполнилось одиннадцать месяцев с нашего посвящения в герильерос, юбилей прошел без осложнений, букволично — до 12.30, когда одна старушка, пасшая своих коз, забрела в наш овраг, и пришлось ее задержать. Женщина не сказала насчет солдат ничего, заслуживающего доверия, и на все вопросы отвечала, что не знает ничего и что давно тут не ходит. Рассказала о дорогах; по ее словам, получается, что мы находимся приблизительно на полпути между Игерой и Хагуэем. В 17.30 Инти, Анисето и Паблито (все боливийцы. — В. А.) пошли к ней в дом, там у нее одна дочка парализованная, другая вроде бы карлица; дали ей 50 песо, с тем чтобы она ни словом не обмолвилась, однако мало надежды на то, что она удержится, несмотря на все свои обещания. Мы вышли, все семнадцать, при слабом лунном свете, марш был очень утомителен и оставил много следов в овраге, близ которого, правда, нет жилья, но на дне его посажена картошка... В два часа ночи остановились передохнуть, поскольку продолжать движение было невозможно. Чино во время ночной ходьбы превращается в настоящую обузу. Армия передала странное сообщение о присутствии 250 солдат в Серрано, чтобы помешать прорыву окруженных, общее число которых 37 человек, и определила зону нашего пребывания между реками Асеро и Оро. Сообщение выглядит забавно».

Че Гевару позабавило то, что ручки, между которыми их ждут военные, называются «Сталь» и «Золото». Больше в дневнике нет ни одной строчки...

Дэниэль Джеймс полагает, что именно остановка среди ночи из-за подслеповатого перуанца Чино (он носил очки, но в темноте они ему мало помогали, потому Чино спотыкался, ронял очки, и приходилось останавливаться и искать их: страшно, должно быть, было ему, готовившемуся стать вождем герильи Аякучо, идти в кромешной тьме неведь куда, шаря впереди себя руками) — именно эта остановка стоила Че Геваре игры, так как наутро он обнаружил себя в ловушке. Отряд находился на дне засаженного картошкой оврага, а на холмах, окружавших овраг со всех сторон, расположились «элементы МАП».

Бой начался в середине дня и вряд ли продолжался более двух часов. Солдат было около трех тысяч, и семнадцать партизан серьезного сопротивления оказать не

могли. Бенигно, оставшийся в живых, рассказывает, что он, отстреливаясь, израсходовал 22 патрона и вывел из строя 14 солдат противника. Но капитан Гари Прадо, командовавший рейнджерами, докладывал, что убито лишь двое его людей. Че Гевара был ранен в ногу, боливиец Вилли пытался помочь ему подняться по склону холма, чтобы укрыться в кустах, но солдаты заметили это и стрельбой преградили им путь. «Защищая вождя, Вилли был убит», — пишет Дэниэль Джеймс, хотя, по другим сведениям, его взяли живым и увели со связанными за спиной руками.

Если верить Энрике Сальгадо, раненый Че поднялся на ноги и крикнул:

«Подождите, не стреляйте! Я Че Гевара, я нужен вам живым!»

«Это голос, который просил за себя, голос «Я», сопротивляющегося самоуничтожению, охваченного страхом смерти, — с надрывом пишет Сальгадо, и в этом бабьем, да простится мне, причитании есть что-то очень неприятное. — Но даже в этот момент, во мгле, почти в агонии узнается мужественный человек, который даже ин экстремис хочет обратиться к сознанию тех, кто его атакует». Пассаж по меньшей мере сомнительный.

Согласно версии Дэниэля Джеймса, Че Гевара ничего не кричал и на вопрос подбежавшего Гари Прадо коротко ответил:

«Я Че Гевара».

Рассказывают, что капитан Прадо привязал Че Гевару к дереву и поспешил сообщить по радио полковнику Анайе (Сатурно) о победоносном завершении войны:

«Ола, Сатурно, тенемос а папá! Привет, Сатурно, папаша у нас!»

Боливиетские военные уверяют, что с плененным вождем обращались очень бережно: поскольку он не мог самостоятельно передвигаться, его положили на одеяло, и четверо солдат несли его несколько километров до Игеры, а капитан Гари Прадо шел рядом, и они миролюбиво разговаривали. По другим источникам, Че Гевара шел сам, опираясь на плечи двоих солдат, по следам его мокасин из сыромятной кожи уцелевшие партизаны (в живых из семнадцати осталось шестеро, среди них — Бенигно и Инти) добрались до школы в Игере, где и оборвалась жизнь их командира.

В школе капитан Прадо передал пленника полковнику Селничу: в угрюмых играх военных людей часто

случается так, что пленных берут одни, а решают их участь другие, ничем не рисковавшие и оттого, как ни парадоксально, не знающие пощады. Даже, наверное, так: чем дальше от опасности военачальник, тем круче он распоряжается жизнями. Как и положено в цивилизованном мире, при передаче пленного была проведена опись предметов, при нем находившихся. В вещмешке Че Гевары были обнаружены два дневника, записная книжка и книжка кодов, толстая тетрадь с переписанными от руки стихами и еще три или четыре книги.

Наступило утро 9 октября 1967 года, понедельник. Учительница, пришедшая в школу, видела Че Гевару сидящим на полу в одной из классных комнат. Че даже разговаривал с нею. А в это время полковник Сентено уже оглашал по радио заявление о том, что вождь герильи Эрнесто Че Гевара предположительно погиб в бою.

«Решение вооруженных сил казнить Че было принято задолго до его захвата и не является результатом каких-либо споров в последний момент, — уверенно пишет Дэниэль Джеймс. — Это был вопрос политики. Военные считали, что после огромной, мирового масштаба антиболивийской кампании по поводу дела Дебрэ страна не может себе позволить еще большей суматохи, которая возникнет, если Че Гевара тоже будет отдан под суд. Че, без сомнения, сделал бы то же самое с руководителями боливийской армии, если бы он победил...»

«Без сомнения, сделал бы то же самое...» Вот суть нетерпимости, которая, будем надеяться, умрет вместе с нашим веком. Собственную злонамеренность мы оправдываем злыми деяниями оппонента и, творя свое собственное зло, видим в нем неопровержимое доказательство чужой злонамеренности.

Че Гевара был жив до половины второго. Потом распахнулась дверь школьного класса... нет, еще раньше Че должен был услышать, как четким шагом инструктора военного дела идет к этой двери не тот человек. Дверь распахнулась, и Че все понял, хоть так он ни разу еще не умирал. Широко раскрытыми глазами Че смотрел прямо перед собой — и видел, как классная комната наполняется жестяным громом, распахиваются белые облака и из пронзительной синевы между ними сноп грозного света, с перемежением лучей темных и белых, падает косо на землю в мелких нереальных холмах.

* * *

A m

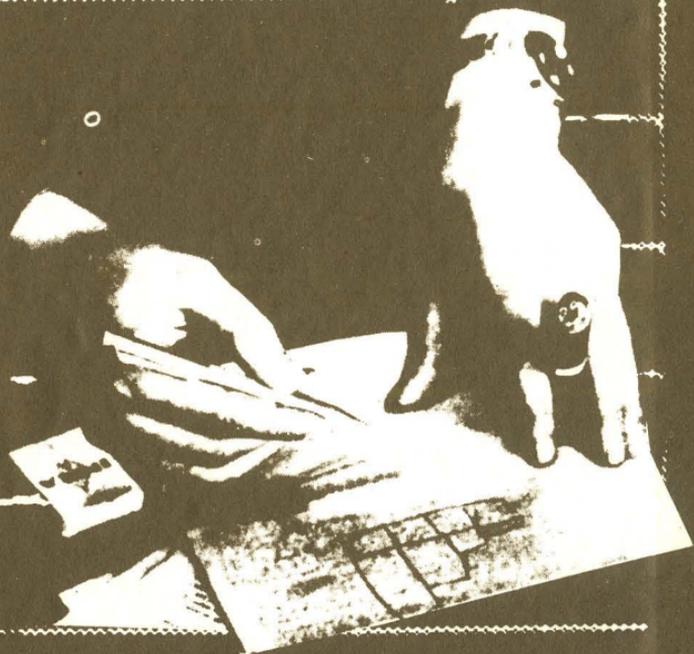
quisito Ullita, NE
y gacetas.

2. Espuma
de esta carta,
de entre uno.

Con un
no me dimito

kipos

Atala Com. B. C.



Atala Com. B. C.

Atala Com. B. C.